

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1986

## СОДЕРЖАНИЕ

Костомаров В. Г., Круглов Ю. Г., Нелюбин Л. Л., Парастаев А. Ф., Толстой Н. И. (Москва), Щербак А. М. (Ленинград). Итоги и проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров по языкованию в 1981—1985 гг. . . . .	14
Бернштейн С. Б. (Москва). Вклад А. М. Селищева в изучение русских диалектов (К 100-летию со дня рождения) . . . . .	14
Ярцева В. Н. (Москва). О принципах построения исторической грамматики языка . . . . .	23

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Дресслер В. У. (Вена). Об объяснительной силе естественной морфологии . . . . .	33
Румянцев М. К. (Москва). Естественная и искусственная речь: языковедие, кибернетика . . . . .	47
Зубкова Л. Г. (Москва). О соотношении звучания и значения слова в системе языка (К проблеме «произвольности» языкового знака) . . . . .	55
Хелимский Е. А. (Москва). Решение дилеммы пратюркской реконструкции и востратика . . . . .	67
Дашкевич Я. Р. (Львов). Codex Sumanicus — вопросы декодирования . . . . .	79
Лейчик В. М. (Москва). О языковом субстрате термина . . . . .	87

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вольф Е. М. (Москва). Оценочное значение и соотношение признаков «хорошо/плохо» . . . . .	98
Орел В. Э. (Москва). К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга . . . . .	107
Поляков К. И. (Москва). Сопоставительная акцентология персидского и русского языков . . . . .	114
Блинова О. П. (Томск). Источниковедческие возможности мотивационных словарей . . . . .	125

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Гюльмагомедов А. Г. (Махачкала). Русско-дагестанская двуязычная лексикография: история, состояние, перспективы . . . . .	132
--	-----

#### Рецензии

Мачавариани М. В. (Тбилиси). Чикобава А. С. Общее языковедие. II. Основные проблемы . . . . .	140
Торсуева И. Г. (Москва). Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языковедия . . . . .	142
Вернер Г. К., Ческоков П. В. (Таганрог). Структура предложения в языках различных типов. Палеоазиатские языки . . . . .	145
Цейтлин Р. М. (Москва). Варбот Ж. Ж. Праславянская морфология, словообразование и этимология . . . . .	149
Дубровина В. Ф., Сумкина А. И. (Москва). Documents russes sur la pêche et le commerce russes en Norvège au XVIII <sup>e</sup> siècle . . . . .	152
Мокенко В. М. (Ленинград). Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přílohy . . . . .	154

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	157
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
 Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,  
 В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. А. Серебrenников, Н. А. Слюсарева,  
 В. М. Солнцева (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),  
 О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языковедия». Тел. 202-99-97

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,  
«Вопросы языковедия», 1986 г.

КОСТОМАРОВ В. Г., КРУГЛОВ Ю. Г., НЕЛЮБИН Л. Л.,  
ПАРАСТАЕВ А. Ф., ТОЛСТОЙ Н. И., ШЕРБАК А. М.

**ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ В 1981—1985 гг.**

1

XXVII съезд КПСС поставил новые задачи перед наукой. В условиях ускорения, когда должны решаться проблемы «... глубокой реконструкции народного хозяйства на базе новейших достижений науки и техники, прорывов на авангардных направлениях научно-технического прогресса. . .» [1], существенно возрастает в жизни общества роль научных работников.

Развитие науки и подготовка высококвалифицированных специалистов — два тесно взаимосвязанных процесса. Качество подготовки кадров во многом определяется развитием науки, прогресс которой зависит от того, как готовятся научные и научно-педагогические кадры. В условиях ускорения научно-технического прогресса эта взаимосвязь усиливается, крепнет, и можно с уверенностью сказать, что в указанный период она проявилась довольно полно: были достигнуты определенные успехи как в подготовке докторов и кандидатов наук по языкознанию, так и в повышении уровня самой лингвистической науки. Но не все в этом важном деле отвечает возрастающим требованиям нашего времени. Совершенствование аттестации научных и научно-педагогических кадров остается одной из актуальнейших проблем, стоящей перед соответствующими министерствами, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.

С 1 июля 1981 г. по 1 июля 1985 г. в области лингвистики утверждено 264 докторских и свыше 2100 кандидатских диссертаций. Значительное число утвержденных диссертаций обогащает лингвистическую теорию. Многие соискатели сочетают постановку и решение актуальных научных проблем с задачами практической реализации сделанных выводов. Назовем ряд докторских диссертаций, получивших в ходе защиты и экспертизы в ВАК СССР высокую оценку специалистов: А. С. Аксамитов, «Развитие фразеологического состава белорусского языка»; В. Д. Аракин, «Структурная типология русского и некоторых германских языков»; М. В. Всеволодова, «Категория именной темпоральности и закономерности ее речевой реализации»; Л. Г. Герценберг, «Слоговые акценты периода поздней индоевропейской общности»; А. С.-А. Гирденис, «Теоретические основы литовской фонологии»; П. И. Кузнецов, «Система функциональных форм глагола в современном турецком языке»; Г. А. Цыхун, «Типологические проблемы балканославянского языкового ареала» и некот. др.

Вместе с тем, если рассмотреть общее количество и распределение утвержденных президиумом и коллегией ВАК СССР докторских и кандидатских диссертаций по специальностям, то станут очевидными диспропорции в подготовке кадров по лингвистике. Сразу же заметим, что подготовка кандидатов и, особенно, докторов наук является недостаточной. В стране функционирует 68 университетов и 200 педагогических институтов. Это значит, что в среднем на высшее учебное заведение приходится даже одного нового доктора. А ведь кроме университетов и

пединститутов существует еще разветвленная сеть научно-исследовательских институтов, которая тоже нуждается в языковедах высшей квалификации. По специальностям же распределение, например докторских диссертаций, следующее: «Русский язык» — 70, «Языки народов СССР» — 38<sup>1</sup>, «Германские языки» — 28, «Тюркские языки» — 25, «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика» — 39. Хотя эти цифры свидетельствуют о сравнительно удовлетворительном количестве защит по названным специальностям, в будущем и по ним следует расширить подготовку докторов наук. Хуже обстоит дело с другими специальностями, по которым в 1981—1985 гг. защищено явно недостаточное количество докторских диссертаций: «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, теория перевода» — 11, «Языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии» — 11, «Романские языки» — 8, «Структурная, прикладная и математическая лингвистика» — 5, «Финно-угорские языки» — 5, «Славянские языки» — 5, «Кавказские языки» — 4, «Иранские языки» — 3, «Монгольские языки» — 3, «Семитские языки» — 1. Не было ни одной докторской защиты по тунгусо-маньчжурским языкам.

Среди кандидатских диссертаций на первом месте стоят исследования по языкам народов СССР, русскому и германским языкам. Мало работ по западным и южным славянским, балтийским, иранским, монгольским и семитским языкам, по структурной, прикладной и математической лингвистике.

Приведенные цифры отражают прежде всего потребности в кадрах докторов и кандидатов наук высших учебных заведений. Нет ничего удивительного в том, что наибольшее количество работ защищено по языкам народов СССР, русскому и германским языкам. Все же совершенно очевидно, что в двенадцатой пятилетке должна быть значительно расширена подготовка специалистов и по другим языкам.

Продолжает оставаться тревожным положение с подготовкой и защитой диссертаций по профилирующим специальностям теоретической лингвистики: общему языкознанию, сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному языкознанию, по социолингвистике, психолингвистике, культуре речи, по вопросам формирования различных функциональных стилей.

Неравномерность распределения наблюдается и в пределах языков одной специальности. Так, на первый взгляд, благополучно сложилось положение с германскими языками. Но это благополучие кажущееся: при наличии большого количества диссертаций по английскому и немецкому языкам потребности в специалистах высшей квалификации по этим языкам далеко еще не удовлетворены, и в то же время следует сказать, что некоторые германские языки либо вообще не отражены в тематике диссертационных работ, либо получили минимальное отражение. К ним относятся голландский, ирландский, исландский, датский, шведский, норвежский, а также древние языки: древнеисландский, готский и другие. Абсолютное большинство диссертаций по специальности «Романские языки» приходится на долю французского, всего несколько диссертаций по испанскому и почти не было защит по румынскому, португальскому и итальянскому языкам. Среди тюркских языков лидирующее место по количеству занимает узбекский; по караимскому и ногайскому языкам защит вообще не было. Приблизительно то же самое можно сказать и о других группах языков в. (см. подробнее [2]).

Предметная тематика утвержденных кандидатских и докторских диссертаций охватывает большой круг проблем, имеющих важное научное, практическое, социальное и культурное значение. Широта тематики, как уже отмечалось, отражает наметившуюся в послевоенные годы тен-

<sup>1</sup> Всего по языкам народов СССР защищено свыше 80 докторских диссертаций.

денцию к дроблению старых лингвистических специальностей и появлению новых, в частности смежных с другими науками: литературоведением, фольклористикой, этнографией, психологией, социологией, математикой, статистикой, кибернетикой и др. Положительно оценывая работу, проделанную специализированными советами, научными учреждениями и кафедрами высших учебных заведений для улучшения качества докторских и кандидатских диссертаций и повышения их теоретического уровня, следует вместе с тем отметить, что еще не все сделано для выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 октября 1974 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров» и что далеко не все специализированные советы действительно займутся по новизне и актуальности тематики диссертационных исследований, об их качестве. Как среди докторских, так и среди кандидатских есть диссертации, отклоненные ВАК СССР. В 1981—1985 гг. среди докторских диссертаций таких было восемь: М. А. Абдуразаков, «Грамматическая структура простого предложения (На материале типологического сравнения французского, русского и узбекского синтаксиса)»; Р. Данияров, «Формирование и развитие технической терминологии узбекского языка»; Ю. Джуманазаров, «Синтаксис южнохорезмского огузского диалекта узбекского языка»; С. Ш. Поварисов, «Система образных средств в художественной прозе Г. Ибрагимова»; В. Ш. Псянчин, «Развитие форм именных частей речи бакирско-го языка»; Ю. Г. Скиба, «Русские предлоги, союзы, частицы (Опыт системно-исторического исследования)»; Т. Ф. Шешкович, «Местомения в белорусском языке»; А. А. Цой, «Семантическая структура простых пераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке».

Ряд диссертаций после их изучения на экспертном совете был снят с дальнейшего рассмотрения самими соискателями.

Но и не все утвержденные ВАК СССР кандидатские и докторские диссертации отвечают оптимальным требованиям. В отдельных случаях предложенные решения недостаточно оригинальны, неоспорна их научно-теоретическая значимость. Даже в докторских диссертациях новизна иногда сводится к новым интерпретациям уже состоявшихся в лингвистике теорий, понятий и представлений.

Нередко сами соискатели не могут четко определить теоретическое значение своих исследований, их новизну. Например, большой научный интерес вызывает анализ туркменской сельскохозяйственной терминологии в докторской диссертации М. Пенжиева «Историческое развитие и современная структура сельскохозяйственной (земледельческой) терминологии в туркменском языке»: речь идет о лексике одного из древнейших районов орошаемого и богарного земледелия. В разделе же о теоретическом вкладе соискатель ограничился следующими выводами: 1) земледельческая лексика формировалась в основном за счет внутренних ресурсов туркменского языка, хотя определенную роль сыграли и внешние факторы; 2) в земледельческой лексике древние черты сохранились в большей мере, чем в других тематических группах. Теоретическое значение диссертационной работы О. Т. Молчановой «Опыт сравнительно-исторического и типологического исследования тюркской топонимии Горно-Алтайской автономной области» раскрыто ею как «возможность использования полученных выводов для дальнейшей разработки проблем универсалий в языке». Подчеркивается также полезность результатов исследования для решения вопросов этногенеза. Между тем неясно, какая общелингвистическая проблема решалась в диссертации и в чем выразился вклад диссертанта в теорию.

Существенным недостатком тематики диссертационных работ является ее несбалансированность. Например, по тюркским языкам почти половина докторских диссертаций посвящена синтаксису. Нетрудно понять, почему так привлекателен синтаксис. Здесь при наименьших усилиях, но с большим, чем в других областях языкознания, эффектом можно создать видимость новизны. В синтаксисе много типологически общего,

выходящего за пределы генетических подразделений. Поэтому прочно утвердилась относительно единая программа синтаксических исследований: «Синтаксис литературного языка», «Синтаксис разговорного языка», «Синтаксис диалектов и говоров», «Синтаксическая синонимия» и т. д. При наличии единой программы унифицируются и приемы описания, и структура диссертационных работ, и даже содержание. Перечень различных концепций, введение относительно новой терминологии, использование модных понятий, нередко сомнительной или невысокой научной ценности, — полупредикативность, семантико-синтаксическая асимметрия, — вот, в основном, то, что составляет «теоретическую» новизну диссертаций синтаксической тематики. Синтаксис — чрезвычайно интересная и перспективная область лингвистического исследования. И удивительно, что в такой области менее всего проявляется творческое начало.

Недостаток значительного числа кандидатских диссертаций — в нечеткости формулировок проблем, в беспроблемности, в стандартизованных решениях поставленных задач. Правда, критика этого недостатка, прозвучавшая в 1981 г. на Советании председателей спецсоветов по языкознанию в Баку и в ряде публикаций (см. [2—4]), оказалась действенной. До минимума сократилось количество сопоставительных работ, не ориентированных на решение научных проблем. В определенной мере преодолены беспроблемность и однотипность в диссертациях по экспериментальной фонетике. Стало немного меньше диссертаций по языку и стилю писателя, но здесь, пожалуй, наметилась другая крайность. Нетерпимость, как указывалось ранее, должна быть проявлена не в отношении самой темы, а к шаблонности и низкому научному уровню ее выполнения. Говоря об «индивидуальном» писательском языке, надо всегда помнить, что в действительности есть единый общепародный литературный язык, в использовании которого отдельными писателями наблюдаются большие или меньшие особенности. И естественно, диссертации на тему «Язык и стиль писателя», должны быть крупномасштабными исследованиями особенностей и тенденций развития общепародного литературного языка, складывающихся под влиянием творческой деятельности писателей. Первые попытки переориентации с поиска индивидуальных особенностей писателя на решение общих проблем функционирования и совершенствования литературных языков уже сделаны (ср., например: Х. Шамсиддинов, «Термины в художественной речи»). И хотя пока они не совсем удачны, сам по себе этот факт примечателен.

Среди недостатков, не изжитых и в настоящее время, выделяются узость тематики, неопределенность ее, отсутствие новизны. Коллегия ВАК СССР указала, например, на узость тематики диссертаций М. Н. Пановой «Интонационные модификации высказываний с частицами „разве“ и „неужели“ в русском языке» и А. И. Завалипиной «Словопроизводство глаголов в говоре села Михайловки Залегощенского района Орловской области». Довольно узкой является и тема диссертации Е. А. Лебедевой («Чувашские названия рыб»), хотя она выполнена в сравнительном освещении. Некоторая неопределенность характерна для темы диссертационной работы Г. О. Сулеевой («Система длительных времен в казахском языке»). Фактически в этой диссертации рассматриваются видо-временные формы, передающие разное содержание, в том числе и процессуальную длительность. Более того, сам диссертант заявляет, что под «длительными временами» подразумеваются видо-временные формы, выражающие процессуальность действия независимо от его реальной продолжительности. Но процессуальность выражают любые видо-временные формы. Что же тогда дает основание говорить о «системе длительных времен»? Примером отсутствия новизны может служить диссертация М. С. Гусейновой «Категория сказуемости в современном азербайджанском языке». В ней решение проблемы сказуемости предложено в виде описания лично-предикативных аффиксов (именное сказуемое) и показателей лица (глагол). Подобные описания осуществлялись неоднократно на материале и азербайджанского, и других тюркских языков.

Довольно часто приходится иметь дело с неудачными названиями диссертационных работ, не отражающими их сущности, новизны проблематики. В таких названиях содержится лишь указание на предмет или методы исследования, например: «Предикативные фразеологические сочетания в современном русском языке», «Сложные атрибутивные словосочетания с несколькими прилагательными — неоднородными определениями в современном французском языке», «Научно-технические термины, производные от общепонятных слов русского языка», «Исследование семантических особенностей и условия употребления английских прилагательных, объединенных значением „физически твердый“», «Лингвистический анализ учебного реферата в сопоставлении с исходным текстом», «К проблеме перевода с родственного языка в аспекте воспроизведения национального своеобразия оригинала (На материале переводов туркменской прозы на узбекский язык)», «Наблюдения над лексикой романа И. П. Шухова «Невзлюб» (Семантико-стилистический аспект)», «Фразеологизмы со значением эмоционального состояния лица в современном русском языке (Структурно-семантическая характеристика)», «Сложноподчиненное предложение со значением вмещения в современном русском языке», «Лексико-семантическая группа глаголов перемещения по вертикали (На материале английского языка)» и др.

Иногда недостаточно точно определена специальность, по которой проходила защита. Так, вызывает сомнения соответствие названия диссертации И. В. Крюковой «Словоизменение нерегулярных глаголов в ирландском языке (На материале диалектов)» специальности 10.02.20 «Сравнительно-историческое и типологическое языкознание», по которой она была защищена.

Указанные недостатки должны быть тщательно изучены в специализированных советах. Устранение их позволит значительно улучшить качество кандидатских диссертаций и придать их тематике такую направленность, которая могла бы ориентировать на поиски нового, повышение теоретического уровня и практической значимости исследований.

### 3

Хорошо известно, что написание докторских и кандидатских диссертаций не только обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров, но и оказывает воздействие на степень изученности отдельных вопросов различных специальностей и в конечном итоге способствует решению фундаментальных проблем языкознания. Поэтому совершенствование тематики диссертационных работ, как и улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов вообще, должно быть подчинено задачам развития науки. Важно, чтобы в поле зрения соискателей всегда были наиболее актуальные темы, чтобы формирование направлений научно-исследовательской деятельности в области языкознания носило целенаправленный характер. Нисколько не претендуя на полноту охвата и законченность отбора, назовем то, что, на наш взгляд, заслуживает большего внимания диссертантов и представляется существенным как для общей лингвистической теории, так и для конкретного языкознания.

Одним из основных направлений является изучение языковой системы, ее внутренней организации, обеспечивающей функционирование языка в качестве средства выражения мышления и орудия общения. На первом плане в изучении языковой системы — выделение основных единиц, распределение их по уровням, освещение различных аспектов взаимозависимости и взаимодействия уровней. Однако «интралингвистические» темы, избираемые для диссертационных исследований, как правило, относятся к традиционной проблематике и очень редко к новейшим направлениям языковедческого поиска. Это особенно бросается в глаза в связи с тем, что в науке о языке наших дней происходит своего рода «экспансия предмета исследования»: наряду с лексическими и грамматическими явлениями в изучение вовлекаются иные объекты. В частности, в центре

внимания все больше оказываются вопросы зависимости структур языка от контекста, вопросы взаимодействия лингвистических знаний и знаний о реальной действительности. Далее, для современного языкознания симптоматично обращение к всеобъемлющему понятию «риторика» (в интерпретации Ю. В. Рождественского): к изучению правил построения прозаической речи (научной, сценической, бытовой, информационной, пропагандистской, документально-деловой, диалогической и т. д.) и выявлению условий и способов речевой реализации языка с учетом характеристик говорящего, адресата, обстановки и других слагаемых процесса общения.

Остро ощущается необходимость в глубоком и всестороннем анализе связи языка и мышления, в выяснении природы лексического значения. Положение марксистско-ленинской философии о единстве языка и мышления не означает признания их тождества. Классики марксизма-ленинизма рассматривали язык как «практическое», «действительное сознание», как отягощающую «дух» материю [5]. Если эти характеристики касаются не какой-либо одной из сторон, а языка в целом, то правильно ли квалифицировать язык как материально-идеальное образование, выделять собственно языковое содержание, принципиально отличное от содержания мышления, и разграничивать в нем уровни: поверхностный, глубинный, понятийный и т. д.?

Далеко не исчерпаны проблемы, имеющие отношение к сравнительному методу, использование которого положило начало развитию исторического языкознания на строго научной основе. Каковы границы и условия применения сравнительного метода, насколько велика степень достоверности реконструкций, опирающихся на внутрисистемные данные, на результаты сравнения родственных языков и на факты взаимодействия с неродственными языками, непреложны ли фонетические законы, — вот примерный перечень вопросов, являющихся актуальными для компаративиста. Касаясь последнего из них, нельзя не признать несомненную ценность того, что уже сделано в результате успешного, но пока еще не завершено поиска факторов, ограничивающих действие фонетических законов (аналогия, статистические обстоятельства, своеобразная природа языкового материала).

Не менее актуальны типологические исследования. Однако и здесь диссертанты не очень охотно ищут новые подходы, обращаются к оригинальным методикам. Русисты, например, не проявляют интереса к проблеме отдельности слова, приобретающей в наше время новую, не только теоретическую, но и чисто прикладную значимость в связи с распространением русского языка в мире и расширением его контактов с другими языками, в том числе и весьма далекими от него в структурном отношении. Впрочем, разграничительные и централизующие признаки слова недостаточно полно выявляются на синхронном уровне даже при сопоставлении с языками, традиционно взаимодействующими с русским языком, в частности с тюркскими. Самое слово нередко определяется исключительно как лингвистическая единица, хотя во многих случаях лингвистические единицы в двух языках могут оказаться несопоставимыми, и для построения адекватных моделей нужен учет того, с какой из единиц привлекаемого для сопоставления языка более всего совпадает слово в русском языке. То есть, для нужд практики и теоретической типологии важна и такая точка зрения, согласно которой сопоставляются не слова, а минимальные единицы различных уровней: морфема, синтаксема.

Обращение к типологии облегчает решение трудных вопросов фонетики и грамматики, способствует уточнению реконструкций и, как и учет данных компаративистики, служит целям исторического изучения языков. Главнейшая предпосылка применения типологического метода — существование глоттогонических универсалий: приблизительно одинакового состава элементарных (фонема, просодема, морфема) и комплексных (слог, слово, предложение) единиц и одинаковых или сходных типов системных связей и изменений. Примечательна объективная тенденция развития проблематики германских, романских и некоторых других групп

языков в сторону сближения ее с проблематикой сопоставительных работ, а также с постановкой эксперимента.

Более узкую тематическую направленность имеет исследование процессов взаимодействия языков. Здесь в центре внимания должны быть вопросы проницаемости различных уровней языка, зависимости результатов взаимодействия от особенностей фонетической и морфологической структуры слова и от экстралингвистических обстоятельств, вопросы правомерности выделения смешанных языков и оценки степени смешения. Богатый материал по данной тематике дают языки народов Советского Союза, процессы взаимодействия которых примечательны разнообразием форм и наличием значительной исторической глубины. Например, тюркско-монгольские связи могут быть предметом специального изучения для установления последствий языковых контактов, для разграничения собственных и заимствованных элементов, для уточнения первоначального состояния тюркских и монгольских языков.

В области изучения конкретных языковых семей и входящих в них языков не утратили актуальности темы, касающиеся их формирования, исторического развития, диалектного дробления, языкового и диалектного смешения, анализа механизма и результатов дивергентных и конвергентных процессов в конкретных условиях и ареалах.

Диалектология восточнославянских, тюркских, балтийских, кавказских, финно-угорских и других языков народов СССР должна подняться на новую, более высокую ступень и от довольно распространенных описаний отдельных микродиалектов (говоров одного села, аула и т. д.), которые могут быть допустимы в случае применения новых методов и использования особенно ценного материала, перейти к описанию диалектных ландшафтов, к более широкому использованию приемов лингвистической географии, к составлению небольших региональных атласов, нужных для исторического исследования языка, а также для решения отдельных лингво-этнографических проблем, как-то: характер материальной и духовной культуры изучаемого региона, языковые и фольклорные особенности диалектной зоны, языковой зоны или зоны языкового союза.

Изучение языка фольклора — по жанрам, по поэтическим средствам, по географическим зонам или в сравнении с диалектной речью и литературным языком — насущная задача современной лингвистической науки.

В нашей многонациональной стране, в стране, где многие народы получили письменность лишь благодаря завоеваниям Октября, вопросы формирования литературных языков, их развития и взаимодействия, их соотношения с диалектами и со старой письменной традицией, где она существовала, имеет первостепенное практическое и большое теоретическое значение. Указанные вопросы могут решаться на материале языка в целом или в пределах отдельных его уровней.

Не утратило актуальности определение места и значения изобразительной лексики, составляющей заметную часть словарного состава некоторых языков. Слова, содержание которых в той или иной мере совпадает с их внешним обликом, с их звучанием, находятся на разных ступенях преобразования в знак, что делает реальным раскрытие «образных» этимологий многих «знаковых» слов и является одной из опор для попыток приблизиться к объяснению происхождения языка.

Безусловно богата новизной и нуждается в оригинальных способах раскрытия тематика прикладного языкознания, в особенности тех ответвлений его, которые развились в областях, смежных с другими науками: лингвостатистики, математической, инженерной лингвистики и т. д.; в тесной связи с прикладной лингвистикой должны быть психолингвистика, этнолингвистика, лингвистика текста.

Всеобщая компьютеризация, широкое внедрение ЭВМ в народное хозяйство, науку, образование остро ставят вопрос о лингвистических исследованиях в области общения человека с ЭВМ. Пристального внимания заслуживают: лингвистическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации различного типа, создание более эффектив-

ных и простых алгоритмов для определенных классов текстов и обучающих автоматов, всесторонний анализ малых языковых подсистем, построение новых языковых средств общения с компьютером, оптимизация процесса обучения языкам с помощью ЭВМ и многие другие проблемы, решение которых имеет выход в практику и служит целям удовлетворения потребностей общества.

Прикладная лингвистика занимается изучением языка художественной литературы и всех видов разговорной речи, бытующих в разных сферах и разных ситуациях. При существующем речевом многообразии обязательен дифференцированный подход к правилам нормирования языка для текстов, обрабатываемых на ЭВМ, и тщательный учет особенностей процесса порождения и понимания текстов.

К сожалению, резко уменьшилось количество диссертаций, посвященных истории лингвистической науки. Многие, по-видимому, считают, что в этой области трудно найти что-нибудь новое. Но нельзя забывать, что развитие науки неразрывно связано с прошлыми исканиями и находками. Новое осмысление старых лингвистических идей и методов может способствовать появлению интересных и важных открытий.

#### 4

Анализ прохождения аттестационных дел в ВАК СССР показывает, что в деятельности спецсоветов еще встречаются нарушения действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий». Из-за этого удлиняются сроки утверждения диссертаций, на заседания экспертного совета вызываются соискатели, руководители спецсоветов, ВАК СССР нередко отменяет положительные решения спецсоветов. Назовем некоторые из типичных нарушений.

Прежде всего нарушается пункт 54 «Положения», касающийся диссертаций, написанных на стыке специальностей. Так, диссертация Н. А. Коваленко «Интонация однословных повествовательных и вопросительных предложений немецкого языка в сопоставлении с интонацией соответствующих предложений русского языка» защищалась по специальности «Германские языки» без участия специалистов по русскому языку и поэтому была возвращена ВАК СССР в спецсовет. Здесь же следует упомянуть некоторые диссертации, защищенные по специальности «Журналистика», но имеющие к ней лишь косвенное отношение: Н. В. Муравьева, «Лингвистическое выражение связности газетной речи (Сравнительно с научной и художественной)»; Н. Г. Бычкова, «Принципы и приемы включения лексики разговорной речи в современный очерк». Нарушение пункта 54 «Положения» особенно часто допускается при защите диссертаций соискателями-иностранцами. Ни научные руководители, ни руководители спецсоветов не замечают, что работы многих из них выполняются в сопоставительном плане. Ср.: «Семантика видовых противопоставлений в русском языке и способы ее выражения во вьетнамском», «Русские словосочетания с отглагольными существительными на *-ние* и их аналоги во вьетнамском языке». Коллегией ВАК СССР был предупрежден спецсовет НИИ преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР, в котором была защищена только по специальности 10.02.01 (русский язык) диссертация А. А. Ховалкиной «Общеславянская лексика в русском языке (В сопоставлении с польским)».

Президиум ВАК СССР принял постановление «О применении пункта 54 Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий» (от 22.11.85 № 42/53), направленное на повышение оперативности в решении вопросов, связанных с разовыми защитами, расширение полномочий и повышение ответственности спецсоветов за организацию подготовки и проведение разовых защит. В тех случаях, когда в соответствии с приказом ВАК СССР о создании спецсовета в его составе имеются три доктора наук по смежной специальности рассматриваемой докторской диссертации и два доктора наук по смежной специальности рассматриваемой кандидатской диссертации, спецсовет проводит защиту

диссертации без включения в своей состав дополнительных специалистов по смежной специальности. Разрешено спецсоветам при отсутствии в их составе, утвержденном приказом ВАК СССР, указанного выше количества докторов наук по смежной специальности самостоятельно вводить в свой состав с правом решающего голоса необходимое количество докторов наук, являющихся членами других спецсоветов по этой специальности в соответствии с приказом ВАК СССР; общее количество докторов наук по смежной специальности, участвующих с правом решающего голоса в заседании совета по защите диссертации, должно соответствовать требованиям пункта 54. И только в тех случаях, когда спецсовет не может выполнить указанных выше требований, он направляет в ВАК СССР ходатайство о проведении разовой защиты в соответствии с пунктом 54 Положения.

К сожалению, есть еще факты защиты диссертаций не по специальности. Только по этой причине экспертный совет не рекомендовал к утверждению диссертацию Т. С. Есеновой «Характеристика основных интонационных типов калмыцкого языка». Диссертация должна была защищаться по специальности 10.02.02 — «Языки народов СССР», защищалась же по специальности 10.02.19 — «Общее языкознание».

Грубые нарушения «Положения» наблюдаются при сдаче кандидатских экзаменов. Часто встречающееся нарушение — сдача кандидатского экзамена по специальности не в полном объеме, из-за чего были возвращены в спецсоветы аттестационные дела свыше 25 соискателей: Л.-А. П. Киткаускаене, «Структура, семантика и стилистика литовских фразеологизмов (Сопоставительно с английскими)», (Вильнюсский университет); И. Т. Турашвили, «Особенности языка бертского четвероглава» (Тбилисский университет); К. М. Молдабекова, «Основы калыкообразования в современном казахском языке» (Казахский университет) и др.

Нарушения в сдаче кандидатских экзаменов иногда связаны с тем, что соискатели, не имея базового образования по избранной специальности, не сдают дополнительного кандидатского экзамена. Имели место случаи несдачи и какого-либо основного экзамена. В Институт языка и литературы АН УзССР было возвращено аттестационное дело Н. Касимова (диссертация: «Функциональные особенности аффиксов в узбекской технической терминологии») в связи с тем, что соискателем не был сдан кандидатский экзамен по иностранному языку.

Имеются серьезные нарушения и в подборе оппонентов. Иногда оба оппонента назначаются из одной организации. Так случилось при защите диссертации Я. Я. Силаса «Семиотика вариантных форм обращения в английском и латышском языке» в МГУ им. М. В. Ломоносова (оба оппонента — из университета). Здесь же была защищена диссертация Н. В. Поповой «Адвербиальные слова в системе неизменяемых частей речи французского языка», по которой оппоненты были назначены не спецсоветом, а кафедрой. Позже первого оппонента заменили, однако решение о замене в деле отсутствовало.

Нередко оппонентами назначаются ученые, не являющиеся специалистами в соответствующей области науки. Чаще всего это происходит во время вынужденных замен оппонентов. Например, при защите диссертации Г. А. Змудяк «Роль логико-семантической валентности в организации структуры положения (На материале группы глаголов независимого направленного движения)» первый оппонент, специалист по романскому языкознанию, был заменен оппонентом — специалистом в области славянских языков, работающим в структурной и прикладной лингвистике.

Не все спецсоветы с должной ответственностью относятся к поискам ведущих организаций. Коллегия ВАК СССР выразила сомнение в целесообразности назначения в качестве ведущей организации Башкирского пединститута по диссертации Н. Я. Курильной «Структура глагольной лимитации в современном английском языке» (МГПИ им. В. И. Ленина). По диссертациям В. Л. Белова «Омофразы в современном английском языке» и С. Н. Шаволиной «Предикаты с альтернативной личностного и проpositивного актантов в позиции подлежащего и дополнения в современ-

ном английском языке» Киевским педагогическим институтом иностранных языков были назначены в качестве ведущих организаций соответственно Сумский и Черкасский пединституты, которые трудно признать ведущими в области германской филологии.

Серьезной критике должны быть подвергнуты отзывы ведущих организаций и заключения спецсоветов. В них много общих фраз, не дающих четкого представления об актуальности работы, ее новизне и основных научных результатах. Вот как определена спецсоветом ЛГПИ им. А. И. Герцена актуальность диссертации Н. М. Невары «Сцепление и связность текста (На материале английских народных сказок)»: «Актуальность работы определяется тем, что лингвистика текста — одна из самых молодых областей отечественного и зарубежного языкознания — привлекает к себе внимание многих исследователей. Каждое новое исследование в данной области является ценным и необходимым».

Специализированным советам, ведущим организациям необходимо уделять больше внимания определению практической значимости проведенных диссертационных исследований, оценивать реальный вклад соискателей в решение научной проблемы, строже подходить к проверке списка публикаций по темам диссертационных работ. Нередко на степень кандидата наук претендуют лица, не опубликовавшие в печати ни одной работы. Автор диссертации «Функционирование видов русского глагола в пассивных конструкциях (К проблеме взаимосвязей категорий вида и залога)» Ю. А. Пупынин подготовил две статьи, но они были депонированы. Нет опубликованных работ по диссертациям С. Г. Шафикова «Анализ лексических единиц, обозначающих одежду в английском языке, в сопоставлении с французским», Н. П. Соляник «Семантико-синтаксический анализ английских конверсных глаголов со значением „передачи“», И. В. Марушенко «Согласование прилагательных с существительными по семе одушевленности в современном английском языке», Л. Н. Чальян «Лингвистический анализ учебного реферата в сопоставлении с исходным текстом» и др. Велико число соискателей, опубликовавших одну статью или тезисы и депонировавших одну-две статьи. Особенно много их по специальности 10.02.04 — «Германские языки». В перечне опубликованных работ по теме диссертации указываются статьи, тезисы, не связанные с проведенными исследованиями. Так, в качестве опубликованной по теме диссертации Р. А. Жалейко «Перцептуальное время и его выражение в функционально-семантическом поле темпоральности (На материале английского языка)» указаны тезисы «Выявление оснований для постановки вопроса (в преподавании грамматики английского языка)».

Особый вопрос — публикации по докторским диссертациям. Согласно «Положению», соискателю ученой степени доктора наук не обязательно иметь монографию. Однако 10—15 статей, опубликованных в сборниках и журналах, не всегда достаточно, так как часто среди них оказываются тезисы и рецензии, а также статьи, увидевшие свет в изданиях, не включенных в утвержденный список.

Следует отметить и то, что в некоторых спецсоветах защищаются кандидатские диссертации объемом до 100—150 страниц, включая библиографию. Многие из них весьма посредственны по качеству, описательны, перегружены примерами.

Не все научные руководители и руководители спецсоветов ответственно относятся к инструктивному письму ВАК СССР «О языке и стиле диссертаций, авторефератов и заключений специализированных советов». В ВАК СССР продолжают поступать диссертации с нарочито усложненной терминологией, оформленные небрежно, написанные недостаточно грамотно. Из-за большого количества опечаток, стилистических погрешностей, неверных переводов, искаженных цитат была отклонена диссертация Ж. Андабековой «Словосочетания имен существительных в киргизском языке» (Киргизский университет). Коллегия ВАК СССР обратила внимание на чрезмерное увеличение некоторых диссертантов иностранными терминами. В этом отношении выделяется работа Э. Э. Мамедова «Русская

суперсегментная фонологическая система с точки зрения сопоставительного и типологического языкознания».

Небрежно оформляются аттестационные дела соискателей, что вынуждает возвращать их для переоформления или дооформления, а это удлиняет сроки прохождения дел. Часто аттестационные дела возвращаются в Московский, Ленинградский и Тбилисский университеты. Особенно плохо оформляется справка 4.56. Председатели спецсоветов, будучи научными руководителями защищающихся в возглавляемых ими советах соискателей, подписывают протоколы заседаний, заключения о диссертациях, ведут заседания спецсоветов. По этой причине, например, коллегией ВАК СССР было отложено рассмотрение диссертации Л. Г. Брутян «Лингвистический анализ языковых выражений конъюнкции».

Таковы наблюдения над тематикой кандидатских и докторских диссертаций, процессом подготовки научных и научно-педагогических кадров по языкознанию и прохождением аттестационных дел в ВАК СССР. По результатам проведенной работы должен быть сделан вывод о необходимости совершенствования тематики, улучшения качества диссертационных работ и повышения теоретического уровня лингвистики как науки.

Совершенствование тематики диссертаций — дело сложное, здесь не место произволу и волевым решениям. Выбор темы удачен, если он поддается всем ходом развития науки, внутренней логикой ее поступательного движения. Современную науку отличают смелый поиск, соревнование идей и направленный, плодотворный дискуссионный процесс. «Науке противопоставлены как схоластические рассуждения, так и пассивная регистрация фактов, чужающаяся смелых теоретических обобщений, конъюнктурщина, отрыв от реальности» [6]. Немаловажным фактором является и личная заинтересованность соискателей в постановке и решении той или иной задачи. Успех в научном исследовании обычно сопутствует тому, кто увлечен своей темой, живет ею. Иными словами, при определении тематики необходимо ориентироваться и на потребности развития данной области науки, и на профессиональные интересы диссертанта. Стандартизация тем и любые формы серийной подготовки диссертаций противоречат природе и духу научного поиска и, как правило, приводят к снижению их качества.

В выборе темы, в ее обосновании, в определении цели и задач исследования особенно важна роль руководителя, на которого возлагается основная доля ответственности за подготовку молодого специалиста. Руководитель — организатор учебного процесса аспиранта или соискателя, он обязан всячески способствовать созданию творческой обстановки и обеспечивать максимально высокое качество подготавливаемых диссертаций.

Чтобы не было досадных просчетов в аттестации научных и научно-педагогических кадров, нужен постоянный контроль за их подготовкой со стороны кафедр, секторов, отделов, лабораторий, специализированных советов. Качественные показатели заметно улучшатся только тогда, когда воспитание научной смены станет предметом действительно общей и по-настоящему серьезной заботы руководителя, административно-научных и общественных организаций. В этом — залог дальнейшего повышения идейно-теоретического уровня и практической значимости диссертационных исследований и, вместе с тем, качества и эффективности науки.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева М. С. 25 февраля 1986 года. — Коммунист, 1986, № 4, с. 23.
2. Парастаев А. Ф., Солнцев В. М., Щербак А. М., Круглов Ю. Г. О совершенствовании тематики кандидатских и докторских диссертаций по языкознанию. — ВЯ, 1982, № 6.
3. Парастаев А. Ф., Круглов Ю. Г. О некоторых итогах и проблемах аттестации кандидатов наук по филологическим специальностям в 1979—1980 гг. — ФН, 1981, № 5.
4. Парастаев А. Ф., Круглов Ю. Г. О подготовке кадров высшей квалификации по филологическим наукам в 1980/1981 гг. (По материалам ВАК СССР). — ФН, 1982, № 6.
5. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Соч. 2-е изд., т. 3, с. 29.
6. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая редакция. Принята XXVII съездом КПСС. — Коммунист, 1986, № 4, с. 137.

БЕРНШТЕЙН С. Б.

**ВКЛАД А. М. СЕЛИЩЕВА В ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ДИАЛЕКТОВ  
(К 100-летию со дня рождения)**

Научная деятельность А. М. Селищева была многогранной. Однако в самом центре стояла, бесспорно, история языка. В отличие от многих своих современников Селищев стремился исследовать ее главным образом на диалектном материале, путем сопоставления данных различных диалектов и говоров. Он, конечно, отлично понимал значение памятников письменности, данных топонимики, антропонимики, этимологии, но на первом месте у него всегда стояла диалектная речь. Селищев постоянно говорил, что идти нужно от живой речи к древнему памятнику. Только этот путь может гарантировать успех. «Основной задачей славянского языкознания он считал изучение современных славянских языков во всем многообразии даже самых мелких диалектных отличий, во всей сложности их междиалектных и межязыковых отношений (как родственных, так и неродственных)», — справедливо писал Р. И. Аванесов [1, с. 127]. Неточно в этом вопросе позицию Селищева толкует П. Я. Черных. Он пишет: «По вопросу о задачах диалектологии и содержания диалектологических изучений я примыкаю к тем языковедам, которые, как, например, мой учитель А. М. Селищев, на диалектологию смотрели прежде всего как на лингвистическую дисциплину, в с п о м о г а т е л ь н у ю по отношению к истории языка» [2]. Позицию Селищева в этом вопросе следует интерпретировать иначе. Он никогда не причислял диалектологию к вспомогательным историческим дисциплинам. Историческая интерпретация диалектных данных с привлечением памятников письменности, топонимики, лексических заимствований — вот магистральный путь историка языка. Об этом говорят все его диалектологические исследования сибирских, южновеликорусских и македонских говоров. Во всех диалектологических трудах Селищева перед нами стоит не описатель диалектов и говоров, а историк языка.

В отличие от большинства своих современников-диалектологов Селищев всегда, начиная со своих первых диалектологических наблюдений, уделял большое внимание не только географическому аспекту, но и социальной природе диалектной речи. В этом отношении он был убежденным сторонником социальной диалектологии и одним из первых ее представителей в области славянской диалектологии.

Селищев был превосходным полевым диалектологом. Он отлично слышал устную речь, точно и быстро записывал, умело направлял беседу в нужное русло. Он был противником только монолога информатора, не заставляя его вспоминать свое прошлое, рассказывать о том, что не имеет прямого отношения к современной его жизни. Информатора необходимо поставить в обычную языковую ситуацию сегодняшнего дня, беседа должна касаться актуальных для жителей села тем. Вот некоторые из напутствий Селищева своим молодым ученикам. Постановка прямых вопросов — свидетельство беспомощности диалектолога. Информатор не должен знать, какой языковой факт интересует собирателя. В каждом пункте целесообразно привлекать к работе несколько информаторов разного возраста, полезны беседы с детьми дошкольного возраста. Иронически говорил Селищев о тех диалектологах, которые ограничиваются привлечением в качестве информаторов только дряхлых (Селищев добавлял обычно — «беззубых и глухих») старух. Немало интересного можно извлечь из бесед даже с учителем, если, конечно, он местный. Диалектолог обязан знать быт крестьянина, иметь хотя бы самые элементарные сведения по сельскому хозяйству.

При сборе диалектного материала, учил Селищев, нужно обеспечить будущему исследователю возможность изучить результаты фонетической эволюции. Необходимо последовательно различать свободную позицию в фонетической эволюции от конкретной истории данного слова, от морфологических, словообразовательных и стилистических условий. Это даст возможность в случаях сложного переплетения разнородных фактов отделить те, которые отражают подлинные фонетические закономерности, от фактов иного характера. Этот принцип не только декларировался ученым, но и последовательно проводился в его диалектологических исследованиях. Изучая судьбу *ъ* и *ь* в македонском говоре Полога, Селищев хорошо показал, что наблюдения необходимо проводить раздельно в корне слова и в суффиксе. И в корнях следует учитывать возможные варианты, обусловленные историей конкретного слова. В одних случаях гласный на месте «сильного» *ъ* отражает результаты фонетической эволюции, в других — влияние соседних говоров, затем влияние книжного (церковного) происхождения, воздействия иных уровней грамматической системы, лексических условий. Тщательно анализируя все противоречивые факты, Селищев приходит к выводу, что сильные *ъ* и *ь* в положительном говоре пережили общую судьбу со всеми македонскими горами: *ъ* > *о*, *ь* > *е*. «В течение времени, под воздействием северо-западных говоров, при сношениях с населением из-за Шар-планины, стали входить в речь долне-положан некоторые слова с *ъ* в корне — *сън*» [3]. Более устойчивыми результатами фонетического процесса были в суффиксах. Здесь гласный *о* сохраняется последовательно.

Селищев предъявлял строгие требования к диалектологу. Мало было зафиксировать тот или иной тип произношения в слове. Необходимо было произвести тщательный анализ данного примера на широком фоне фонетических, морфологических, словообразовательных и лексических явлений. «При надлежащем анализе лингвистических данных следует учитывать общественно-бытовую значимость этих данных. Тогда для нас могут быть ясны элементы изучаемого говора в их динамике» [4]. Этому требованию сам Селищев следовал неукоснительно, начиная с первых своих диалектологических описаний. Это отчасти Селищев-диалектолога от диалектологов фортунатовской школы, от младограмматиков. «Уделяя преимущественное внимание изучению звуковой стороны языка, Селищев в то же время весьма далек от младограмматиков с их „слепыми“ фонетическими законами, не считающимися со структурой языка: фонетические процессы он изучает с предельной морфологической дифференциацией, с учетом степени знаменательности слова (частичные слова, местоимения, полные слова), синтаксической функции, эмоционально-экспрессивной стороны, принадлежности слов к разным лексическим пластам и т. д. При таком подходе оказывается весьма много разного рода „исключений“. Но именно они для Селищева являются важнейшим источником истории изучаемого говора. Каждое из таких исключений находит свое особое объяснение, вытекающее из пристального изучения большого количества фактов, черпаемых из разных источников и таким образом взаимно проверяемых» [1, с. 131].

В 1930 г. Селищев составил специальную программу, по которой работали его ученики. В статье «Революция и язык» Селищев обратил внимание сельских учителей на необходимость сбора диалектного материала: «Огромную услугу окажут науке русской диалектологии и вместе с тем социологии школьные деятели и таким наблюдением: как как изменяется речь среднего и молодого поколения в деревне в своем звуковом составе и в своих формах. Для этого сравнивайте речь ребят и молодежи с речью стариков и в особенности старух, представляющих черты старого типа местной речи... Это расхождение отчасти о п р е д е л и т п у т и дальнейшей судьбы местной речи» [5, с. 146].

Начнем обзор работ Селищева по русской диалектологии с его исследования сибирских диалектов.

В 1897 г. А. И. Соболевский в своем сводном труде «Опыт русской диалектологии» (СПб., вып. I) писал: С и б и р ь в диалектическом отноше-

нии нам очень мало известна. Главная часть ее русского населения состоит из переселенцев с нашего цокающего севера, прибывших в Сибирь в XVII в. Понятно, их говоры имеют очень много общего с говорами Архангельской, Вологодской, Вятской, Пермской губ. и разница между ними состоит по преимуществу в словарном материале» [с. 64]. Данное утверждение Соболевский не мог подкрепить соответствующими фактами, тем более, что русские говоры указанных губерний различались между собой не только лексикой. Не было в распоряжении ученого и данных из сибирской диалектологии. Опираясь на сообщения краеведов и путешественников, Соболевский между прочим отметил, что русские в Сибиря нередко знакомы с туземными языками, которые оказывают на их родную речь известное влияние.

В 1915 г. вышел из печати «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе» (М.), составленной Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым. Составители вынуждены были ограничиться территорией Европы, так как скудость сведений о сибирских говорах, их территориальном размещении не давали возможности произвести картографирование. Авторы даже отказались от определения восточной границы русского языка. «Определение восточной] границы [русского] языка не входит в нашу задачу, так как эта граница уже в Азии» [с. 8].

Приступив к изучению русских говоров Сибири в 1918 г., Селищев имел полное основание писать, что мы почти ничего не знаем о них. «По-прежнему, если речь заходит о русском языке сибирского населения, то описыватели ограничивались общими указаниями на „отклонения“ и „неправильности“ этого языка» [6, с. 2].

Приехав в Иркутск вместе с группой молодых ученых Казанского университета в 1918 г., Селищев поставил перед собою задачу изучения сибирских говоров. Он начал с описания языка забайкальских старообрядцев (так называемых семейских). Их языку посвящена книга «Забайкальские старообрядцы. Семейские» [7]. В книге четыре главы. В первой дана характеристика быта и условий жизни «семейских» в прошлом и в период гражданской войны. Сообщается о зверствах, которые чинили здесь банды атамана Семенова. Обширная вторая глава содержит подробные сведения о книжной культуре «семейских». «В каждой старообрядческой общине имеется несколько человек, обученных церковно-славянскому чтению и письму. В результате многолетнего обучения молодой старообрядец осилит церковно-славянскую грамоту, преподанную ему начетчиком при помощи старинного русского способа» [7, с. 19]. Начетчик следит за тем, чтобы чтец держался старинных правил, особенно в ударении. Однако многие живые особенности семейского говора прорываются в книжное произношение. Это относится к акаанью и яканью, характерным для языка «семейских», произношению мягкого *с'* как *ш'*, мягкого *з'* как *ж'*. Селищев познакомился с книжным собранием старообрядческих рукописей, хранящихся в библиотеке Иркутской духовной семинарии, а затем и с собранием в селегинском Троицком монастыре. Вторая глава в основном посвящена характеристике рукописей из указанных собраний. Особое внимание автор уделит духовным стихам. Третья глава труда целиком посвящена описанию фонетических и грамматических особенностей говора «семейских», который в своей основе принадлежит к южновеликорусским акающим говорам. Здесь мы находим несколько беглых замечаний о лексике говора. Из фонетических особенностей интерес представляют дорсальные *с'* и *з'*, которые акустически напоминают польские палатальные *ś* и *ź* [7, с. 53]. Селищев отмечает, что сильная степень шепелявости характерна прежде всего для молодежи. «В каждом селе по произношению шепелявых *с'*, *з'* есть различие между молодым поколением и старыми. Молодежь будто с каким-то особенным смаком употребляет шепелявые *с'*, *з'*. Я не встретил ни одного парня и молодого мужика, ни одной девушки и молодухи, которые не шепелявили бы. Иное представляет говор стариков и старух... Имея в виду данные говоров Сибири, полагаем, что шепелявость в произношении *с'*, *з'* семейские развили только здесь, в Забайкалье, а не принесли с собой из Европы, — развили постепенно, в среде поколений

3-х ... К настоящему времени во всех областях востока и севера Сибири в говорах „старожилото“ населения распространены шепелявые с', з'» [7, 53]. Последняя — четвертая глава — содержит краткие сведения о переселении «семейских» в Сибирь, о их связях с населением различных районов России, о фактах, которые в свое время сообщали П. С. Паллас, декабрист барон А. Е. Розен и др. Книга завершается снимками «семейских» разного возраста и пола и несколькими снимками рукописей.

Трудно ответить на вопрос, почему Селищев начал свои исследования говоров Сибири с изучения говора «семейских». Фактически его собственные наблюдения над говорами Сибири и ограничились только этим южно-великорусским по происхождению говором, не типичным для основной массы старожильского русского населения. «Вообще поездка к забайкальским старообрядцам в начале 1919 г. оказалась единственной диалектологической экспедицией, лично предпринятой А. М. Селищевым в течение этого короткого периода его пребывания в Сибири. По возвращении из Забайкалья он всецело погрузился в работу над „Диалектологическим очерком Сибири“...» [8, с. 61]. Возможно, в решении начать изучение сибирских говоров с говора «семейских» сыграло решающую роль пристрастие Селищева к родным южновеликорусским говорам с их сложным безударным вокализмом. Вопросами яканья ученый интересовался с молодых лет.

В «Диалектологическом очерке Сибири» Селищев четко сформулировал задачи и цели своего исследования. 1. Заселение Сибири началось в XVI—XVII вв. «Сравнительное изучение говоров Сибири и европейской России прольет свет на состояние тех или иных русских диалектов в 16-м и в 17-м столетиях. С другой стороны, такое изучение укажет, какие языковые процессы были пережиты русскими поселенцами в Сибири в течение последних 300—200 лет» [6, с. 5]. 2. Сопоставление сибирских говоров с говорами европейской части России поможет решить важную демографическую задачу, «определит путь сибирской колонизации» [6, с. 5]. 3. Переселенцы происходили из различных районов России. Здесь, в Сибири, они оказывали взаимное влияние друг на друга. «Влияние шло преимущественно со стороны носителей северно-великорусских говоров. От средневеликоруссов или от языка, „общерусского“ усвоено в некоторых местностях аканье и иканье» [6, с. 6]. 4. Наконец, одна из важнейших задач — изучение взаимовлияний и взаимодействий русских говоров Сибири с местными языками туземного населения Сибири. Этой задаче Селищев уделил особое внимание. ■

Несмотря на слабое развитие сибирской диалектологии, на отсутствие надежных и квалифицированных описаний, Селищев, находясь в Иркутске, смог все же за короткий срок дать сравнительно полную характеристику сибирских говоров. Это он мог осуществить только благодаря ценным собраниям разнородных материалов, хранящихся главным образом в архиве Средне-Сибирского отделения Института исследований Сибири. Речь идет о сибирских ответах на программу Русского географического общества по этнографии, о редких изданиях, содержащих сведения об особенностях русского языка в Сибири, о различных устных сообщениях и пр. «В конце концов в его распоряжении оказалось достаточно фактического материала, чтобы на этой базе построить содержательное описание диалектной русской речи в [Сибири]» [8, с. 62].

Селищеву-диалектологу постоянно приходилось иметь дело с несовершенными диалектными записями. Так было и при изучении македонских говоров, и при изучении сибирских. Однако он умел, путем сопоставления разнородных текстов, заставить хорошо «говорить» даже плохую запись. К сожалению, Селищев в опубликованном исследовании не характеризует использованных им материалов, описаний, не дает библиографических сведений. «Отсюда впечатление некоторой необоснованности, „голословности“ диалектологических утверждений автора — впечатление, совершенно не соответствующее действительности. На самом деле каждая диалектная особенность, упомянутая в „Диалектологическом очерке“, может

быть точнейшим образом документирована, библиографически оправдана, за исключением, разумеется, тех, которые были почерпнуты из рукописного материала, а также из устных сообщений... и из собственных наблюдений. Этих последних в „Диалектологическом очерке Сибири“ можно отметить немало. Преимущественно это — фонетические наблюдения, отличающиеся иногда большой тонкостью» [8, с. 62].

Некоторые утверждения А. М. Селищева вызвали в литературе критические замечания и споры. Остановлюсь на двух вопросах.

Опираясь на богатый и разнородный материал, Селищев высказал свои соображения о соотношении окающих и акающих говоров Сибири. «Говоры „старожилых“ русского населения Сибири относятся к типу „окающих“ великорусских говоров» [6, с. 8]. Однако имеются в Сибири и акающие говоры. По своему происхождению они неоднородны. «Одни из них — говоры позднейших переселенцев из областей южновеликорусских и средневеликорусских. Возможно, что среди носителей говоров, представляющих черты средневеликорусских говоров, есть потомки средневеликорусских, давних поселенцев Сибири. Затем, акающие говоры принадлежат старообрядцам — южновеликорусам — семейским, в Забайкалье и „полякам“ на Алтае. Наконец, в некоторых местностях северно-великорусские говоры развили аканье только здесь, в Сибири, под влиянием соседних акающих говоров» [6, с. 9—10]. Решительно против данного положения Селищева выступила А. В. Пруссак в рецензии на «Диалектологический очерк Сибири». Значительная часть рецензии посвящена соотношению оканья и аканья в говорах Сибири. Основной тезис Пруссак сформулирован следующим образом. «На основании изученного материала я утверждаю, что *говор старожильческих селений Сибири в массе своей относится к окающе-акающим смешанным говорам, так как оканье и аканье параллельно существовали в говоре селений 17 в., — исключительного оканья в Сибири никогда не было*» [9]. Это утверждение Пруссак противоречит всем известным фактам и говорит о слабой профессиональной лингвистической подготовке рецензента. Конечно, в говорах Сибири мы встречаемся как с оканьем, так и с аканьем. В книге Селищева на это указано. В ответе на рецензию Селищев пишет: «Я не говорил, что *все* ранние русские поселения в Сибири принадлежали к окающей группе; я допускал, что среди этих поселенцев были выходцы и из средне-великорусских акающих областей» [10, с. 421]. Утверждения Пруссак о принадлежности русских говоров Сибири к окающе-акающей группе русских диалектов противоречит основам русской диалектологии. Рецензент не отдает себе ясного отчета в фонетической и фонологической природе данных фонетических явлений. Приводимый ею материал из старых текстов о наличии аканья в говорах Сибири сплошь и рядом не говорит о наличии аканья (например, в печатном издании 1708 г. написано *Табольск* вм. *Тобольск*). «Сообщения в статье А. В. Пруссак выписки из памятников письменности в диалектологический оборот не могут быть пущены» — с полным основанием утверждает Селищев [10, с. 423]. «А. М. Селищев в своем ответе дал А. В. Пруссак и вместе с ней всем эпигонам школы Соболевского урок элементарной критической работы над памятниками», — справедливо пишет В. В. Виноградов [11].

Второй вопрос относится к весьма характерному для сибирского консонантизма явлению. Речь идет о так называемой «щепелявости», произношении мягких *с'* и *з'* как польских палатально-дорсальных *ś* и *ź* или совсем мягких *ш'* и *ж'*. Это фонетическое явление получило широкое распространение на огромной территории Сибири и Дальнего Востока. Сопоставляя в этом плане сибирские русские говоры с коренными языками Сибири, в частности, с финно-угорскими языками (ханты и манси, с самодийскими (ненецким и селькупским), с палеоазиатскими (юкагирским, ительменским), с тюркскими (якутским), с тунгусо-маньчжурскими, Селищев сделал вывод, что в большинстве случаев указанное явление развилось здесь, в Сибири, в условиях русско-туземного двуязычия. Это утверждение Селищева не встретило полной и единодушной поддержки. Наиболее обстоятельно данный вопрос был рассмотрен Д. К. Зелениным в исследовании

дованни «О происхождении северо-великорусов Великого Новгорода». Не отрицая полной возможности влияния языков Сибири («соседство с коренными сибирскими племенами повело к различному развитию этих устойчивых северновеликорусских говоров» [12, с. 53], Зеленин, однако, утверждает, что «шепелявость» сибирских говоров в своей основе является признаком древнего новгородского диалекта, возникшим здесь в результате длительного влияния лехитских западнославянских диалектов задолго до переселения новгородцев в Сибирь. По мнению Зеленина, «шепелявость» в сибирские горы была занесена потомками новгородцев, т. е. ильменскими словенами. Естественно, что позиция Селищева в этом вопросе не находит одобрения у Зеленина. А. М. Селищев склонен выводить смешение пипящих и свистящих звуков в сибирско-русских говорах из коренных местных языков, причем он совсем не ставит вопроса, почему чрезвычайная пестрота в этом отношении коренных языков Сибири дала в сибирско-русских говорах однообразную картину» [12, с. 71]. Это не соответствует действительности. И в сибирских русских говорах картина очень сложна и отнюдь не однообразна. Селищев устанавливает три основных типа преобразований. 1) Вместо пипящих *ш* и *ж* находим дорсально-палатальные *š* и *ž* (*š*, *ž*). 2) В речи имеются только обычные свистящие *с* и *з*. 3) Смешанное употребление пипящих и свистящих согласных. Этот тип наиболее распространен по всей Сибири от Оби до Охотского моря и до Камчатки. Сопоставления Селищева русского материала с исконными языками Сибири носят конкретный и точный характер. На мой взгляд, самым убедительным аргументом в системе доказательств Селищева является следующий: «соканье» и «шоканье» в русских говорах Сибири является фактом относительно новым, в своей массе оно возникло и развилось здесь, в Сибири, под воздействием окружающих языков. Это подтверждается тем, что во многих говорах «шепелявят» представители только молодого поколения. Зеленин не обратил внимания на это весьма важное наблюдение Селищева. А при изучении генезиса данного явления его необходимо учитывать в полной мере.

К вопросу о «шоканье» и «соканье» в сибирских говорах Селищев вернулся еще раз в статье «Соканье и шоканье в славянских языках» (*Slavia*, 1931, X, вып. 4). Здесь это явление автор рассматривает на широком фоне всего славянского языкового мира. И всюду своим источником оно имеет чуждую фонетическую систему. «Мы обозрели результаты изменения пипящих и свистящих согласных в разных славянских областях. И о в с ю д у это изменение вызвано было воздействием иной звуковой системы» [5, с. 602].

В Казань из Иркутска Селищев вернулся в 1920 г. с желанием продолжать изучение сибирских говоров. «Диалектологический очерк Сибири» содержит три главы. Однако в оглавлении указана IV глава — «Русские диалектические группы в Сибири». Ее в книге нет. Было лишь написано: «IV-я глава составит содержание II-го выпуска» [6, с. 271]. Для написания этой главы нужна была длительная командировка. «Летом 1921 г. я предполагал отправиться на низовье Оби, в Обдорский край, и на низовье Енисея, в Туруханский край. Русский язык тамошних русских и русской „смешницы“, а также русское говорение вогул, остяков, самоедов и тунгусов хотелось мне изучить там» [13, с. 39]. Однако по условиям времени план Селищева не был осуществлен. Поэтому и не написана четвертая глава «Диалектологического очерка Сибири».

В 1921 г. в «Известиях Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете» (т. XXXI, вып. 4) опубликована статья Селищева «К изучению русских говоров Сибири». Вопросы сибирской диалектологии Селищев касается в статье «Записка о значении изучения сибирских старожильческих говоров в связи с туземными языками Сибири, направленная в Отделение русского языка и словесности» («Известия русской Академии наук, 1921, т. XV), а также в различных своих исследованиях более позднего периода.

Весь переполненный сибирскими впечатлениями, ученый и здесь, в Поволжье, решил продолжать свои изучения языковых контактов русско-

го населения с другими народностями России. Его интересовали в равной степени как результаты влияния туземной речи на язык русского населения, так и влияние русского языка на диалекты чувашского, марийского, татарского и других языков Поволжья. Осенью 1921 г. ученый предпринял диалектологическую поездку, во время которой посетил ряд пунктов в Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах с целью ознакомления с состоянием русского языка среди чуваш и их близких соседей горных марийцев. Поездка дала материал для написания двух статей «Русский язык у инородцев Поволжья» (*Slavia*, 1925, IV, вып. 1) и «Русские говоры Казанского края и русский язык у чуваш и черемис» (Уч. зап. лингвистич. секции Ин-та языка и литературы, 1927, 1). Обе статьи очень важны для изучения вопросов двуязычия. Кроме того, они содержат ценный материал для разработки проблемы методики преподавания русского языка местному нерусскому населению.

После переезда в Москву в 1922 г. на первое место выдвигаются исследования по македонской диалектологии. Однако совсем отойти от вопросов восточнославянской диалектологии Селищев не мог, тем более что он принимал самое активное участие в работе Постоянной Комиссии по диалектологии русского языка (быв. Московской диалектологической комиссии). Важной вехой был его доклад «К изучению типов аканья», прочитанный на заседании Комиссии и опубликованный в журнале *Slavia*, 1927, VI, вып. 2—3. (Заметки по великорусской диалектологии. 1. К изучению типов аканья).

Вопросами южновеликорусского безударного вокализма Селищев интересовался начиная с молодых лет. В детском возрасте он сам был носителем одного из видов диссимилятивного яканья. Преодолевая этот диалектизм с помощью учителя, он должен был ясно представить себе природу этого яканья, его отличие от литературной нормы. Сама жизнь заставила Селищева хорошо понять и уяснить сущность диссимилятивного яканья. Столкнулся он с диссимилятивным яканьем и в Сибири. Еще до переезда в Москву Селищев основательно изучил труд Н. Н. Дурново «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров» (М., 1917), посвященный в основном южновеликорусскому безударному вокализму (гласному в первом предударном слоге). В Москве Селищев приступил к обработке своих записей и замечаний и 15 ноября 1923 г. выступил со всесторонним разбором этого труда. Это был его первый доклад на заседании Комиссии. По свидетельству И. Г. Голанова, доклад произвел большое впечатление на московских лингвистов.

Главным оппонентом Селищева в Комиссии был Н. Н. Дурново. Споры с Дурново шли по многим общетеоретическим, методическим и частным вопросам. Прежде всего Селищев обратил внимание на необходимость сравнительного изучения редукции безударных гласных в славянских языках. «Для уяснения судьбы неударенных гласных в русском языке важно было бы изучить сходный по своему происхождению процесс, пережитый неударенными гласными в других славянских группах. В этом отношении наиболее поучительны были бы параллели восточноболгарского неударенного вокализма. Процессы восточноболгарские проще сравнительно с изменениями неударенных гласных в южновеликорусских говорах. Поэтому сущность исследуемого процесса, не затемненного другими изменениями, была бы показательна и для русиста, усиленно стремящегося к реконструкции в судьбе неударенных гласных в русском языке» [5, с. 403]. Селищев не только декларирует необходимость сравнения, но отлично это показывает на конкретных примерах. Селищев часто упрекал русистов, что в своих исследованиях они ограничиваются только русским языком, не владеют материалом других славянских языков. Во многих случаях знание диалектного материала других славянских языков может оказаться даже важнее данных близких русских диалектов. Об этом он неоднократно писал и говорил в своих лекциях. Он нередко ставил в пример русистам А. А. Шахматова, который уверенно оперировал фактами зарубежных славянских языков, нередко выступал со специальными исследованиями (например, в области сербохорватской акцентологии).

Селищев подверг основательному и всестороннему анализу весь материал книги Дурново. Он показал, что автор в ряде случаев не разграничивает аканья и яканья, а это приводит к искажению картины: существует немало южновеликорусских говоров, не представляющих при диссимиллятивном яканье диссимиллятивное аканье. Селищев обращает внимание на ограниченность диалектологического материала, на часто необоснованные выводы автора. «Весьма часто п р и н а д л е ж н о с т ь данного говора к тому или иному типу яканья определяется на основании небольшого, сомнительного свойства материала, извлеченного из записей песен. Между тем ведь язык песни невозможно во всех явлениях отождествлять с языком обиходным: песенный язык в различных отношениях отличается от обиходной речи» [5, с. 405—406]. И позже Селищев неоднократно отмечал, что фольклорный материал диалектолог должен привлекать лишь в крайнем случае, подвергая его строгому филологическому анализу. При этом надо различать песни новой и старой формации. Дурново слишком неосмотрительно привлекает язык фольклора, а отсюда и много ошибочных выводов и утверждений, «непрочность», необидительность группировки. Некоторые типы яканья охарактеризованы неточно (например, щигровский тип). Селищев обращает внимание на отсутствие в исследовании справок историко-бытового характера. Так, Дурново прошел мимо одного чрезвычайно важного явления. Дело в том, что во многих населенных пунктах Орловщины существенно различаются языковые черты «казенных» крестьян и цуканов — в прошлом крепостных крестьян (в частности, в области безударного вокализма). Верно понять картину можно только при учете всей местной языковой ситуации. Государственные крестьяне высмеивают говор цуканов. Среди отличий между говором этих двух социальных групп имеются различия и в области безударного вокализма.

По мнению Селищева, исследователь различных типов аканья и яканья в южновеликорусских говорах должен выяснить, какие отношения в прошлом существовали между ближайшими говорами, имеющими одинаковый тип аканья (яканья). А уяснение этого вопроса было бы весьма важно при установлении генезиса того или иного типа яканья. Дурново прошел мимо этого. В споре ярко столкнулись диалектолог — историк языка и диалектолог-классификатор. Дурново стремился установить так называемые «чистые типы» яканья и аканья, не считаясь с реальной жизнью, со сложным переплетением различных говоров, с социальным аспектом явлений.

После переезда Селищева в Москву полевая работа в области русской диалектологии утратила прежние масштабы. Летние месяцы отдыха Селищев обычно проводил в поволжском селе Салогозово, Городецкого р-на. Конечно, и здесь продолжались его наблюдения над местной диалектной речью. Впоследствии свои записи он широко использовал в статье «О языке современной деревни» [5, с. 428], которая имела специальную задачу. Однако статья представляет немалый интерес и для изучения прошлого русских диалектов, особенно народной лексики. Укажу на наиболее интересные примеры: *брилл* «губы», *вбтра* «колос после молотбы», *гадѹха* «змея»; *гмѹза* «множество, гнездб «семья», *дур'* «гнуой», *живѹт* «живое существо», *каравѹн* «толпа», *лѹгва* «лягушка», *мигѹрь* «паук», *мѹл'ка* «самогон», *палестѹна* «площадь земли», *пѹстырь* «пастух», *хорос'во* «веселье, раздолье», *баскѹй* «красивый, яркий, пестрый»; *басмѹвой* «разговорчивый», *небѹянной* «немой», *бѹшьшитца* «красоваться», *глумѹтца* «играть», *гул'ат'* «сидеть без дела», *похѹтит'* «сломать», *л'з'а* «можно», *на-двоѹсах* «в раздумье», *рѹйко* «звучно», *чѹво* «быстро», *бобѹл'* «мельник», *ботѹр'* «маленькая лодка, выдолбленная из ствола осины», *бѹден'* «рабочий день», *гѹт* «впрок», *ѹжа* «пицца», *ел'а* «ель», *жѹбра* «корм для скота», *жѹравѹга* «клюква», *заѹблѹши* «рожденный вне брака», *кѹта* «картофельная ботва», *жѹка* «крестная мать», *кокура* «ватрушка», *колѹбѹн* «обрубок дерева», *коромѹсел* «стрекоза», *кулѹга* «расчищенная полоса в лесу», *мил'ода* «пустое препровождение времени», *проглѹя* «просека», *пѹрин* «индюк», *радѹга-дѹга* «радуга», *рѹш* «обрывистый берег», *рѹпкой* «хрупкий», *суцѹлѹт'* «уцелеть», *тѹплина* «костер», *хлудѹина* «хворостина», *шаблѹ* «тряпье», *шорѹн* «плохой» [5, с. 451—457].

Еще в первой половине 20-х годов Селищев серьезно заинтересовался изучением неологизмов революционного времени. Наблюдения велись в основном на материале газет, популярной литературы, массовых журналов. В меньшей степени привлекалась ученым разговорная речь. К 1925 г. была составлена обширная картотека, включающая многие сотни ценных примеров. В 1927 г. на их основе была завершена, а в 1928 г. опубликована монография «Язык революционной эпохи» (М.).

Совершенно естественно, что Селищев, исследуя неологизмы революционного времени, свое основное внимание уделял языку города. Однако он не прошел и мимо языка крестьян. Небольшая восьмая глава книги «В деревне» посвящена именно этому вопросу. Собственных наблюдений здесь было мало.

Работа над восьмой главой книги явилась стимулом изучения лексических новообразований революционного времени в речи крестьян. Строго говоря, это изучение нельзя признать диалектологическим, так как здесь речь шла о неологизмах без их строгого территориального приурочения. В 1930 г. Селищев приступил к составлению специальной программы по изучению новообразований в языке крестьян в связи с колхозным движением. Летом 1930 и 1931 гг. его ученики по этой программе проводили специальные наблюдения в различных районах страны. В конце 1931 г. Селищев написал свою первую статью по данной проблематике «О языке современной деревни» (журнал «Земля советская», М.— Л., 1932, кн. 9). Под таким же названием в «Трудах Московского института истории, философии и литературы» в 1939 г. была опубликована обстоятельная работа, в которой хорошо показано сложное взаимодействие традиционной производственной лексики с новой, идущей из города. Обстоятельно анализируется не только новая лексика, но и ее архаические пласты. Большое внимание автор уделяет эмоционально-экспрессивной стороне речи.

Среди русских диалектологов прошлого А. М. Селищеву бесспорно принадлежит одно из первых мест. Современные диалектологи с большой пользой для себя штудируют его труды, учатся по ним изучать внутренние законы развития народной речи.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Аванесов Р. И.* Афанасий Ма веевич Селищев (1886—1942).— В кн.: Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка. Вып. 1. М.— Л., 1947.
2. *Черных П. Я.* К вопросу о задачах и содержании диалектологических исследований.— В кн.: Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка. Вып. 1. М.— Л., 1947, с. 11.
3. *Селищев А. М.* Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии (с этнографической картой Полога). София, 1929, с. 297.
4. *Селищев А. М.* Говоры области Скопья.— Македонски Прегледъ, VII, кн. 1. [София], 1931, с. 80.
5. *Селищев А. М.* Избранные труды. М., 1968.
6. *Селищев А. М.* Диалектологический очерк Сибири. Вып. I. Иркутск, 1924.
7. *Селищев А. М.* Забайкальские старообрядцы. Семейские. Иркутск, 1920.
8. *Черных П. Я.* Труды А. М. Селищева по сибирско-русской диалектологии.— Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, 1947, вып. 4.
9. *Пруссак А. [В.]*— ИОРЯС, 1923, т. XXVI (1921), с. 298.— *Проф. А. М. Селищев.* Диалектологический очерк Сибири. Вып. 1. Иркутск, 1921.
10. *Селищев А. М.* О рецензии А. В. Пруссака.— ИОРЯС, 1924, т. XXVIII.
11. *Виноградов В. В.* Проф. А. М. Селищев как историк русского языка.— Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, 1947, вып. 4, с. 36.
12. *Зеленин Д. К.* О происхождении северо-великорусов Великого Новгорода.— Доклады и сообщения Ин-та языковедения АН СССР. VI. М., 1954.
13. *Селищев А. М.* Русские говоры Казанского края и русский язык у чуваш и черемис.— Уч. зап. Ин-та языка и литературы, РАНИИОН. Т. 1 (лингвистическая секция). М., 1927.

ЯРЦЕВА В. Н.

## О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ ЯЗЫКА

Исторические грамматики отдельных языков как определенный вид научной лингвистической литературы появились во второй половине XIX в. и основными своими положениями восходят к школе младограмматизма. Отдельные элементы исторических сведений о развитии структуры языков появлялись, разумеется, и раньше, но даже «Немецкую грамматику» Я. Гримма, ставшую образцом изучения не только германских, но и других европейских языков, приходится считать скорее историко-сопоставительной, чем исторической. Наблюдения над языковыми изменениями, прежде всего в области фонетики и морфологии, в меньшей мере в области синтаксиса, проходили по определенной схеме описания с равным вниманием не только к развитию реально представленных элементов языка, но и к фактам его доистории, т. е. к тому периоду, который не был зафиксирован сохранившимися письменными памятниками данного языка. Последнее, несомненно, объяснялось успехами сравнительно-исторического языкознания, существенно продвинутого младограмматиками. В области фонетики речь идет о звуковых корреспонденциях, а в области морфологии — о таких процессах, как изменения одних форм по аналогии с другими, переразложение морфемного состава слова, явление опрощения сложного морфологического целого и тому подобных процессах.

Трафаретное построение исторических грамматик, хотя и способствовало накоплению фактического материала (и в этом отношении было положительным явлением в истории лингвистической литературы), имело вместе с тем тот огромный недостаток, что оперировало по существу материалом литературно-письменного языка, т. е. описывало по преимуществу историю одного, или очень ограниченного круга диалектов. Новые идеи языкознания XX в. — понятие системности языковых фактов, представление об этой системе как совокупности вариантов, соотносимых с инвариантом, неравномерность в историческом развитии отдельных уровней языковой системы — поставили на повестку дня необходимость пересмотра основ исторической грамматики языка. Одна из первых задач — проблема связи исторической грамматики и методов, в ней применяемых, с методами сравнительно-исторического языкознания, в частности с методом внутренней реконструкции.

1. Историческая грамматика и сравнительно-историческое языкознание. Начиная историческое описание языка, лингвист неизбежно берет в качестве исходного пункта синхронный срез, представленный наиболее древними памятниками письменности (если таковые сохранились), или наиболее старые свидетельства о данном языке. Последние могут выступать в виде записей путешественников, торговцев, миссионеров и т. п. При исследовании подобного синхронного среза выявляются противоречивые или вообще неясные факты, не находящие удовлетворительного объяснения в пределах наблюдаемой системы. Если известны генетические связи данного языка с родственными языками и есть возможность использовать реконструируемые модели, то не возникает ли опасность превращения исторической работы в сравнительно-историческую? С нашей точки зрения, исследование не следует начинать с реконструкции, т. е. давать гипотетически восстанавливаемые архетипы («под звездочкой») и затем выводить из них формы, засвидетельствованные в тексте. Однако после анализа фактов какой-либо «малой» системы в описываемом языке для

простоты ее объяснения можно прибегнуть к реконструкции. Например, в истории и.-е. языков, в том числе германских, парадигматическая система имени существительного строилась по распределению разных типов склонения, исходя из строения основ. Однако фонетические и морфологические преобразования, и прежде всего редукция безударных гласных, настолько затемнили строение основ, что на синхронном срезе древнеанглийского языка распределение парадигм имени существительного совершенно непонятно. В этом случае целесообразно учесть реконструированную прагерманскую систему, выводимую не только из сравнения древнегерманских языков, но и опирающуюся на другие древние и.-е. языки. Большинство авторов грамматик древнеанглийского языка так и поступает.

А. Кэмпбелл писал: «В индоевропейском существительные делились на (а) вокалические основы, где падежные окончания присоединились к основе, оканчивавшейся на характерный гласный или дифтонг, который мог подвергаться варьированию сообразно аблауту, и (б) консонантные основы, при которых падежные окончания присоединялись к основе, оканчивавшейся на согласный. Подкласс группы (б) представляли *n*-основы, при которых окончание прибавлялось к основе, оформленной на *-ĕn-*, *-ōn-* или *-n-* (варианты в этом случае также объяснялись аблаутом)» [1, с. 222]. Далее автор указывает, что именно этот последний тип основ (основы на *-n-*) играл важную роль в истории германских языков, а другие типы консонантных основ имели ограниченное использование. Реконструкции, приводимые для пояснения отдельных падежных форм древнеанглийских существительных, помогают понять внутрипарадигматические связи, с одной стороны, и общее построение всей парадигмы существительного, с другой. Иначе строится изложение системы древнеанглийского существительного в грамматике Р. Квёрка и С. Ренна [2, с. 20—30], задуманной прежде всего в учебных целях. В этой грамматике приводятся основные типы склонения по трем родам (мужскому, женскому и среднему), склонение на *-an* и нерегулярные («неправильные») склонения. Хотя термин «основа» фигурирует, но его праязыкового объяснения не дано. Какой из двух путей описания древнейшего состояния языка лучше и полнее может дать объяснение системы языка и совершающихся в ней процессов? Мы полагаем, что во многих случаях реконструкция необходима, т. к. на синхронном срезе даже древнейшего засвидетельствованного периода данного языка многие грамматические (чаще всего парадигматические) явления и соотношения отдельных грамматических форм непонятны.

Каково должно быть соотношение приемом собственно сравнительно-исторической реконструкции и внутренней реконструкции? Думается, что если существуют надежные сравнительно-исторические параллели, то нет необходимости искусственно прибегать к внутренней реконструкции. Однако для наглядности фиксации происходивших исторических изменений языка очень полезно сочетание этих двух видов объяснений. Например, для раскрытия механизма распределения существительных по типам склонения в древнеанглийском необходимо реконструировать общегерманские типы основ. Однако кроме реконструкции доумlautной формы глаголов 1-го класса слабого спряжения (др.-англ. *dētan* «судить» < < \**dōm-ian*) можно еще использовать соотношение этих глаголов с однокорневыми существительными (др.-англ. *dōm* «суд, суждение»), не имевшими перегласовки<sup>1</sup>.

Разумеется, объяснения, опирающиеся на синхронные связи в системе языка в целях исторического обоснования его особенностей, могут с полным правом считаться «внутренней реконструкцией». К последней чаще всего прибегают при отсутствии или недостаточном количестве надежных

<sup>1</sup> Здесь и ниже иллюстрации высказанных в статье положений даются из истории английского языка не потому, что этот язык представляет собой нечто особенное, а именно потому, что приводимые примеры могут быть с успехом заменены примерами из истории любого другого европейского языка.

исторических источников и неясности генетических связей исследуемого языка с другими языками. Для исторической грамматики языков, располагающих достаточным объемом материала (сохранившихся памятников с известной хронологической последовательностью их создания), методы «внутренней реконструкции» используются для объяснения «выпадений» из системы языка на ее синхронном срезе. Такие методы дают возможность объяснить «правила и исключения» как отражения неравномерности исторического развития уровней языковой структуры и вместе с тем их постоянную взаимозависимость.

Иллюстрации могут быть взяты из области словообразования, отражающего исторические связи объединения слов на основе общности их корневых морфем. В древнеанглийском связь глагола *lēosan* «терять», прилагательного *lēas* «свободный» и существительного *lyre* «утрата» не самоочевидна. Но если, с одной стороны, учесть чередование корневого гласного в формах глагола *lēosan* — *lēas* — *luron* — *loren* и, с другой стороны, аналогичный первому ряд таких однокорневых образований, как глагол *sēosan* «выбирать», прилагательное *orcēas* «неуязвимый», существительное *cyre* «выбор», то обнаруживается наличие системных связей, объединяющих члены разных лексико-грамматических разрядов в словообразовательные ряды с исторически обусловленными изменениями их фонемного состава. Привлечение дополнительного материала по каждому из приведенных рядов *lor* «потеря», *forlorian* «терять», *cyst* «выбор», *cost* «вкус» *costian* «пробовать») помогает понять условия, вызвавшие варьирование фонемного состава членов ряда [3, с. 14—19].

2. Историческая грамматика и историческая диалектология. Следующий важный вопрос, который необходимо решать каждому автору исторической грамматики языка, — в какой мере историческая грамматика языка должна содержать сведения по исторической диалектологии. Лингвист, занимающийся построением исторической грамматики отдельного языка, обязан учитывать вариативность языковых единиц, возникающую в результате территориального распределения диалектов, меняющегося в течение истории этого языка.

Как известно, исторические грамматики конца XIX — начала XX вв. ориентировались главным образом на памятники письменности, особенно если это касалось более ранних периодов истории данного языка. В результате появились не столько исторические грамматики языка, сколько изложения сведений по историческому развитию того диалектного варианта языка, который признан как современная литературная норма. Можно, конечно, задаться целью дать ретроспективную историю языка, т. е. провести исторический анализ тех «выпадений» из системы языка, которые обнаруживаются на его синхронном срезе. Однако при подобном изложении неизбежна фрагментарность и останутся невыясненными те исторические закономерности и те факторы, которые являются движущей силой языкового развития. Безусловно, нельзя превращать историческую грамматику в историческую диалектологию — это разные виды лингвистических исследований. Однако учет диалектной вариативности прошлого языка неизбежно приходится иметь в виду при создании исторической грамматики, и весь вопрос только в степени привлечения этих диалектных данных.

Различия диалектов языка неодинаковы в количественном отношении по отдельным уровням структуры языка. Ярче всего они проявляются в области лексики и фонетики. Естественно, что вопросы лексического состава языка имеют лишь периферийное отношение к исторической грамматике. Иное дело фонетические расхождения, которые часто бывают связаны с морфологическим строением слова. Сами же по себе тенденции преобразования фонетических моделей могут служить источником морфологических инноваций. В качестве примера можно указать на редукцию неударных гласных в германских языках (немецком, в большей мере в английском), что привело к падению конечных морфем (падежных флексий), усилению явлений внутрипарадигматической омонимии, изменениям в строении парадигм флективного типа и тому подобным явлениям.

Диалектные расхождения в области фонологии приходится учитывать потому, что при смешении диалектов (даже в том случае, если формирование единых норм национального литературного языка связано с преобладанием какого-то одного диалекта) отдельные формы, бытующие в современном языке, могут объясняться только как наследие разных диалектов, и, следовательно, даже на синхронном срезе современного нормативного литературного языка проступают различные диалектные элементы исторического прошлого этого языка. Иллюстрацией могут служить известные противоречия в написании и произношении таких современных английских слов, как глагол *to bury* «хоронить» с произношением [berɪ] и прилагательного *busy* «занятой» с произношением [bɪzi]. Написание и отражает сложившуюся под влиянием французского языка в среднеанглийский период манеру передавать др.-англ. *y* [y], сохранившее в южном диалекте то же произношение [y] (совр. англ. *busy*, др.-англ. *bysiz*; совр. англ. *to bury*, др.-англ. *byrdean*). В то же время современное произношение глагола *to bury* как [berɪ] объясняется сохранением для др.-англ. *y* произносительного рефлекс кентского диалекта, а произношение современного английского прилагательного *busy* [bɪzi] представляет собой отражение типичного для северных и западноцентральных диалектов явления делабиализации [y] > [i].

Этот же пример показывает необходимость использования диалектов при определении направления и темпов осуществления фонетических изменений. Делабиализация древнеанглийских гласных  $\ddot{y}$  и  $\text{æ}$  распространялась от северных диалектов к южным, что нашло отражение в колебаниях написания этих гласных в памятниках письменности, отличающихся временем создания и диалектно-географической локацией. Г. С. Уайльд писал, что «на севере, включая Йорк, и на востоке центральной области, включая Линкольн, Хантс, Норфолк и частично Суффолк, др.-англ.  $\ddot{y}$ , вероятно, делабиализовалось в позднедревнеанглийский период. Среднеанглийские тексты из этих районов имеют написание *i* или *y*<sup>2</sup> вместо исконного *y*, как это наблюдается, например, в «Орме» и «Книге Бытия» [4, с. 107]. Далее Уайльд указывает, что в Кенте и Суффолке др.-англ.  $\ddot{y}$  еще в древнеанглийский период превратилось в  $\ddot{e}$ . Следует заметить, что в кентском диалекте имела тенденция нивелировать ряд древнеанглийских гласных, сводя их к *e*, что выделяло его среди других английских диалектов.

В «Кентских глоссах» (X в.) мы находим *e* для гласного, передаваемого в кентских документах IX в. через  $\text{æ}$ ; Кэмпбелл приводит следующие написания из «Кентских глосс»:  $\ddot{æ}$  >  $\ddot{e}$ : *fet* «сосуд», *glednes* «радость»,  $\ddot{æ}$  >  $\ddot{e}$ : *efst* «торопит», *bēnum* «молитвам» (дат. мн.),  $\ddot{y}$  >  $\ddot{e}$ : *ferht* «страх» *ontend* «открывает» [1, с. 122]. Как известно, в древнеанглийском [ō] (написание  $\text{æ}$ ) возникло в результате палатальной регласовки  $\ddot{ō}$ . Встречаются случаи «обратного» написания, т. е. когда вместо исконного *e* стоит *y*. Однако на большей части Англии (в западном и центральном Мидленде, на юге Йоркшира и в южных районах за исключением Кента) древнеанглийское *y* удержалось с тем же звучанием вплоть до XV в. Для его графической передачи использовали заимствованное уже около 1170 г. французское написание *u*, а для долгого гласного части написания *ui* или *iu*. Примером может служить оставшееся в современном английском написание глагола *to build* «строить» < др.-англ. *byldan* (удлинение перед группой согласных — *ld*). Сохранив, условно говоря, «южнодиалектное» написание, глагол *to build* [bɪld] в современном английском произношении подчиняется преобладающему в нормативном литературном языке произношению восточноцентрального типа. Следовательно, для полного понимания исторических процессов, приведших к состоянию, наблюдаемому в современном языке, а также для уяснения «противоречий» в структурных характеристиках синхронного типа приходится в известной мере учитывать материалы территориальных диалектов.

<sup>2</sup> Написание *y* для *i* было заимствовано из французского языка после 1066 г.

Мимо диалектов в истории языка лингвист не может пройти еще по одной причине. Хотя не без основания местные диалекты считаются «складом» архаизмов, одновременно это показательный источник инноваций. Бытуя чаще всего в бесписьменной форме и не будучи скованы письменной традицией литературного языка, диалекты, как и многие другие формы разговорной речи, быстрее, чем литературный язык, реагируют на внутриадигматические изменения на основе закона аналогии, закрепляют формы с синкопированным вспомогательным глаголом для аналитического типа глагольных парадигм и т. д. В древнеанглийском так называемые сильные глаголы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го классов имели различную огласовку для единственного (1-е и 3-е лицо) и множественного числа прошедшего времени. В среднеанглийском это различие в огласовке постепенно стирается, в результате чего в современном английском языке для ряда неправильных (нестандартных) глаголов, исторически восходящих к сильным глаголам, остаются только три основных формы, от которых образуется вся парадигма глагольного спряжения [ср. др.-англ. *drīfan* — *drāf* — *drifen* — *drifen* и совр. англ. (*to drive* — *drove* — *driven*)]. Указанное выравнивание в различных диалектах шло разными путями.

Как яркую черту северных диалектов историки языка отмечают выравнивание огласовки множественного по образцу форм единственного числа (так называемые «северные претериты»), в результате чего в «Northern Homilies» (1330 г.) и в памятнике «Cursus Mundi», (1300 г.) встречаются такие формы прошедшего множественного, как *faand* «нашли», *dranc* «пили», *bigan* «начали», *sagh* «видели» и т. п. Этот тип претерита распространился впоследствии в лондонском литературном языке (ср. совр. англ. *drank* и т. д.). Однако хотя в целом диалекты юга и Мидленда сохраняют в среднеанглийском различие в огласовке (там, где оно существовало в древнеанглийском) для единственного и множественного числа претерита, наблюдается тенденция (особенно у писателей юго-запада и юго-западной части Мидленда) распространять на формы претерита огласовку причастия II (так называемые «западные претериты»). Примерами могут служить формы *bygun*, *flow*, *fought*, *bounde*, которые встречаются в таких памятниках, как «Лайамон» (Текст Б., ок. 1250 г.), у Роберта Глостерского («Хроника», ок. 1320—1330 гг.), У. Тревизы (ок. 1387 г.) и Виклифа (ок. 1320—1384 гг.), и которые не могут быть выведены как формы претерита единственного из др.-англ. *gan*, *flēow*, *feahht*, *bānd*. Нельзя также предположить, что они продолжают формы множественного числа, т. к. было доказано, что тип множественного в претерите сильных глаголов наименее устойчив и не сохраняется в современном английском, если только его огласовка не совпадает с огласовкой причастия II [5]. В современных английских диалектах также можно наблюдать новообразования по аналогии. Например, в противоположность литературной норме в диалектах для неправильных (нестандартных) глаголов встречаются формы, образованные по инфинитивов по аналогии с формами глаголов правильных (стандартных): *catched* от *to catch* «поймать» (литер. *caught*), *seeked* от *to seek* «искать» (литер. *sought*), *telled* от *to tell* «сказать» (литер. *told*). Не следует, конечно, думать, что всегда в диалекте присутствуют глагольные формы аналогические, а в литературном языке формы исторические. Во многих случаях именно благодаря «консервирующим» свойствам местных диалектов в них сохраняются формы архаические, в то время как в нормативном употреблении закрепились формы, образованные по закону аналогии. Например, «диалекты сохранили *wrought* как претерит от *work* (др.-англ. *wyrcan*, прет. *worhte* и *raught* как претерит от *reach* (др.-англ. *rācan*, прет. *ræhte*); нормативные же литературные английские формы *worked* и *reached* являются новообразованиями по аналогии с инфинитивом» [6, с. 106].

Какие же выводы можно сделать из всего сказанного по поводу взаимоотношений исторической грамматики и диалектологии? Очевидно, что, никоим образом не подменяя историческую грамматику исторической диалектологией, все же необходимо учитывать данные этой последней. Дело лишь в правильной «дозировке» диалектных материалов. Хотя их привле-

чение не должно носить характера случайных и отрывочных исторических комментариев, анализ диалектных материалов не может быть систематическим. Прежде всего он должен иметь целью: 1) показать неравномерность развития отдельных сторон системы языка и различные темпы осуществления исторических процессов при в целом единой линии языковой эволюции, 2) объяснить исключения (т. е. выпадения) из норм литературного языка в области фонетики, вызываемые: а) неравномерным распределением форм исторических и форм аналогических, б) сохранением в современном литературном языке изолированных форм, принадлежавших раньше «малым», но законченным парадигмам [случай, подобные совр. англ. *child* «ребенок» — мн. ч. *children* (др.-англ. *cild* — *cild*/*cildru*, ср.-англ. мн. ч. *childre* — в восточно-центральной диалекте и *children* — в южном и кентском диалектах)]; 3) показать важность для истории языков не только письменных, но бесписьменных (на современном этапе) источников информации.

3. Развитие различных уровней структуры языка. Системность (или, точнее, сбалансированность) в строении языка проявляется 1) во взаимозависимости различных сторон структуры языка — фонетика связана с морфологией, морфология с синтаксисом, лексика связана с морфологией в двух планах: а) подчинение определенным лексико-грамматическим разрядам (частям речи); б) неравный охват лексических единиц отдельными грамматическими категориями («сопротивление лексического материала»); наконец, лексика связана с синтаксисом по линии валентности в сочетаемости лексических единиц в пределах синтаксической модели; 2) в диалектике исторического развития различных уровней языка, при которой изменение одной стороны языковой структуры сказывается на других уровнях языка и через их изменение может привести к общей перестройке структуры языка вплоть до изменения его типологии (т. е. возникновения нового языкового типа).

Качественные сдвиги в историческом развитии языка осуществляются сообразно противоречиям, существующим в специфическом строении уровней. Реализация этих противоречий обуславливается: 1) различием в качестве самих уровней языка (большая подвижность лексического уровня, лексическое наполнение морфологических моделей и границы словообразования, формообразования и словоизменения, большая абстрактность универсальных синтаксических отношений и в связи с этим относительная немногочисленность базовых синтаксических моделей с дополняющей их вариативностью); 2) разницей в воздействии исторических условий существования и функционирования языка на различные уровни его строения. Иллюстрацией может служить воздействие субстрата и адстрата на те или иные уровни языка, различия в сохранении старых генетических связей либо по линии основного лексического корнеслова, либо в общности материального оформления морфологических рядов и др.

Диалектика языкового развития по закону перехода количества в качество проявляется: а) в зависимости «употребления» от значения используемых элементов языка, б) в связи частотности употребляемых элементов с их коммуникативной ценностью; в) в изменении качества как проявления внутренних стимулов саморазвития языка на основе преобразующих внутренних законов.

По отношению к частотности тех или иных единиц языковой структуры нам представляется, что необходимо различать: 1) высокую частотность как результат единообразия самой модели и отсутствия параллельных синонимов (или малое их число) и 2) высокую частотность, объясняемую условиями коммуникации, т. е. тем, что можно было бы назвать коммуникативной ценностью данной единицы. Примером первого типа может служить приглагольное отрицание в русском языке. Модель «*не* + форма глагола» имеет стопроцентный охват лексического глагольного материала, и, на наш взгляд, именно это единообразие (при максимальной частотности) предохраняет ее от изменений. Кумулятивный характер отрицания в русском языке (Он никогда не терпел никаких возражений) по сравнению с единичным отрицанием в английском также не создает препятствий для

частотности *ne*. Примером второго типа могут служить устойчивые лексико-синтаксические комплексы, постоянно употребляемые в определенной коммуникативной ситуации (*Доброе утро*) и под.

Для исторической грамматики приходится в первую очередь учитывать частотность первого типа, но еще важнее сочетание «нового» и «старого» как сосуществующих в системе языка и функционирующих с теми или иными индексами частотности. В одной из глав своей работы по истории английского языка, посвящей характерное название «Английский и его история — эволюция языка», Р. Стивик пишет об «одинаковом и отличном в истории языка» [7, с. 41]. Дело в том, что при историческом анализе языка возникает проблема сочетаемости систем (т. е. их синхронных срезов, в которых модели «одинакового» и «различного» не вполне совпадают. В качестве примера автор приводит звуки [i] и [v] в древнеанглийском, которые он считает «одинаковыми» (с точки зрения различия одного слова от другого). Позднее (в среднеанглийском) эти звуки дифференцировались. То же явление «одинаковости» автор видит в супплетивности др.-англ. глагола *gān/leode*, замененной супплетивностью в современном английском *go/went*; в замене др.-англ. глагольного отрицания *ne*, ставившегося перед глаголом, современным отрицанием *not*, стоящим после глагола. Различие синхронного и исторического анализа Стивик видит в том, что первый дает «срезы» (*cuts*), а второй намечает сдвиги» (*drifts*).

По поводу «срезов» и «сдвигов» автор прав, но его примеры «одинаковости» спорны, тем более что они не равноценны между собой. Действительно, [i] и [v] в древнеанглийском были позиционными вариантами фонемы, и превращение их в самостоятельные фонемы (под влиянием французских заимствованных слов с начальной позицией *v*, как считают историки) относится уже к среднеанглийскому. Однако следует ли считать эти звуки «тем же самым»? Ведь место их в консонантной системе английского языка изменилось — обе фонемы включились в тот ряд противопоставлений глухих и звонких щелевых и смычных, который существовал в среднеанглийском. То же можно сказать и в отношении категории отрицания. Во-первых, не сама по себе частица *not* передает отрицание в современном английском, а в сочетании с особой конструкцией, включающей вспомогательный глагол *do*, во-вторых, кумулятивная система отрицания предыдущих этапов развития английского языка полностью перестроилась по линии единичного отрицательного элемента в предложении (или в словосочетании), а, следовательно, хотя бы по форме это не «то же самое». Значит, даже по содержанию близкие конструкции не являются вполне тождественными из-за того, что связи между ними и соседствующими в системе данного языка формами имеют иную конфигурацию. Вместе с тем качественно новый шаг в историческом развитии системы языка должен сочетать единство формы и содержания. Следующий пример позволит понять смысл этого положения.

В истории английского языка лексические утраты (как и во всяком другом языке) не всегда были связаны с исчезновением самих понятий, передававшихся теми или иными лексемами. Чаще всего наблюдалась утрата старых лексем при их замене другими словами или при отнесении их из определенных сфер коммуникации. Из-за распространения в XI — XIII в. англо-французского двуязычия (результата завоевания Англии норманнами в 1066 г.) многие исконно английские слова были заменены французскими без существенного изменения их семантического объема. Так, в современном английском языке употребляются французские по происхождению глаголы вместо исчезнувших древнеанглийских того же значения; ср.: совр. англ. *to terrify* «устрашать», *to honour* «чтить», *to poison* «отравить», *to serve* «служить», *to celebrate* «прославлять» при древнеанглийских эквивалентах *āclian*, *ārian*, *ættrian*, *ambihhtian*, *brēman*.

Следует заметить, что в этих и в ряде других случаев исчезло и существительное (или прилагательное), от которого был образован глагол, иными словами, была утрачена вся этимологическая группа (в современном английском не сохранились др.-англ. *ācol* «устрашенный», *ār* «слава, честь», *attor* «яд», *ambihht* «слуга», *brēme* «знаменитый»). Иногда несмотря на

исчезновение глагола связанные с ним имена (служившие производящей основой) могут остаться в языке, в отдельных случаях претерпев сдвиг в своем значении. В ряде случаев глаголы, утраченные литературным английским языком, продолжают употребляться в современных территориальных диалектах.

Следует особо отметить один тип структурных замен. Речь идет о случаях, когда при исчезновении глагола сохранялось прилагательное, от которого данный глагол был когда-то производным. В таких случаях очень часто в современном английском языке вместо утраченного глагола употребляется сочетание служебного глагола (*to be*, *to become*, *to make* и им подобных) и прилагательного. Например, *to be bright* «блестеть, сиять», *to be glad* «радоваться», *to become deaf* «оглохнуть», *to become little* «уменьшиться», *to make bare* «обнажать» (ср. соответствующие древнеанглийские глаголы *fearhtian*, *gladian*, *uððeafian*, *lyttlian*, *berian*). Разумеется, во многих случаях возможно употребление наряду с глагольной группой однословных синонимов: *to become little* и *to diminish*.

Приведенные типы глагольных образований, которые одни англичане называют фразами, а другие — составными глаголами, появились только в современном английском языке, хотя их развитие подготовилось всем ходом преобразования структуры английского языка. Данная модель обладает неограниченной продуктивностью в английском языке не только для передачи глагольного понятия, не имеющего однословного лексического выражения, но и как синоним к существующим глаголам. Это находит объяснение в тех процессах номинализации английского языка, о которых писали многие лингвисты и которые сводятся к «расщеплению» глагольного понятия на выражение характера действия («пребывать в том или ином состоянии», «переходить в данное состояние», «заставлять переходить в данное состояние») и на выражение самого содержания действия. Именно этот тип замен утраченных глагольных лексем или создание новообразований по данной модели для передачи новых глагольных понятий привели к появлению качественно отличного участка лексико-фразеологической системы английского языка. Количественный рост конкретных глагольных фразем указанного типа укрепил использование данного образца: в борьбе двух синонимов — простого глагола и составного глагола — победа часто остается за последним. Таким образом, важным оказывается не абсолютное количественное разрастание лексики языка, а то, по каким типам структур идут новообразования лексико-фразеологических единиц и какие качественные изменения данного участка строя языка могут обнаружиться в результате исторического процесса развития языка.

4. Анализ архаизмов и инноваций в исторической грамматике. По ходу исторических преобразований строя языка часто происходит распад некогда единых рядов того, что я называю «малыми» системами. Остатки отдельных элементов таких рядов могут закрепляться за особыми функционально-стилистическими сферами (т. е. приобретает стилевую маркированность), оставаться в территориальных диалектах, а если дело касается распада грамматических рядов, переходить в ряд лексических архаизмов, никак не ассоциируясь с вымершими, а раньше им подобными грамматическими эквивалентными формами. «Частые в сфере морфологии глагола архаические формы не составляют вместе с тем какого-то цельного ряда, соотносительного с рядом нормативных форм. Они, если можно так сказать, индивидуальны для каждого глагола и могут быть в разной степени связаны с нормативными рядами. Далеко не все толковые словари английского языка помечают форму прошедшего времени *crew* от глагола *to crow* «кричать» (о петухе) как архаическую (при нормативной *crowed*). Это объясняется тем, что в данном случае различные формы глагола мало отличны по сферам употребления. Из двух архаичных форм к глаголу *to work* «работать» — прошедшего времени *wrought* и причастия II *wrought* (при нормативном *worked*) чаще употребляется причастие II. То же самое можно сказать относительно двух архаичных форм к глаголу *to clothe* «одевать» (нормативные формы *clothed* — *clothed*), где причастие II *clad*

употребляется чаще, чем форма прошедшего времени *clad*. Вследствие адъективного характера причастия эти формы употребляются чаще всего в атрибутивных конструкциях, и это способствует изоляции формы *clad* и *wrought* от основного глагола» [8, с. 295].

Судьба языковых элементов, некогда входивших по тому или иному общему для них всех признаку в один ряд, может сложиться по-разному в дальнейшей истории развития языка. Среди сильных глаголов 7-го класса в древнеанглийском языке имела группа, объединяемая сходной огласовой формой прошедшего времени. Это, например, такие, как др.-англ. *blāwan* «дуть» — прошедшее *blēow*, *flōwan* «течь» — прошедшее *flēow* и им подобные. Составляя не очень обширный, но морфологически вполне отчетливо выделяемый ряд в древнеанглийском, эти глаголы впоследствии разошлись в своем оформлении. Не считая того, что многие из них исчезли как лексические единицы, часть оставшихся приобрели по аналогии формы правильного (т. е. нормативно-стандартного, продуктивного) глагольного спряжения: др.-англ. *flōwan* «течь» — совр. *to flow*, др.-англ. *rōwan* «грести» — совр. *to row*, др.-англ. *hlōwan* «мыть» — совр. *to low*. Удержали старые исторические формы прошедшего и причастия II такие глаголы, как др.-англ. *cnāwan* «знать», совр. *to know* — *knew* — *known*, др.-англ. *blāwan* «дуть», совр. *to blow* — *blew* — *blown*, др.-англ. *grōwan* «расти», совр. *to grow* — *grew* — *grown*. Др.-англ. глагол *māwan* «косить», имея в современном английском стандартную форму прошедшего (*to mow* — *mowed*), сохранил историческую форму причастия II *town*. Вместе с тем др.-англ. *sāwan* «сеять», наряду со стандартной формой прошедшего (*to sow* — *sowed*) хотя и сохранил историческую форму для причастия II *sown*, но как параллельную имеет для причастия II и форму *sowed*. Наоборот, для современного английского *to crow* «кричать» (о петухе) (др.-англ. *crāwan* — *creow*), хотя формы прошедшего времени и причастия II имеют стандартные формы *crowed* — *crowed*, словари помечают не только для диалекта, но и для литературного языка историческую форму прошедшего *crew*.

Возникает вопрос, должен ли автор исторической грамматики языка учитывать явления, подобные изложенным, и регистрировать «осколки», оставшиеся от распавшихся рядов? Размышления по этому поводу имеют и обратную сторону — проблему расширения по тем или иным причинам функционирования моделей, имевших на ранних этапах развития данного языка ограниченное применение. Известно, что в древнеанглийском, так же как и в других древних германских языках, использовалась конструкция *Accusativus cum Infinitivo*. В древнеанглийском этот оборот выступает почти исключительно с глаголами приказания и допущения, отчасти с глаголами чувственного восприятия. При глаголах умственного восприятия этот оборот встречается крайне редко. При этом не только круг употребляемых глаголов ограничен, но и сам оборот мало распространен. Например, в древнеанглийской поэме «Елена» (IX в.) объемом свыше 1300 строк насчитывается всего 15 случаев употребления оборота «винительный с инфинитивом» с глаголами *lātan* «позволять» (5 примеров), *hātan* «приказывать» (3 примера), *bēodan* «спросить» (2 примера), *hēran* «слышать» (5 примеров). В среднеанглийском группы глаголов, с которыми встречается этот оборот, значительно расширяются. Это расширение идет вначале за счет глаголов, семантически близких к вышеуказанным трем группам, но постепенно все новые и новые глаголы втягиваются в орбиту этой грамматической конструкции. В XV в. начинают употребляться достаточно часто и глаголы, выражающие умственную деятельность, волю, желание, т. е. как раз те, которые почти не встречались в этой конструкции в древнеанглийском. Не составляют исключения глаголы, заимствованные в среднеанглийский период из других языков. В современном английском оборот «винительный с инфинитивом» может употребляться при самых разнообразных глаголах, в том числе и при таких глаголах умственного восприятия, как *to think*, *to hold*, *to consider*, *to suspect*, *to assume*, *to imagine* и т. д.

Следовательно, конструкция, действовавшая вначале по отношению к лексическому материалу очень избирательно, начинает постепенно подчинять себе все более разнообразный лексический состав глаголов, и как синтаксическая модель становится весьма частотной, особенно в некоторых стилях письменной речи. С нашей точки зрения, историческая грамматика не должна ограничивать себя только перечислением грамматических форм, а давать также их значение. Значения же грамматических форм может быть раскрыто только при анализе их функционирования, в связи с чем историческая грамматика вынуждена считаться с обоими рядами вышеописанных явлений.

Понимание языка как системы, утвердившееся в языкознании XX в. прежде всего в применении к синхронии, необходимо использовать и при исследовании законов исторического развития языка. Систему языка следует понимать как диалектическое единство набора «малых» систем. Из этого следует, что важно различать (1) закономерности, действенные для всей системы языка в целом, и 2) явления, свойственные «малым» системам. В историческом плане соотношение между (1) и (2) меняется, что определяется, главным образом, теми качественными изменениями, которые характеризуют отдельные исторические этапы развития данного языка. Разделение «малых» систем и «большой» системы как их совокупности важно потому, что семантико-грамматические связи проявляются прежде всего в «малых» системах и понятие «семантико-грамматического поля» приложимо именно к «малым» системам. Поскольку коммуникативное назначение языка требует непрерывности существования отдельных его элементов и «разрыв» их последовательности невозможен, то именно гибкость системы языка в целом и взаимозависимость отдельных его уровней обеспечивают их временную преемственность.

*(Продолжение следует)*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Campbell A.* Old English grammar. Oxford, 1959.
2. *Quirk R., Wrenn C. L.* An Old English grammar. London, 1955.
3. *Ярцева В. Н.* Историческая морфология английского языка. М.— Л., 1960.
4. *Wald H. C.* A short history of English. London, 3-rd ed. London, 1963.
5. *Bälbring K. D.* Geschichte des Ablauts der starken Zeitwörter innerhalb den Südeingischen. Strassburg, 1889.
6. *Brook G. L.* English dialects. 2-nd ed. London, 1965.
7. *Stevick R. D.* English and its history. The evolution of a language. Boston, 1968, p. 11.
8. *Ярцева В. Н.* Развитие грамматического строя языка и проблема архаизмов.— В кн.: Проблемы современной филологии. Сб. статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М., 1965.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ДРЕССЛЕР В. У.

### ОБ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОРФОЛОГИИ \*

1. Естественная морфология (ЕМ) — по крайней мере, тот ее вариант, который представлен в настоящей статье, — возникла в конце семидесятих годов на основе развития и обобщения идей Р. Якобсона о морфологических универсалиях [1]. Она находится в русле исследований, направленных на создание некоторой теории, которую можно было бы противопоставить естественной фонологии Стэмпа (ср. [2, с. 145 и сл.])<sup>1</sup>. В предлагаемой работе формулируются и раскрываются на примерах некоторые основные положения и заключения, к которым приходит ЕМ (конечно, все они несут на себе отпечаток теоретической позиции автора).

2. Если говорить о научно-теоретической основе ЕМ в вопросе о возможностях толкования и предсказания описываемых фактов, то здесь мы солидарны с [10, 11] в том, что объяснительные гипотезы отличаются от прогностических преимущественно с точки зрения временной перспективы. Несомненно, мы не должны претендовать на многое: полные, непротиворечивые и всеобъемлющие объяснения (и, соответственно, предсказания) едва ли возможны; лингвисты выдвигают осмысленные толкования намного реже, чем просто постулируют объяснимость каких-то явлений; ряд объяснений вообще носит частный характер (т. е. *explanans* касается лишь некоторых аспектов *explanandum*). Ясно поэтому, что в настоящее время ЕМ не может претендовать на особую объяснительную силу. В тех случаях, когда база данных представлена фактами человеческой деятельности [а именно так обстоит дело с владением языком (*performance*), будь то речепроизводство, восприятие или оценка (интроспекция, интуитивное предсказание) речи], мы сталкиваемся скорее с множественностью причин, чем с монокаузальностью. Поскольку мы не можем быть уверены, что выявили все релевантные факторы некоторого явления, наши прогнозы должны носить скорее вероятностный, чем детерминистский характер. Кроме того, объяснения, которые может давать ЕМ, подразумевают учет функционального и телеологического аспектов языка, которые не удается перевести всецело в план предсказания.

3. Морфология имеет четыре основные функции:

1) главной функцией словообразования является обогащение словаря, прежде всего посредством пополнения его за счет морфологически производных слов,

2) главной функцией словоизменения является передача категориальных значений — прежде всего посредством морфологически производных словоформ,

3) дополнительная функция, присущая как словоизменению, так и словообразованию, заключается в морфотактической и морфосемантической мотивации производных слов и словоформ.

\* В настоящей статье излагаются основные положения подготавливаемой мной книги «Исследования по естественной морфологии».

<sup>1</sup> Важными исследованиями в этой области явились соответствующие части работ [3, 4], посвященные словоизменению, и [5], посвященная словообразованию. См. также монографии [6] и [7]. В этих работах можно найти разнообразные отсылки к исследованиям по морфологии, выполненным в русле других теорий. О позиции автора настоящей статьи в вопросах фонологии см. [8], в вопросах морфонологии — [9].

4. Во многих лингвистических теориях присутствует противопоставление, подобное сосюрровской дихотомии «язык — речь». Вслед за Э. Косериу [12] мы, однако, вводим более детальную пятичленную<sup>2</sup> оппозицию:



Существенно, что в этой модели скрытые или явные универсалии языка (I) как бы «фильтруются» свойствами языковых типов (II); результаты же этого процесса в свою очередь фильтруются специфическими свойствами конкретного языка (III). Наконец, эти последние фильтруются социолингвистическими нормами (IV) и характером реализации языка в речи (V). Универсалии не представляют собой нечто, берущееся «из пустоты», и не связаны с врожденными идеями, а вытекают из нужд и функций универсального свойства владения языком.

5. Введенная нами пятичленная оппозиция позволяет более четко показать внутреннюю структуру ЕМ. ЕМ включает теорию универсалий, понимаемых в виде манифестации более или менее естественных черт языка и оцениваемых соответственно с точки зрения большей или меньшей естественности данного структурного явления в языке. Эти универсалии лежат в основе как коммуникативной, так и когнитивной сторон владения языком.

Универсалии выбора между маркированными/немаркированными языковыми формами должны непременно иметь экстралингвистические основания, т. е. должны быть мотивированы внеязыковым образом. Однако поскольку в очень многих случаях не удастся выявить прямых и однозначных системных соответствий между каким-то универсальным свойством и экстралингвистическими факторами, приходится выстраивать промежуточный, металингвистический уровень — объяснительный уровень семиотики. Если лингвист изучает вербальные знаки, то семиотика (изучение знаков вообще) является дисциплиной, иерархически более высокой по отношению к лингвистике. Для тех лингвистов, которые опасаются сведения точных лингвистических понятий к нередко туманным семиотическим принципам, я должен подчеркнуть следующее. Прежде всего я по возможности ограничиваюсь довольно строгой семиотической системой Пирса. Кроме того, я считаю, что семиотические принципы должны проверяться на практике, в том числе на основе внешних/вещественных доказательств (см. ниже).

6. Существует универсальная шкала морфотактической прозрачности слов, которую в первом приближении можно представить следующим образом (подробнее см. 15.1). Оговорим заранее, что на каждой ступени данной иерархии могут действовать разные правила (разные группы правил):

I	II
Случаи, наиболее прозрачные в морфотактическом отношении (только правила выбора аллофонов релевантных фонем), ср.: <i>excite</i> <sup>2</sup> + <i>mentlexcite</i> <sup>2</sup>	Изменение слоговой структуры, ср.: <i>exis</i> <sup>2</sup> + <i>ence</i> при <i>exist</i>

<sup>2</sup> Знак + обозначает границу слога.

Морфонологические изменения, ср.: *conclusion* [kən'klu : ʒn] при *conclude* [kən'klu : d]

Случай, наименее прозрачные в морфотактическом отношении (морфонологические и морфологические изменения), ср.: *decision* [di'siʒn] при *decide* [di'said].

Понятие морфотактической прозрачности можно считать производным от общесемiotического принципа прозрачности знака [13]; оно тесно связано с принципами двусторонности и иконичности знака. Психолингвистические эксперименты Д. Мак-Кея [14] показали, что носители языка наилучшим образом выделяют основу в словах, относящихся к ступени I приведенной иерархии, и хуже всего — в словах, принадлежащих к IV (с постепенным ухудшением выделяемости сегментов от I к IV). Наиболее ясными оказываются словообразовательные модели в случаях типа I, наименее прозрачными — в случаях типа IV. Соответственно, для первой ступени можно говорить о наилучшей морфотактической мотивации.

Таким образом, приведенная шкала морфотактической прозрачности отвечает четырем условиям, предъявляемым к лингвистическим универсалиям в сфере морфологии, а именно: 1) имеет языковую функцию (мотивацию), 2) имеет смысл в плане владения языком (*performatance*), 3) семиотически обоснована (прозрачность), 4) находит экспериментально подтверждаемые экстралингвистические основания (в психологии восприятия).

7. Итак, если нам удалось установить универсальную шкалу морфотактической прозрачности, мы в состоянии строить следующие (сугубо вероятностные) прогнозы.

7.1. В языках мира слова и словоформы, обладающие большей морфотактической прозрачностью, должны встречаться чаще, чем морфотактически менее ясные слова (словоформы). Представляется, что этот «прогноз» хорошо подтверждается на материале различных естественных языков [15].

7.2. Учитывая соответствующие заключения смежных наук, мы можем предсказать, что при усвоении языка дети овладевают морфонологическими правилами, действующими на морфологически прозрачном материале, скорее, нежели морфонологическими правилами, оперирующими на морфологически неясном материале. Этот прогноз подтверждается также данными изучения афазии и вольностей поэтического языка [16]. Возникает, однако, вопрос, отчего языки вообще не проявляют нетерпимости к морфологически непрозрачным словам/словоформам. Рассмотрим это в следующих параграфах.

8.1. Как было показано в 4, ЕМ включает, в частности, теорию морфологической типологии. Этот компонент ЕМ основывается на тезисах В. Скалички об идеальных языковых типах (или типологических конструктах) [17]. Языковый тип — это сочетание наиболее предпочтительных структурных параметров. Однако поскольку разные структурные параметры, обслуживающие функционирование естественного языка, могут вступать в противоречие между собой, язык не в состоянии следовать наиболее естественным приемам во всех своих аспектах. Поэтому конкретный (частный) языковой тип нередко характеризуется (и составляется) более или менее естественными способами выражения одних категориальных признаков/отношений и довольно неестественными (маркированными) способами выражения других.

8.2. В качестве примера последнего утверждения рассмотрим вновь случай морфотактической прозрачности.

Морфотактическая прозрачность достигает максимума в агглютинативных языках (удачным примером здесь может быть турецкий язык), причем происходит это и за счет снижения семиотической нагруженности (*indexicality*) слов, и за счет их непомерной длины, намного превышающей оптимальную. Иначе говоря, слово в агглютинативном языке может быть весьма длинным, расстояние между основой и крайним правым суффиксом в нем — очень большим; это, в свою очередь, делает и восприятие, и произнесение слов более трудным. С другой стороны, языки флективного типа и так называемые интрофлексивные языки (примером последних яв-

ляются, скажем, семитские языки) располагают наиболее короткими и оптимально нагруженными словоформами; такие словоформы нередко совершенно непрозрачны в морфотактическом отношении. Ср. турецк. *adalarimiz-dan* и лат. *insulis nostris* «от (с) наших островов».

8.3. Образно говоря, флективные и интрофлективные языки приносят морфотактическую и морфосемантическую прозрачность в жертву оптимальной длине семиотической словоформы; агглютинативные же языки, напротив, жертвуют семиотической краткостью словоформы ради сохранения морфотактической прозрачности и семантической однозначности.

8.4. На первый взгляд может показаться, что подобный подход к морфологическим типам языка имеет те же недостатки, которые заключены в подходе с позиций «последовательного типа» (consistency), широко применяемом, скажем, в типологии порядка значимых элементов в духе Дж. Гринберга (критику понятия «последовательный тип» см. в [10]). Однако между нашим подходом и подходом в духе «последовательной типологии» имеются следующие различия:

1) нам удастся избежать избыточности выделяемых типов. В то время как у Гринберга насчитывается 24 основных типа, мы ограничиваемся пятью идеальными морфологическими типами (изолирующим, агглютинативным, флективным, интрофлективным, инкорпорирующим);

2) в типологии порядка слов выделяется небольшое число поверхностных синтаксических признаков; в типологии В. Скалички устанавливается широкий набор признаков, относящихся ко всем уровням структуры исследуемого языка; кроме того, признаки, на которых основывается В. Скаличка, соотносятся с естественными характеристиками языка, претендующими на универсальность;

3) системные сравнительно-исторические исследования (у В. Скалички они не предпринимались) позволяют выявить диахронические и даже генетические (ср. [11]) обоснования смешанных типологий и, более того, очертить границы последних;

4) можно вывести дедуктивно и затем получить фактические подтверждения следующим принципам формирования смешанных типов: а) в языке могут быть (помимо флективного словообразования) и другие словообразовательные средства, но не наоборот, б) флективное словоизменение может сочетаться с агглютинативным словообразованием в пределах одного языка, но не наоборот.

9. Как было показано в 4, ЕМ включает как особый компонент теорию, позволяющую описывать конкретные системы естественных языков (ср. [18, 19]). Здесь, как и при описании идеальных типов, о которых только что шла речь, существуют диахронические обоснования. Так, едва ли при описании английской морфологии в рамках ЕМ можно обойтись без следующих исторических фактов: 1) средневековый английский язык имел богатую морфологию флективного типа, однако затем претерпел резкие фонологические изменения (ср., однако, ниже, 10); 2) лексика и морфология средневекового английского языка испытали сильное влияние классических и позднее романских языков.

10. В ЕМ нет ни собственной социолингвистической, ни собственной психолингвистической теории для описания языковой нормы и правил владения языком (см. 4). Однако она последовательно обращается к соответствующим концепциям языкознания. Сторонники ЕМ с трудом пока включаются в теоретические или эмпирические исследования, посвященные проблеме диалектического взаимодействия между параметрами естественности в языке. Допустим, морфотактическая прозрачность может пострадать из-за действия естественно-фонологических правил; существует ли разрешение противоречия между естественной фонологией и ЕМ? Общая теория языковых типов и наша морфонологическая теория позволяют предсказать следующие пути.

Во флективном языке морфотактическая прозрачность обычно сохраняется в строгой, официальной речи, а естественно-фонологические правила, затемняющие эту прозрачность (ленгвия и т. д.), проявляются в первую очередь в быстрой, разговорной речи, откуда эти правила начи-

нают в дальнейшем распространяться на более медленную формальную, «правильную» речь. Став обязательными уже во всех функциональных стилях, фонологические правила с большой степенью вероятности трансформируются в морфонологические, а затем — в морфологические. Последние же подрывают морфотактическую прозрачность слов языка. Но постепенно многие морфонологические и морфологические правила утрачивают свое значение, и морфотактическая прозрачность в конечном счете может быть восстановлена [9].

11. Четырехмерное теоретическое пространство ЕМ, очерченное в 4, весьма сложно, и четко разработать его сразу едва ли удастся. Между тем хотелось бы показать, что ЕМ развивается по правильному пути. Как это сделать? В настоящее время для построения предсказательных и/или объяснительных гипотез используется пять различных стратегий.

1) Мы продолжаем строить вероятностные прогнозы относительно распределения конкретных морфологических явлений в языках мира; соответственно, наиболее естественные (с точки зрения каждого из рассматриваемых нами параметров) явления должны *ceteris paribus* быть наиболее частыми, а наименее естественные (с точки зрения тех же параметров) — исключительно редкими или вообще не представленными в языках.

2) Мы постепенно увеличиваем число отрицательных прогнозов, т. е. определяем возможные морфологические явления, которые в принципе настолько неестественны (с точки зрения тех или иных параметров оценки), что не могут встречаться в языках мира. Так, сначала нам удалось построить прогноз, согласно которому префиксы и суффиксы более естественны, чем инфиксы, а наименее естественными для языка являются трансфиксы [8, 9]. Затем, однако, мы обнаружили, что анализ словоформы семитских языков с использованием понятия «трансфикса» вообще неверен (речь идет об анализе, подразумеваемом выделением прерывных консонантных основ и прерывных вокалических трансфиксов), а значит, теоретически кажущийся возможным класс трансфиксов слишком неестествен для языка и вообще не может реально встречаться.

3) Что касается противоречий между отдельными параметрами естественности в языке, мы пытаемся свести такие противоречия к минимуму и найти путь выработки наиболее предпочтительных способов разрешения таких противоречий (ср. [6; 20, гл. 10]).

4) В этой связи приобретают особую значимость «внешние/вещественные доказательства» (ср. [9]). Если обратиться к данным смежных областей лингвистики, то можно увидеть, что релевантные «возмущающие» переменные имеют различный вес в разных сферах функционирования/применения и, соответственно, описания языка. Следовательно, мы можем предсказывать, как одни и те же противоречия будут по-разному разрешаться в разных окружениях (ср., например, один набор факторов, действующий при освоении языка нормальными здоровыми детьми, и другой набор, релевантный при освоении языка дебилными детьми) [21]. Природа сама ставит эксперименты и предоставляет нам вещественные доказательства тех или иных гипотез.

5) Но есть еще и «теневые» случаи (the devil's case). В средневековой схоластике «теневые» элементы, презумпция существования которых была обязательной, непременно шли вразрез с любой сколько-нибудь порядочной теодицеей. Точно так же крайне маловероятные теоретически, кажущиеся неестественными явления подрывают основы ЕМ. Если нам необходимо убедить кого-либо в достоинствах ЕМ, то необходимо прежде всего найти объяснение присутствию в языке подобных крайне неестественных явлений. Это, так сказать, решающий эксперимент.

12. Для толкования «теневых» элементов и явлений мы используем следующие приемы.

12.1. Соответствующее явление, составляющее «теневой» элемент (случай), должно занимать наименее приоритетное положение в иерархии всеобщей (универсальной) естественности явлений языка (см. 5).

12.2. Прогнозируется заранее, что данное «теневое» явление встречается в языках мира крайне редко, т. е. гораздо реже, чем сопоставимые с

ним по некоторому конкретному параметру, но более естественные (с позиций именно этого параметра) явления (ср. 7); необходимо получить статистически значимые доказательства данного прогноза.

12.3. Аналогичные прогнозы должны быть построены в отношении отдельных областей лингвистики, в особенности тех, которые допускают получение однозначных количественных (эмпирических) данных. Должны быть проведены соответствующие верификационные эксперименты (ср. § 11.4).

12.4. Следует определить существо противоречий между отдельными параметрами, по которым оценивается язык (языковой тип), с тем чтобы по всем прочим параметрам, кроме данного, исследуемое «теневое» явление не было столь неестественным.

12.5. Следует ввести теоретические ограничения по отношению к логически выводимым следствиям противоречий, о которых только что шла речь.

12.6. «Теневое» явление должно быть типологически ограниченным, т. е. должно встречаться не во всех возможных языковых типах. Следует показать, что оно возможно в языке типа X, но не в языке типа Y, и объяснить такую типологическую идиосинкразию.

12.7. В рамках каждого языка, в котором реально представлено данное явление, необходимо найти ему место в конкретной языковой системе (ср. 9).

12.8. Необходимо предпринять поэтапное диахроническое исследование, позволяющее удовлетворительным образом объяснить генезис и развитие данного «теневого» явления.

12.9. Названные здесь восемь ступеней анализа и интерпретации «теневого» явления приведены специально, чтобы показать существенное отличие методологии ЕМ (представляющей собой строгий научный метод) от ни к чему не обязывающих рассуждений и туманных соображений, которые так часто можно встретить в специальной литературе.

Теперь мы рассмотрим в самой краткой форме явления усечения (subtraction), интерфиксации и супплетивизма (см. соответственно 13, 14 и 15).

13.1. В рамках ЕМ анализ усечения как морфологического процесса исходит из принципа иконичности конструкции языковой единицы<sup>3</sup>. Семантическая деривация, т. е. морфосемантический аспект словообразования, прибавляет к значению основы, мотивирующему общее значение производного слова, дополнительное интенциональное значение. Так, отглагольное имя деятеля представляет интенциональное значение основы и дополняет агентивное значение. Соответственно диаграмматическое отношение между содержанием и формой оптимально, если формообразующий элемент присоединяется к основе, т. е. при аффиксации (случай А). Ср. англ. *sing-er* «певец», образованное от англ. *sing* «петь». Случай Б: иконичность конструкции будет гораздо меньшей, если имеет место модификация основы, например, путем чередования, ср. англ. *sing* «петь» — англ. *song* «песня». Случай В: иконичность вообще отсутствует в случае конверсии: ср. англ. *to cut* «резать» — *a cut* «порез, надрез, разрез» (см. [24, 25]). Случай Г — это необычайно редкий прием, когда способ словообразования можно признать попросту «антииконическим»; здесь укороченные формы приводят к «расширению» значения. Примеры, естественно, немногочисленны; ср. в гессенском диалекте немецкого языка *hond* «собака (ед. ч.)» — *hon* «собаки (мн. ч.)», где семантически более маркированный член оппозиции (форма мн. ч.) представлен более короткой в линейном отношении и, стало быть, менее формально маркированной формой, чем семантически немаркированный или более нейтральный (форма ед. ч.) [13, с. 416]. По сравнению с образованием формы мн. ч. данного слова в литературном немецком языке этот прием оказывается еще более антииконическим, ср. в современном литературном немецком *Hund* (ед. ч.), *Hunde* (мн. ч.), где используется аффиксация.

<sup>3</sup> О словоизменительной морфологии см. [22, с. 137 и сл.; 23; 6, с. 43 и сл.].

13.2. Если на время отвлечься от гипотетических промежуточных стадий разнообразных морфологических дериваций, то окажется, что процессы усечения в «чистом виде» крайне редки и занимают очень незначительное место среди других морфологических правил. Собственно, найти какие-либо еще примеры, кроме того, который был приведен в 13.1, почти не удастся. Ни в литературном немецком языке, ни в английском, ни в литературных романских, ни в грузинском, ни в языках доциль, дигуэньо, калиспель, пенго, белау и др. таких примеров не обнаруживается. Вероятно, усечение используется при построении топонимов в языке йидинь [26, с. 474 и сл.], возможно, в одном из случаев словообразования в русском языке (ср. *акадежика* → *академик*, см. также [27]). Симптоматично, что Ю. Найда приводит всего четыре подобных примера, два из которых оказываются просто неверно проанализированными, а два — его собственными конструктами [28, с. 75 и сл.]. В тех случаях, когда усечение используется для сокращения компонентов сложного слова или сокращения всего этого слова, ему всегда сопутствует дополнительное приращение другого компонента, ср. нем. *Ton + band* «магнитная лента» — (*Ton*)*band + gerät* «магнитофон». Однако неясно, стоят ли за такими случаями реальные морфологические правила [28, § 5].

13.3. Теперь мы кратко рассмотрим венгерские уменьшительные формы типа *Erzsébet* «Элизабет, Елизавета» — *Erzsi* «Вета, Лиза» и *zongora* ≈ «пьянино, рояль» — *zongi* (уменьш. от *zongora*) «dear little piano». Во-первых, усечение более длинного слова до допустимого правилами односложного компонента (*Erzsz, zongl*), но [ág] в случае *Agnes — Agi*) является промежуточным процессом, за которым следует обязательное компенсаторное присоединение демунитивного суффикса *-i*, который как бы смягчает эффект усечения. К сожалению, у нас нет никаких данных о статусе этого явления при усвоении языка детьми, расстройствах речи и т. п.

13.4. Имеются и дополнительные факторы, препятствующие соблюдению конструктивной иконичности и мотивирующие необходимость (желательность) усечения. Во-первых, уменьшение длины слова (путем его усечения и другими приемами) в демунитивных формах мотивировано метафорически постольку, поскольку имеется метафорическая основа для обращения к детенышам любимых животных (ср. [6, с. 99 и сл., 151, 181]). В связи с тем, что метафоры также являются знаками, возникает противоречие между конструктивной иконичностью и знаковостью метафоры. Во-вторых, приведенные гипокористические формы нередко используются как звательные. Что же касается усечения вокативных форм, то оно хорошо известно как в случае аналитических, так и синтетических вокативов: ср. в диалектах юга Италии *Dottò!* «Доктор!» (от *dottore* «доктор»), в русском *Серезжа — Серез!* (о причинах этого явления см. [29]).

13.5. Таким образом, усечение венгерских форм объясняется тремя причинами, а недостаточная естественность таких форм связана только с одним параметром оценки языкового устройства (ср. 15.5).

13.6. Любопытно, что усечение демунитивных, гипокористических и вокативных форм шире распространено в языках разных типов, чем менее мотивированное усечение, которое, по-видимому, встречается только в языках флективного типа (см. 13.2).

13.7. В венгерском языке главное ударение всегда падает на первый слог слова, а, скажем, в немецком имеется тенденция к фиксации ударения на более правых слогах мноморфного многосложного слова, в том числе и имени собственного. Таким образом, оказывается, что усечение венгерского *Erzsébet* до *Erzsi*<sup>4</sup>, а немецкого *Elisabeth* до *Li(esi)* (основной звательный вариант) согласуется с особенностями системы каждого из этих языков. Отсюда та легкость, с которой можно обнаружить заимствования из

<sup>4</sup> Английские формы регулярностью не обладают и абсолютно непредсказуемы; иначе говоря, они представляют собой не примеры действия словообразовательных правил, а реликты детского языка или намеренно исковерканной речи. Что же касается венгерских форм и аналогичных форм в языке африкаанс, то они образуются по продуктивным правилам.

венгерского в системе звательных/уменьшительных форм австрийского варианта немецкого языка и наоборот.

14.1. Интерфиксы в русском языке представляют собой класс пустых морфем, таких, как *-ов-*, *-ин-*, *-(и)й-*, соответственно в прилагательных *линковский* (= *глинковский*), *альпийский*, *кофейный* (образованных от *Линка*, *Альпы*, *кофе*) или в именах *баймаковец*, *туапсинец*, образованных от *Баймак*, *Туапсе*. Пустая морфема является интерфиксом, если она отвечает следующим трем условиям [30]: 1) представляет собой аффикс, который разделяет основу и первый (значимый) суффикс (или две основы), 2) не имеет никакого конкретного значения и даже не выступает в качестве регулярного сопровождения определенного суффикса, следующего за ней, 3) не может быть описана в терминах морфологических правил включения (*insertion*) в рамках теории, которая различает морфологические правила в целом и правила распределения алломорфов.

Пустая морфема с точки зрения шкалы семантической прозрачности представляет собой чрезвычайно неестественное образование (наиболее естественным будет, конечно же, одно-однозначное соотношение между формой и значением аффикса). Формы интерфикса определяются либо рифмой (как в *алп + ий + ский*), либо исходом слога (как в *ко<sup>т</sup>фе + й<sup>т</sup> + + мый*), либо рифмой одного слога и началом следующего (как в *бай<sup>т</sup>ма<sup>т</sup>к + + о<sup>т</sup>в + ец*). Таким образом, начальный звук слога и начальный звук пустой морфемы никогда не совпадают; следовательно, интерфикс начинается с менее значительной для восприятия части слога, а это затрудняет «обработку» его при восприятии речи. Что касается *-ов-* в *баймаковец*, то эта пустая морфема совсем трудна для восприятия, поскольку ее границы вообще не совпадают со слоговыми. Иначе говоря, интерфиксы довольно неестественны с точки зрения иерархии морфотактической прозрачности.

14.2. Интерфиксы, которые отвечали бы трем условиям, приведенным в 14.1, весьма редки. Помимо приведенных русских примеров, образцы интерфиксов можно найти в испанском языке (*casa* «дом», аугментатив *cas-er-bn* с суф. *-on*), в немецком — при соединении компонентов сложного слова (*Rind-s-braten* = *Rind-er-braten* «ростбиф»), крайне редко — в латыни, в формах сравнительной и превосходной степеней прилагательных с *-ent* (ср. *bene-vol-us* «благожелательный», сравн. степень *bene-vol-ent-ior*, превосх. степень *bene-vol-ent-issimus*). Пример интерфикса — *-sc-* в итальянском см. 15.7.

14.3. У нас нет никаких существенных фактов из смежных отраслей языкознания (кроме, пожалуй, данных исторической лингвистики), свидетельствующих о том, что интерфиксы возникают при переосмыслении морфологической структуры и весьма нестабильны в языке.

14.4. Интерфиксы представляются неестественными и с точки зрения морфосемантической, и с точки зрения морфотактической прозрачности. Однако здесь вступает в действие принцип конструктивной иконичности: обычно морфосемантически прозрачные деривационные модели оказываются и морфотактически прозрачными (это имеет место при действии продуктивных морфологических правил), и наоборот, морфосемантически непрозрачные образования неясны и морфотактически. Таким образом, имеется несомненная взаимосвязь между морфосемантической и морфотактической прозрачностью/непрозрачностью, а это указывает на иконический характер данного соотношения.

Поскольку интерфиксы непрозрачны и морфосемантически, и морфотактически, мы можем считать их иконическими знаками. Иначе говоря, интерфиксы трудны для восприятия, но трудности, возникающие в связи с их идентификацией в потоке речи, несущественны, т. к. интерфиксы не имеют собственного значения. Именно это кардинальным образом отличает интерфиксы от прочих аффиксов — как в морфосемантическом, так и в морфотактическом отношении.

14.6. Чисто типологически интерфиксы, по-видимому, встречаются только в языках флективного типа (ср. 15.6 и 14.7).

14.7. Интерфиксы нередко появляются после относительно коротких основ, как бы уменьшая относительную длину последующего суффикса

и вместе с тем приводя ее к норме, «принятой» в языке флективного типа. Вставка интерфикса нередко выступает как альтернатива применения морфологических правил или правил распределения алломорфов; подобные правила подрывают морфотактическую прозрачность (однозначность) основы и/или суффикса; вставка же интерфикса избавляет последние от дальнейших изменений.

14.8. Что касается диахронических аспектов интерфиксации, то мы ограничимся здесь ссылкой на работы [31, 32], а также на диссертационное исследование русского суффикса и интерфикса *-ov-* (автор П. Дауэрты, Вена).

15.1. Супплетивизм и тем более сильный супплетивизм в языке с точки зрения иерархии морфотактической прозрачности — явление крайне неестественное (ср. 6).

I	II	III	IV
Действуют только правила выбора конкретных аллофонов: <i>excite + 'ment</i> <i>excite</i>	Могут действовать правила фонологического типа, например, наменение слоговой структуры: <i>exist + ence exist</i>	Могут действовать фонологические правила нейтрализации: <i>rid + er (амер.) ride</i>	Могут действовать морфонологические правила (слияние невозможно), например, ассимиляция веларных: <i>electric + ity electric</i>
V	VI	VII	VIII
Могут действовать морфонологические правила, в том числе слияние: <i>conclusion conclude</i>	Могут действовать морфонологические правила: <i>decision decide</i>	Супплетивизм слабый <i>childr + er child</i>	(правил нет) сильный <i>be, am, are, is, was</i>

15.2. Супплетивизм, и особенно сильный супплетивизм, должен быть очень редким явлением. Рассмотрим примеры из итальянского языка. В итальянском словоизменении супплетивизм наблюдается в следующих случаях.

15.2.1. При выражении числа (всего три примера, причем все три иллюстрирует слабый супплетивизм): *uomo* «человек, мужчина», мн. ч. *uomin-i*; *buo «бык»*, мн. ч. *buo-i*; *dio «бог»*, мн. ч. *dei*.

15.2.2. В некоторых формах сравнительной и превосходной степеней прилагательных (случаи сильного супплетивизма): *buono* «хороший», *migliore* «лучше», *ottimo* «очень хороший»; *cattivo* «плохой», *peggiore* «хуже», *peissimo* «наихудший»; *grande* «большой», *maggiore*, *massimo* «наибольший»; *molto* «много», *più* «больше»; *poco* «мало», *meno* «меньше», *minimo* «наименьший».

15.2.3. Определенные артикли: муж. р. *il ~ lo*, мн. ч. *i ~ gli*.

15.2.4. Личные местоимения (здесь наблюдается как сильный, так и слабый супплетивизм): *io* «я», в косв. падежах *me/mi*, *tu* «ты», в косв. падежах *te/ti*; *noi «мы»*, в косв. падежах *ci*; *voi «вы»*, в косв. падежах *vi*.

15.2.5. Вспомогательные и модальные глаголы (имеет место как сильный, так и слабый супплетивизм):

инфинитив	<i>essere «быть»</i>	<i>avere «иметь»</i>	<i>potere «мочь»</i>
ед. 1-е л.	<i>sono</i>	<i>ho</i>	<i>posso</i>
2-е л.	<i>sei</i>	<i>hai</i>	<i>puoi</i>
3-е л.	<i>è</i>	<i>ha</i>	<i>può</i>
мн. 1-е л.	<i>siamo</i>	<i>abbiamo</i>	<i>possiamo</i>
2-е л.	<i>ste</i>	<i>avete</i>	<i>potete</i>
3-е л.	<i>sono</i>	<i>hanno</i>	<i>possono</i>
буд. вр.	<i>sarò</i>	<i>avrò</i>	<i>potrò</i>
имперф.	<i>ero</i>	<i>avevo (регулярно)</i>	<i>potevo</i>
прет.	<i>fui</i>	<i>ebbi</i>	<i>poteti</i>
пртч.	<i>stato</i>	<i>avuto (регулярно)</i>	<i>potuto</i>

инфинитив	<i>volere «хотеть»</i>	<i>dovere «долженствовать»</i>
ед. 1-е л.	<i>voglio</i>	<i>devo</i>
2-е л.	<i>vuoi</i>	<i>devi</i>
3-е л.	<i>vuole</i>	<i>deve</i>
мн. 1-е л.	<i>vogliamo</i>	<i>dobbiamo</i>
2-е л.	<i>volete</i>	<i>dovete</i>

3-е л.	<i>vogliono</i>	<i>devono</i>
буд. вр.	<i>vorrò</i>	<i>dovrò</i>
имперф.	<i>volevo</i>	<i>dovevo</i>
прет.	<i>vollì</i>	<i>dovetti</i>
прич.	<i>voluto</i>	<i>dovuto</i>

15.2.6. Несколько знаменательных (полнозначных) глаголов, у которых в основном представлен слабый супплетивизм:

инфинитив	<i>fare</i> «делать»	<i>andare</i> «идти»
ед. 1-е л.	<i>faccio</i> (fo)	<i>vado</i> (vo)
2-е л.	<i>fai</i>	<i>vai</i>
3-е л.	<i>fa</i>	<i>va</i>
мн. 1-е л.	<i>facciamo</i>	<i>andiamo</i>
буд. вр.	<i>farò</i>	<i>andrò</i>
прет.	<i>feci</i>	<i>andai</i>
прич.	<i>fatto</i>	<i>andato</i>
инфинитив	<i>sapere</i> «знать»	<i>uscire</i> «выходить»
ед. 1-е л.	<i>so</i>	<i>esco</i> [esko]
2-е л.	<i>sai</i>	<i>esci</i> [esi]
3-е л.	<i>sa</i>	<i>esce</i> [ese]
мн. 1-е л.	<i>sapiamo</i>	<i>usciamo</i> [usamo]
буд. вр.	<i>saprò</i>	<i>uscirò</i>
прет.	<i>seppi</i>	<i>uscii</i>
прич.	<i>saputo</i>	<i>uscito</i>

15.2.7. При деривации супплетивизм проявляется при образовании порядковых числительных от количественных (здесь имеются случаи как слабого, так и сильного супплетивизма), ср. итал. *uno* «один» — *primo* «первый»; *due* — «два» — *secondo* «второй»; *tre* «три» — *terzo* «третий»; *quattro* «четыре» — *quarto* «четвертый»; *cinque* «пять» — *quinto* «пятый»; *sei* «шесть» — *sesto* «шестой»; *sette* «семь» — *settimo* «седьмой»; *otto* «восемь» — *ottavo* «восьмой»; *nove* «девять» — *nono* «девятый»; *dieci* «десять» — *decimo* «десятый» (пример регулярного образования порядкового числительного с суф. *-esimo*).

15.2.8. Слабый супплетивизм довольно редко, а сильный — крайне редко используется при образовании прилагательных от названий стран и городов, например:

<i>Arezzo</i> → <i>aret-ino</i>	«аретинский»
<i>Firenze</i> → <i>fiorent-ino</i>	«флорентинский, флорентийский»
<i>Gubbio</i> → <i>eugub-ino</i> ( <i>gubb-ino</i> )	«принадлежащий Губбио»
<i>Nepi</i> → <i>neves-ino</i> ( <i>nep-ese</i> )	«принадлежащий Неши»
<i>Londra</i> → <i>londin-ese</i>	«лондонский»
<i>Basilicata</i> → <i>lucano</i>	«относящийся к Базиликата» <sup>5</sup>
<i>Chieti</i> → <i>teat-ino</i> ( <i>chiet-ino</i> )	«принадлежащий Кьетти»
<i>Germania</i> → <i>tedesco</i>	«немецкий»
<i>Ceylon</i> → <i>singalese</i>	«сингапльский».

15.3. Дети усваивают супплетивные формы позже, чем несупплетивные.

15.4.1. Если говорить о возможных противоречиях, возникающих при интерпретации приведенных случаев супплетивизма, то можно заметить, что некоторые из них имеют прагматическую мотивировку, поскольку супплетивные формы нередко используются метафорически (а значит, иконически) для указания на специфические отличия описываемой сущности от других (33, с. 42 и сл.; 34; 35, с. 39; 36, с. 96 и сл.); так, например, итал. *dei* (см. 15.2.1) обозначает языческие божества в противоположность богу в христианском понимании (*Dio*); «первый» и «второй» (15.2.7), обычно имеющие супплетивные формы, часто используются вне системы счета, в несобственно цифровом значении. Далее, «мы» (ср. итал. *noi*, 15.2.4) — это не просто мн. ч. от «я», так же как «вы», нередко нельзя представить как обычное мн. ч. от «ты» (ср. соответственно итал. *voi* и *tu*). Следовательно, мы можем предсказать, что супплетивная форма «мы» должна чаще встречаться в языках мира, чем супплетивная форма «вы»; на практике выясняется, что так оно и есть.

<sup>5</sup> Другое распространенное название итальянской области Базиликата — Лукавия, отсюда и форма прилагательного (*Примеч. перев.*).

Наконец, супплетивные прилагательные, образованные от названий мест, обычно — в отличие от регулярных образований — маркированы стилистически и социально, и носитель языка не строит их аналогически, а «заучивает». Это также можно признать особым случаем наличия специфических отличий и маркированности.

15.4.2. При усвоении языка и в процессе языковых изменений супплетивные формы нередко подвергаются выравниванию по аналогии. Возникает вопрос: при каких условиях супплетивные формы активнее всего сопротивляются подобному выравниванию?

15.4.3. Чем частотнее форма в языке, тем лучше и тем скорее она будет сохраняться в памяти и, соответственно, удерживаться в языке; *uomini* (см. 15.2.1) была самой частой из всех латинских форм мн. ч. на *-ines* (в соотношении с формой ед. ч. на *-o*); сохранившиеся формы сравнительной/превосходной степеней (см. 15.2.2) весьма частотны; вспомогательные и модальные глаголы, равно как и приведенные выше полнозначные глаголы — наиболее частотны. Супплетивные порядковые числительные тем типичнее в языках мира, чем меньше выражаемое ими число. Среди прилагательных, образованных от топонимов, по крайней мере топонимов Италии, супплетивные формы соотносятся с названиями довольно больших (а значит, и нередко упоминаемых) мест.

15.4.4. Основные с прагматической точки зрения формы лучше сопротивляются изменениям [33, с. 41], поскольку именно более базисные в прагматическом отношении понятия скорее оказывают влияние на менее базисные, чем наоборот (ср. [37]). Сказанное относится к таким лексическим единицам, как артикли, местоимения, глаголы, числительные первого десятка, названия больших городов.

15.4.5. Аналогическое воздействие одних форм на другие будет более значительным в больших классах языковых единиц (где значительное количество регулярных форм может оказывать влияние на некоторые исключения), а не в небольших классах. Нет нужды говорить, что артикли, местоимения, вспомогательные и модальные глаголы (итал. *fare* «делать», *andare* «идти» также нередко используются как модальные) и числительные образуют небольшие классы.

15.4.6. Усвоение детьми числительных происходит не парами типа «один» — «первый», «два» — «второй», «три» — «третий» и т. д., а отдельными рядами, т. е. отдельно усваиваются порядковые, отдельно — количественные числительные. Аналогично при диахронических изменениях гораздо больше сходства можно обнаружить между развитием конкретных числительных одного ряда, чем между развитием числительных в двух разных рядах, даже если они соотносятся с одним числом [30].

15.5. По-видимому, при возникновении противоречий, о которых мы говорили, результат будет напоминать тот, который описан в 13.5: чем выше мотивация супплетивной формы, тем больше у нее шансов сохраниться в языке.

15.6. Если говорить о типологических ограничениях, можно сделать следующие заключения (см. также 13.6, 14.6):

Посылка I. Если параметр естественности более значим в языковом типе X, чем в языковом типе Y, то морфологические явления, неестественные с точки зрения этого параметра, должны встречаться в типе X гораздо реже, чем в типе Y.

Посылка II. Морфосемантическая и морфотактическая прозрачность (см. 6), реализующаяся в виде конструктивной иконичности (см. 13.1), гораздо более значима в агглютинативном типе, нежели во флективном, интрофлексивном и инкорпорирующем.

Посылка III. Морфологическое усечение, интерфиксация и супплетивизм по параметрам оценки типов оказываются весьма неестественными явлениями.

Закключение. Признанные неестественными явления должны тем реже встречаться в конкретном языке, чем выше в нем степень агглютинации. Данный теоретический прогноз подтверждается на практике. Например, в последовательно агглютинативном языке, каким является турецкий,

супплетивизм ограничен сферой личных местоимений и вспомогательным глаголом *уок* «имеется» — *уок* «не имеется». В языках с меньшей степенью агглютинации (финский, венгерский) супплетивизма уже несколько больше, однако он не достигает даже того объема, какой можно наблюдать у столь незначительно флективных языков, как английский, французский или итальянский. В эстонском языке, который перешел от агглютинативного типа к флективному, степень супплетивизма такая же, как в языках, являющихся типичными представителями флективности. Тохарский же, перейдя от флективности к значительной агглютинативности, утратил большинство супплетивных форм, доставшихся ему из праиндоевропейского.

15.7. Анализ системной адекватности супплетивизма в итальянском языке будет предпринят нами в отдельной работе, в которой, помимо прочего, предполагается подробно обсудить данные диалектных исследований и диахронические изменения. Здесь же мы остановимся лишь на одном частном аспекте (на который обратил наше внимание А. Замбони, Падуа). Во многих случаях супплетивные модели действуют как бы параллельно с правильной алломорфией. Так, в 15.2.5<sup>мы</sup> приводили случаи, когда форма 3-го л. мн. ч. глагола совпадает с другими формами единственного числа, а не множественного, как можно было бы ожидать. Аналогично распределяется и итальянский интерфикс *-sc-*, ср. *finire* «заканчивать, заканчиваться»: *fini-sc-o, fini-sc-i, fini-sc-e, finiamo, finite, fini-sc-ono*.

15.8. Диахроническое изучение супплетивизма в итальянском языке призвано пролить свет на противоречия между фонологией и морфологией, которые возникают, например, при переходе от лат. *Arretium* → *Arretinus* к итал. *Arezzo* → *aretino* (ср. 15.2.8), при заимствовании топонимов и их парадигм и т. д. Однако можно полагать, что приведенных выше примеров здесь будет достаточно.

16. В настоящей работе была сделана попытка показать, как ЕМ выдвигает различные объяснения фактов языка на основании всеобщих и типологических принципов. В заключение нам хотелось бы сравнить наш подход с методами, принятыми в современной советской лингвистике (естественно, что речь будет идти только о том, что известно автору этой статьи). Общее заключается в функциональном подходе к явлениям языка; этот подход, по крайней мере, в рассматриваемом нами смысле, выходит далеко за рамки пражского функционализма (ср. [38]). Мы надеемся, что здесь и в других наших работах нам удалось показать, что для морфологии, как и для прочих областей языкознания, крайне важен учет двух основных функций языка — коммуникативной и когнитивной<sup>6</sup>. В настоящую работу был включен пример на интерфиксы в русском языке, которыми советские русисты много занимались.

Иные параллели обнаруживаются в огромном интересе и внимании к типологии — как общей [39—42], так и типологии отдельных языковых групп (семей) [39]. Автор этой статьи разделяет мысль о том, что нет идеальных морфологических типов и что это связано отчасти с диалектическими противоречиями в области морфологии (ср. противоположную точку зрения в [7]). С другой стороны, автор настаивает на необходимости сочетать типологическое исследование с изучением языковых универсалий, причем не только в индуктивных работах по универсалистике (как это постулируется в [43]), но и в дедуктивных штудиях.

Объяснительные гипотезы в морфологии должны основываться на модели морфологических универсалий (в нашей теории это модель морфологической естественности). Универсалии морфологической естественности доступны говорящему и осознаются им; языковые коллективы предпочитают более естественные решения во всех спорных случаях (в той мере, в какой выбор между более и менее естественным решением допускается диалектикой самого языка). Семиотический и функциональный подходы,

<sup>6</sup> Многие советские языковеды говорят о коммуникативной и «номинативной» функциях, однако предполагаемые границы последней соотносятся со сферами действия когнитивной и отчасти коммуникативной функций (например, название также может составлять особый коммуникативный речевой акт).

продемонстрированные здесь, позволяют достичь большей непротиворечивости и большей объяснительной силы в рамках данной теории.

Несомненно, нам удалось осветить не все аспекты объяснительного действия  $\Delta$ ЕМ, поскольку в данной статье мы не занимаемся непосредственно кругом проблем, всегда бывших в центре внимания советской лингвистики — проблемами социальной природы языка. Здесь, мы, во-первых, касались социолингвистических проблем в ином ракурсе (см. 4, 10, 15.4.1), поскольку прежде всего нас интересовали общегипотетические вопросы. Несомненно, однако, что любая интерпретация сосюрровского *parole* должна учитывать в качестве промежуточного уровня план социолингвистических норм. С другой стороны, мы очень кратко наместили связь универсальных явлений с их экстралингвистическими основаниями, а эти последние имеют не только психологическую (в том числе и нейробиологическую) природу, но и социальную.

Перевела с английского *Полинская М. С.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Eco U.* The influence of Roman Jakobson on the development of semiotics.— In: R. Jakobson: Echos of his scholarship. Ed. by Armstrong D., van Schooneveld C. H. Lisse, 1977.
2. *Кодзасов С. В., Круникова О. Ф.* Современная американская фонология. М., 1981.
3. *Mayerthaler W.* Studien zur theoretischen und französischen Morphologie. Tübingen, 1977.
4. *Wurzel W. U.* Zur Stellung der Morphologie in Sprachsystem.— In: Linguistische Studien, A 35 Berlin, 1977.
5. *Dressler W.* Elements of a polycentric theory of word formation.— In: Wiener linguistische Gazette, 1977, 15.
6. *Mayerthaler W.* Morphologische Natürlichkeit. Wiesbaden, 1981.
7. *Wurzel W. U.* Flexionsmorphologie und Natürlichkeit.— In: Studia grammatica, 1984, 21.
8. *Dressler W.* Explaining natural phonology.— In: Phonology yearbook, 1985, 1.
9. *Dressler W.* Morphology. Ann Arbor, 1985.
10. *Smith N. V.* Consistency, markedness and language change: of the notion «consistent language».— Journal of linguistics. 1981, 17.
11. *Stegmüller W.* Das ABC der modernen Logik und Semantik. Der Begriff der Erklärung und seiner Spielarten. Berlin, 1969.
12. *Coseriu E.* Sistema, norma e «parola».— In: Festschrift V. Pisani. Brescia, 1969.
13. *Koj L.* The principle of transparency and semiotic antinomies. In: Semiotics in Poland. Ed. by Pelc J. Dordrecht, 1979.
14. *Mackay D. G.* Derivational rules and the internal lexicon.— Journal of verbal learning and verbal behavior, 1978, 17.
15. *Dressler W.* Zur semiotischen Begründung einer natürlichen Wortbildungslehre.— In: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1982, 8.
16. *Dressler W.* General principles of poetic license in word formation.— In: Logos Semantikos. Festschrift E. Coseriu. Ed. by H. Weydt. II. Berlin, 1981.
17. *Skalička V.* Typologische Studien. Braunschweig, 1979.
18. *Wurzel W. U.* Some remarks on the relations between naturalness and typology.— TCLC, 1980, 20.
19. *Wurzel W. U.* Problems in morphonology.— In: Phonologica, Akten der 4-ten Phonologie-Tagung. Innsbruck, 1980.
20. *Panagl O.* Aspekte der kindersprachlichen Wortbildung.— In: Salzburger Beiträge zur Linguistik, 1977, IV.
21. *Dressler W., Schaner-Wolles Ch., Grossman W.* On the acquisition of morphology in normal children and children with Down's syndrome.— In: Studia grammatyczna. 1985, 7.
22. *Zwicky A.* On markedness in morphology.— Sprache, 1978, XXIV, p. 137.
23. *Mayerthaler W.* Morphologischer Ikonismus.— Zeitschrift für Semiotik, 1980, 2.
24. *Aronoff M.* Potential words, actual words, productivity and frequency.— In: Proceedings of the XIII International congress of linguists. Tokyo, 1983.
25. *Pennanen E.* Observations on word-formation and syntax. LAUT, 1980.
26. *Dixon R. M. W.* A Grammar of Yidiŋ. Cambridge, 1977.
27. *Dressler W.* Subtraction in word formation and its place within a theory of natural morphology.— Quaderni di semantica, 1984, 5.
28. *Nida E.* Morphology. Ann Arbor, 1961.
29. *Winter W.* Vocative and imperative.— In: Substance and structure of language. Ed. by Puhvel J. Berkeley, 1966.
30. *Dressler W.* Zur Wertung der Interfixe in einer semiotischen Theorie der natürlichen Morphologie.— In: Festschrift G. Hüttl-Folter. Wien, 1985.
31. *Malkiel Y.* Los interfijos hispánicos.— In: Miscelánea homenaje a A. Martinet. II. Madrid, 1958.

32. *Malkiel Y.* Genetic analysis of word-formation.— In: Current trends in linguistics. 3. 1966.
33. *Osthoff H.* Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1899.
34. *Anttila R.* The metamorphosis of allomorpha.— *Lacus*, 1975, № 2.
35. *Anttila R.* The indexical element in morphology.— In: *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft*, 1975, V, 12.
36. *Plank F.* Morphologische (Ir-) Regularitäten, Tübingen, 1981.
37. *Vennemann T.* Phonetic analogy and conceptual analogy.— In: Schuchardt, the Neogrammarians and the transformational theory of language change. Ed. by Vennemann T. and Wilbur T. H. Frankfurt-am-Main, 1972.
38. *Зегинцев В. А.* Функция и цель в лингвистической теории.— В кн.: Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.
39. *Климов Г. А.* О понятии языкового типа.— ВЯ, 1975, № 6.
40. Теоретические основы классификации языков мира. Под ред. Ярцевой В. Н. М., 1980.
41. *Кацнельсон С. Д.* Лингвистическая типология.— ВЯ, 1983, № 3, 4.
42. *Шараденидзе Т. С.* Типология языков в синхроническом и диахроническом плане. Тбилиси, 1982.
43. *Климов Г. А., Алексеев М. Е.* Типология кавказских языков. М., 1980.

РУМЯНЦЕВ М. К.

**ЕСТЕСТВЕННАЯ И ИСКУССТВЕННАЯ РЕЧЬ: ЯЗЫКОЗНАНИЕ,  
КИБЕРНЕТИКА**

В современном мире, как известно, идет борьба не только идеологий, но и технологий. Колоссальный экономический выигрыш со всеми вытекающими отсюда последствиями получают те страны, которые первыми создают у себя те или иные прогрессивные технологии.

Современные технологии во всех областях используют достижения научно-технической революции, которая идет на наших глазах. Прежде всего я имею в виду использование атомной энергии, лазерных устройств, выход в космос, создание разного рода кибернетических устройств (ЭВМ), необычайно расширяющих человеческие возможности.

Глобальной (хотя и достаточно далекой) целью кибернетики, которая определяет сейчас технологический прогресс, является создание искусственного разума (интеллекта). Разум этот не обязательно будет моделью человеческого разума. Вероятнее всего, он не будет таковым в обозримом будущем. Важно то, что этот искусственный разум чрезвычайно полезен разуму человеческому: он намного увеличивает возможности последнего, повышает его производительность. Во всех научно и технически развитых странах над проблемой искусственного интеллекта активно работают. В Японии, в частности, если верить сообщениям, этой проблемой заняты не менее 27 крупных фирм; известны 24 японских проекта создания компьютеров пятого поколения. С Японией конкурируют США.

Современный этап приближения к проблеме «искусственный интеллект» характеризуется созданием ЭВМ (суперкомпьютеров) не только с поразительной памятью и фантастическим быстродействием, но и способностью производить (ограниченные пока) «интеллектуальные» решения. Большое развитие получили также специализированные ЭВМ-роботы. Эти устройства предназначены для выполнения специальных задач, в том числе таких, какие сам человек решить не может.

В настоящее время одно из первых мест в процессе кибернетизации занимает проблема общения человека с машиной. Ее надо научить «понимать» человеческую речь и «говорить» с человеком по-человечески. Все другие средства общения человека с машиной (специальные языки-коды) на данном этапе технологического развития общества человека уже не удовлетворяют: тратится слишком много времени на такое общение, оно неудобно.

Что же, однако, означает решить проблему речевого общения человека с машиной? Какие лингвистические аспекты проблемы подлежат решению? Здесь можно выделять два аспекта, две фундаментальные трудности. Одна из них связана с восприятием естественной человеческой речи машиной, другая — с производством машиной искусственной речи, понятной человеку и не отличающейся или мало отличающейся от речи естественной.

Решить проблему восприятия естественной человеческой речи машиной означает, прежде всего, научить машину сегментировать человеческую речь, т. е. выделять из потока речи разные ее единицы не только по физическим их характеристикам, но и по языковому контексту, системно-семиотическим противопоставлениям.

Человек воспринимает звучащую речь не только по ее физическим параметрам. Машина же в своем принципе до сих пор ориентировалась только на «физику» звучания. Кибернетики опираются на так называемые

«островки надежности», т. е. на такие участки речевой цепи, физическая информация которых представлена надежно [1]. До сих пор машинам явно не доставало умения «лингвистически» оперировать речевым материалом, такими его участками, в которых «физика» звуков смазана, нивелирована либо вообще представлена нулями звучания: в каких-то позициях и темпах речи того или иного звука речи вообще нет, а человеческое сознание, однако, легко его восстанавливает, знает, что там должно быть. Вся человеческая речь в своем непрерывном звучании физически настолько не стационарна, что в лингвистике возникла гипотеза о ее недискретности — принципиальной невозможности ее сегментации (понимания) на чисто физикалистских основах.

Следует признать, что при решении проблемы, о которой идет речь, современная лингвистика оказалась достаточно консервативной. Практически она осталась в стороне от этой проблемы. Кибернетики не только не получали помощи от лингвистов, но часто были теоретически дезориентированы ими. Ведь что для кибернетика означает лингвистический постулат о принципиальной невозможности сегментации речи на физикалистских основах? Это означает: невозможно создать электронное устройство, которое могло бы сегментировать речевой текст на основе его физических (акустических) параметров, поскольку физически текст в принципе не членится. Машину же надо научить производить «лингвистические» операции, что недоступно для физика, поскольку он не знает, как это делает человек. Круг, таким образом, замыкается, и кибернетик оставил бы проблему машинного восприятия речи до лучших времен, если бы выял чисто лингвистическим рассуждением. К счастью, однако, этого не произошло. Во всем мире были созданы аппараты, в принципе работающие (воспринимающие речь) на чисто физикалистских основах. Правда, словарь, доступный машине, исчисляется ныне лишь немногими сотнями или даже десятками слов. Машина, как правило, привязана к одному диктору, другого диктора она «не понимает», требует специальной подстройки под голос другого диктора. Но в целом сама возможность машинного понимания речи человека только по физике ее звучания, продемонстрированная кибернетиками, дает богатый материал для размышления лингвистам. Кибернетический опыт убедительно показывает, что лингвистика слишком самоуверенно недооценивала фактор физической дискретности самих звуков человеческой речи и свои постулаты формулировала слишком категорично, абсолютизировала их. Между тем сегментация речи при ее восприятии осуществляется все же с большой опорой на сегментацию физическую (акустическую). Можно, по-видимому, даже утверждать, что сегментация речи является результатом взаимодействия двух начал — дискретности физической и дискретности, привносимой языковым сознанием человека, которое по-своему квантует физику звуков. Чисто лингвистический характер, не подкрепленный субстанционально, такая сегментация носит лишь в тех случаях, когда акустические признаки сегмента смазаны или вообще выходят за пределы данного звукотипа. К тому же фонетически надежные участки в речи вряд ли можно уподобить «островкам» в океане фонетически ненадежного звучания. Речь, ее континуум можно представить в виде синусоиды с более или менее регулярными чередованиями фонетически надежных и ненадежных реализаций ее единиц. На каждом данном отрезке речевой цепи фонетка может нивелироваться лишь там, где рядом уже есть надежный участок, и общий морфолого-синтаксический и семантический контекст позволяет правильно понять говоримое. Можно, вероятно, сказать и так: не будь дискретными сами звуки, не было бы и дискретности системной, в лингвистическом смысле <sup>1</sup>.

В связи с изложенным следует подчеркнуть, что «понимание» человеческой речи машиной, конечно, не сводится только к способности сегменти-

<sup>1</sup> Ср., например, следующие тезисы П. С. Кузнецова: «...любое высказывание любого говорящего на любом языке, иначе говоря, любая речь состоит из некоторой последовательности звуков речи. Любой звук речи может быть ограничен от звука речи предшествующего и последующего... Возможность выделения звука речи в речевом потоке я принимаю как всегда осуществляемую» (цит. по [2]).

ровать человеческую речь, опознавать слова. Если иметь в виду «понимание» связанной звучащей речи, текстов, то проблема становится неизмеримо более сложной. Это уже другой этап ее решения, требующий специального рассмотрения всех ее аспектов. Здесь обсуждается (лишь в первом приближении) только первоначальная — фонетическая — стадия распознавания речи. Но и эта — исходная — стадия не проста и связана с решением многих теоретических проблем лингвистики, в частности, с пониманием дискретности речи (физической и системной), с необходимостью выявления правил взаимодействия двух типов дискретности. Современные фонологи, как уже было сказано, абсолютизировали лингвистический примат дискретности, и сегментацию речи, ее восприятие связывали только с действием одного этого фактора. Известно, правда, что в отечественной лингвистике было представлено и направление, которое признавало не только лингвистическую, но и физическую дискретность звуков речи. Это направление связано с именами таких лингвистов и психологов речи, как П. С. Кузнецов, Л. В. Щерба, В. А. Артемов и с их нынешними последователями (Л. Р. Зиндер, Л. В. Бовдарко, Л. П. Блохина, Р. К. Потапова, И. А. Зимняя и др.). Но в целом в нашем языкознании преобладали чисто фонологические исследования и концепции, которые во главу угла ставили установление номенклатуры лингвистических единиц и не были связаны по своей сути с решением теоретических и практических проблем восприятия этих единиц, будь то машинное восприятие или человеческое<sup>2</sup>. Этим занимались физиологи (Л. А. Чистович и ее группа [4]) и физики — связисты и электронщики. В 60-е годы профессор А. А. Пирогов предложил гипотезу и единицу распознавания русской речи и ввел понятие фонетической функции. Профессор И. Т. Турбович и его аспирант А. П. Чижов пытаются найти физические параметры выделения интоном русского языка. Из лингвистов-русистов лишь единицы оказались в той или иной мере причастными к тому делу, о котором я здесь говорю, — Л. В. Златоустова,<sup>1</sup> Л. В. Бовдарко.

На современном этапе решения проблемы восприятия речи машиной квалифицированная лингвистическая помощь кибернетикам нужна вдвойне. Пока восприятие основывалось на чистой физике звуков, кибернетики еще как-то обходились сами, без лингвистов; теперь же наступил этап, когда надо научить машину «лингвистическим» операциям. Хорошо известно, как остро стоит сейчас задача научить машину опознавать слова в произнесении не одного, а любого диктора. Чтобы этого добиться, надо научить машину «абстрагироваться» (отвлечься) от персональных характеристик человеческого голоса и при восприятии слов ориентироваться только на общезначимые характеристики — признаки, присущие любому диктору, говорящему на данном языке. А чтобы это сделать, надо прежде всего решить лингвистическую задачу: разобраться в том, что собою представляют персональные и неперсональные (общие) характеристики, уметь при анализе отделить их друг от друга, а затем смоделировать, т. е. научиться в синтезе (искусственно) получать разные человеческие голоса. Только разобравшись в персональных характеристиках, можно надеяться запрограммировать их «узнавание» или «неузнавание» машиной.

Персональными характеристиками человеческих голосов лингвистика, как известно, никогда не занималась. Теперь эта проблема настоящего стучится в ее закрытые пока двери. Нет, однако, никакого сомнения в том, что эта задача в первую очередь лингвистическая, а потом уже — техническая.

Выше я сказал, что надо научить машину «лингвистическим» операциям. Понимать это, конечно, нужно как выражение метафорическое. Речь конечно, не идет о том, чтобы машина понимала речь так, как это делает человек, в том смысле, чтобы машинное понимание было точной моделью понимания человеческого. На современном этапе технических возможностей это вряд ли достижимо, разве что могут быть смоделиро-

<sup>2</sup> Примером лингвистического обращения к проблемам восприятия может служить теперь монография З. Н. Джапаридзе «Перцептивная фонетика» [3], в которой эта отрасль языкознания квалифицируется как новая отрасль.

ваны отдельные аспекты человеческого восприятия речи. Средства моделирования, как они ни изобретены технически, по сравнению с природой еще очень несовершенны. Человек воспринимает речь на нейронном уровне, а моделируется это восприятие с помощью электрических микросхем. А результат должен быть один: человек понимает речь и машина должна ее «понимать». Можно себе представить, сколь сложной является задача лингвистов, психологов, физиологов — всех кто занимается изучением природы человеческого восприятия речи. Ведь чтобы техническими средствами достичь того же результата, который достигается человеком, — понимания, надо очень много знать из того, что происходит в природе. Сами же кибернетики профессионально проблемами восприятия речи не занимаются. Языка человеческого восприятия речи они не знают. И, тем не менее, этот язык они пытаются перевести на свой язык — технический. Задача не из легких. Помощь здесь должна прийти от лингвистов. Но, к сожалению, и лингвистам «еще очень мало известно о том, каким образом спектрально-временной континуум, соответствующий речевому сигналу, перекодируется слушающим в дискретную последовательность фонологических единиц» [5].

Такова вкратце лингвистическая и экстралингвистическая ситуация, связанная с проблемой машинного восприятия речи.

Другим аспектом проблемы общения человека с машиной, как я уже сказал, является обучение машины «говорить» человеческим языком. Ситуация с этим аспектом — с синтезом речи, машинным ее производством — несколько иная. Если проблема машинного восприятия речи до сих пор остается проблемой по всем ее граням, в том числе и техническим, то в синтезе техническую сторону можно уже признать, по-видимому, решенной. Синтез речи производится ныне либо на специальных устройствах — синтезаторах, либо в продвинутом виде на широкопрофильных электронных машинах<sup>3</sup>. Электронщики в состоянии теперь запрограммировать любую речь, любые ее характеристики, как бы сложны они ни были. Им не хватает одного — знания того, что в каждой данной речи надо программировать, чтобы на выходе получить искусственную речь, близкую к своему естественному прототипу. На выходе технического устройства возникает речь, представляющая собой модель речи человеческой в том или ином ее приближении к таковой.

На данном этапе машинного моделирования основной проблемой является проблема соответствия (приближения) искусственной речи к своему естественному прототипу — к речи человеческой. В принципе искусственная речь не должна отличаться от речи человеческой, только в этом случае она будет вполне удовлетворять тем требованиям, которые ныне к ней предъявляются. Но это пока еще редко достигаемый идеал. Обычно синтезированная речь сразу узнается как машинная. В чем же трудность? Почему синтезированная речь отличается от естественной? Что делает человеческую речь человеческой, какие ее признаки? Ни фонология, ни фонетика в настоящее время не могут ответить на этот вопрос. Такого вопроса в традиционном языкознании вообще никогда не стояло. А теперь эту «человечность» речи надо физически и лингвистически обнаружить: определить, какие именно характеристики ее продуцируют, запрограммировать их и искусственно воссоздать.

В самом общем плане известно, что натуральность (человечность) речи связана со свойствами речевого аппарата человека, с тем, что органы речи устроены из живой ткани: голосовые связки — мышцы, резонирующие полости покрыты слизистыми оболочками. Все это придает звукам человеческой речи живые тембральные оттенки. Подобно тому, как одна и та же нота, взятая на скрипке и на рояле, звучит по-разному, неодинаково звучит и одна и та же частота, поданная с физического прибора — генератора (искусственная частота), и частота естественная, возникшая от колебаний голосовых связок, получившая тембральное на-

<sup>3</sup> Здесь и в дальнейшем имеется в виду фонетический (формантный) синтез речи, а не восстановление речи методом непосредственного кодирования речевой волны или методом математического линейного (предиктивного) кодирования (ЛПК).

полнение в сложных резонирующих полостях речевых органов человека. Проблема заключается в том, как при анализе естественной человеческой речи физически и лингвистически вычленили характеристики, ответственные за ее натуральность, с тем, чтобы их запрограммировать, т. е. воссоздать.

Одна из гипотез связывает натуральность речи с нестационарной реализацией ее параметров, с наличием тонкоструктурных микровариационных процессов в ее сигналах, которые и должны быть воспроизведены в искусственной речи. Предполагается при этом, что микровариации затрагивают все параметры речи, все ее спектральные составляющие. Спрашивается, какие задачи здесь выдвигаются на первый план? Технические? Лингвистические? Психолингвистические? К технике может быть, видимо, предъявлено только одно требование: она должна обладать такой разрешающей способностью, чтобы можно было задать любую микровариацию по любому параметру. Все остальное уже не в ее компетенции. Какие именно вариации задавать, каких параметров, в каких структурно-количественных соотношениях — все это проблемы не технические, а лингвистические и психолингвистические<sup>4</sup>. Собственно лингвистическими же и психолингвистическими являются и задачи получения в синтезе правильной речи на данном языке, приемлемой с точки зрения ее орфоэпических норм. А такая речь создается правильностью, точностью и уместностью речевых параметров в каждой данной позиции речевой цепи, их структурным взаимопроникновением, наложением одной характеристики на другую, соблюдением норм их варьирования и правил перехода одной характеристики в другую. Приведу пример. Представим себе какой-то звук речи, скажем, *a* или какой-либо другой. У этого звука, изолированно произнесенного как слог, — свои качества, своя физическая (формантная) структура. В пределах же слога, состоящего из трех или четырех элементов, этот звук не реализуется уже так, как реализовался изолированно: он приспосабливается к другим звукам, несколько меняет свою качественную и количественную структуру. Когда же слог с этим звуком попадает в слово, состоящее из двух или нескольких слогов, звук этот может оказаться в ударном или безударном слоге, причем вхождение в слово, в ударный или безударный слог его тоже видоизменяет. Слово, в свою очередь, окажется в сочетании с другим словом, выступит в речи как предикат какого-то сообщения при завершении или незавершении высказывания, логически подчеркнутый или нейтральный. На основе этой лексической единицы может быть образован вопрос, побуждение, восклицание. Говорящий обязательно прибавит ко всему этому какую-то свою эмоцию, с какой будет произнесено это слово в фразе, какую-то модальность и т. д., и т. п. И все эти метаморфозы живой человеческой речи оставляют свои отпечатки, свои отметины на исходном звуке. Человеческое ухо слышит все это, замечает все, что сделано не по правилам данной системы. Вся человеческая речь и состоит из этих «тонкостей», а ведь их надо запрограммировать в физических величинах, в определенных структурных отношениях, с тем чтобы в каждой данной точке речевого пространства (континуума) получить нужное, приемлемое в данной языковой системе качество звучания. Так что же может разобратся во всех превращениях звуков, постичь их многоликость и в то же время единство в сложной и изменчивой структуре речи, выявить признаки, ответственные за те или иные лингвистические манифестации? Ясно, что не техник. Инженер может создать аппаратуру, ко-

<sup>4</sup> Опыт работы по синтезу речи в Лаборатории экспериментальной фонетики Института стран Азии и Африки при МГУ на материале восточных и африканских языков свидетельствует: натуральность (естественность) речи зависит не только от наличия микровариационных процессов в ее сигналах, но и от особых взаимоотношений в структуре этих сигналов — межформантных взаимоотношений, отношений между частными составляющими формант, их амплитудными и временными значениями. Натуральность искусственных единиц речи повышается, когда мы удачно моделируем их просодические характеристики. Можно, видимо, не сомневаться в том, что свлечение в синтезе эмоциональными, модальными и стиливыми интонациями нашего приблизит искусственную речь к естественной.

торая по соответствующей программе будет способна имитировать все эти тонкости, но ему надо знать, что программировать. И здесь приходится констатировать, что ни традиционная, ни так называемая современная лингвистика не оказываются на уровне неотложных задач: языковедение не готово ответить на запросы кибернетической практики — ни теоретические, ни практические. На теоретические вопросы должна была бы ответить фонология (функциональная фонетика), но она рассматриваемой здесь проблематикой принципиально никогда не занималась. У нее был свой круг задач — установление в каждом данном языке системы фонем, т. е. выделение и очень приблизительное вербальное описание, главным образом в терминах артикуляций, тех элементов, которые различают смыслы, — морфемы, слова, их формы. Послевоенный период фонологии характеризуется спорами на такие темы: является ли фонема единичной материальной или абстрактной (конструктом), работает ли она исключительно на морфологию или автономна, что такое дифференциальный признак и некот. др. Фонология, безусловно, немало сделала для выяснения закономерностей, действующих на звуковом уровне языка. Ее часто называют полигоном теоретического языковедения. Но что очень существенно в рассматриваемом здесь плане — это то, что все достижения фонологии и ее результаты не были и, конечно, не могли быть рассчитаны на их кибернетическое применение. К тому же достижения фонологии, как правило, не идут дальше элементарных сегментов речи — гласных и согласных звуков, да и то, главным образом, в их статике, а не в речевых проявлениях. К фонологии же других единиц речи — слóга, слова, синтагмы, фразы, текста — лингвистика еще только приближается, делает в этом направлении свои первые шаги. А ведь когда мы говорим о создании искусственной речи, — и практика ставит этот вопрос сегодня, а не завтра, — речь идет не только о звуках, но и обо всех единицах, во всех метаморфозах их речевых реализаций, речи во всем ее объеме. И не только один ее аспект — смысловоразличительный — оказывается важным, но и все другие аспекты, связанные с ее правильностью, фонетической приемлемостью в системе данного языка. А проблемой орфоэпической правильности речи фонология, как известно, также никогда не занималась.

Но если не фонологи, то, может быть, этой проблемой занимались фонетисты? Да, фонетисты занимались, но фонетика всецело была ориентирована на человека, его обучение языкам. Фонетикой занимались и занимаются почти исключительно преподаватели-практики, пользуются они артикуляционными понятиями и учат, главным образом, с голоса, методом: «смотри, слушай, произноси, как я». Теоретические объяснения артикуляций при произнесении тех или иных звуков нацелены лишь на облегчение процесса обучения, выработку осознанных действий учащихся. Понятно, что этот преподавательский опыт не может быть использован при создании искусственной речи, поскольку здесь нужны не словесные описания артикуляций звуков, а качественные и количественные характеристики того, что получается на выходе тех или иных артикуляций, нужны тонкие характеристики переходных процессов, надежная раскладка характеристик по их функциям, причем в таких данных, которые можно представить в количественных мерах и отношениях, можно запрограммировать и воспроизвести средствами электроакустики.

Нельзя сказать, чтобы лингвистика в целом совсем не реагировала на запросы кибернетической практики. Такое утверждение было бы неверно. В послевоенное время, особенно в Японии, США, Швеции, бурно развивалось так называемое прикладное языковедение, зачатки которого можно было наблюдать еще в 40-х годах. Прикладное в том смысле, о котором я здесь говорю. Развивалось и развивается оно и у нас. Все дело, однако, заключается в том, что лингвистические проблемы, о которых речь шла выше, могут решаться только лингвистами с солидной специальной подготовкой, способными вести спектральный анализ речи, работать с речью искусственной, создавать ее и лингвистически интерпретировать, способными получать результа-

ты, которые могут быть представлены в количественных мерах и отношениях, знакомыми с вычислительной техникой] и ее возможностями, умеющими программировать речевые сигналы по полученным в анализе и синтезе данным. Лингвисты, о которых идет речь, должны быть еще и психологами речи, владеть психолингвистическим экспериментом. Таких лингвистов у нас крайне мало (единицы), и их никто не готовит. Даже выпускники отделения структурной и прикладной лингвистики МГУ не вполне соответствуют необходимым требованиям. Прочие же выпускники-лингвисты (филологи) вообще не имеют обо всем этом никакого представления.

Заметим, что в последнее время началась пока стихийная подготовка требуемых кадров: инженеры-электронщики, физики — акустики речи получают лингвистическое образование, а лингвисты стремятся получить вузовскую физико-математическую подготовку. Такие стихийные и единичные ответы на запросы практики проблему, конечно, не решают, но они весьма симптоматичны и показывают один из возможных путей подготовки нужных кадров.

Некоторую работу, связанную с означенной проблематикой, ведут фонетические лаборатории Московского и Ленинградского университетов, университетов и учебных заведений Киева, Одессы, Минска, лаборатория экспериментальной фонетики МГПИИЯ им. М. Тореза. В этих лабораториях готовятся и кадры лингвистов-экспериментаторов. Но их очень мало, и возможности этих кадров и лабораторий весьма ограничены: нет ни штатов, ни современного оборудования, ни финансовых средств, ни времени. Все эти лаборатории работают, прежде всего, на обеспечение общего учебного процесса. По этим причинам лингвисты экспериментальных фонетических лабораторий, за весьма редким исключением, оказываются непосредственно не связанными с решением рассматриваемых здесь проблем, хотя именно они по своей профессиональной подготовке и могли бы это делать.

Лингвистика же академических институтов, как центральных, так и республиканских, практически почти не разрабатывает проблем, связанных с восприятием естественной речи машиной и машинным ее моделированием. Более того, многие так называемые «чистые» лингвисты (фонологи), в том числе и авторитеты, полагали и полагают еще и сейчас, что прикладное языкознание — это собственно, и не языкознание, а нечто второсортное для лингвистики, — работы, направленные на решение технических задач, а техникой лингвисты не занимаются. Они занимаются теоретическим, а не техническим языкознанием. Нет для лингвиста заблуждения большего, чем это, и ничто языкознанию, в том числе и теоретическому, не наносит теперь большего ущерба, чем такое «теоретическое» осмысление прикладных проблем. Прикладное и теоретическое языкознание оказывают ныне глубокое влияние друг на друга, взаимно проникают друг в друга. Собственно, ни одну современную прикладную (техническую) задачу нельзя решить без решения многих фундаментальных проблем теории языка, причем таких аспектов теории, которые в традиции не разрабатывались. Прикладное языкознание всегда экспериментальное, а эксперимент, особенно в фонетике, уже давно применяется для получения теоретического знания как способ надежной верификации лингвистических гипотез. Прикладное языкознание сейчас один из самых важных и мощных факторов развития всей нашей отрасли знания, который в значительной степени определяет лицо современного языкознания и, несомненно, будет определять его в будущем в еще большей степени.

Термин «прикладное языкознание» охватывает, конечно, широкий круг проблем, чем это представлено в данной статье. Некоторыми проблемами наше языкознание, в том числе и академическое, занимается. Я имею в виду, например, проблему машинного перевода, вообще информатику и семиотику в широком смысле, составление словарей и др. Я остановился только на двух взаимосвязанных проблемах, представляющих ныне наиболее актуальными с точки зрения научно-технического прогресса: понимание естественной речи машиной и производство маши-

ной искусственной речи. Решение этих проблем — дело не только техническое, но и лингвистическое, а в некоторых своих аспектах не столько техническое, сколько лингвистическое. И «большая» наша лингвистика не может теперь стоять от этого в стороне.

Из сказанного мною нальзя, конечно, делать вывод, что я призываю забросить старую языковедческую тематику и отвергнуть испытанные временем ее методы. Я говорю о другом, а именно о том, что современное языкознание не может замыкаться в рамках только традиционной проблематики. НТР ставит перед ним другие проблемы, ранее не разрабатывавшиеся, требует других методов добывания истины, результатов, рассчитанных не только на человека, но и на применение их в кибернетических устройствах, служащих человеку во всех сферах его деятельности, в том числе и в познании им окружающего мира. Языкознание в современном мире стало силой научно-технического прогресса и должно работать на переднем крае этого прогресса. А чтобы это стало возможным, нужны кадры лингвистов с другой (не традиционной) профессиональной подготовкой. Именно в лингвистах сейчас основная нужда. В языковедческих институтах должны работать хорошо оснащенные лаборатории, в которых могли бы быть собраны разнопрофильные специалисты (лингвисты, физиологи, психологи, физики — акустики речи, математики, инженеры-электронщики, программисты), исследующие человеческую речь, как естественную, так и искусственную, способные решать задачи, о которых и шла речь в данной статье.

В заключение хочу сказать, что искусственная речь рассматривалась здесь мною в плане кибернетического ее применения. Следует заметить, однако, что другое ее использование — лингвистическое — также сулит большие перспективы. Я имею в виду изучение естественной речи через искусственную, когда искусственная речь выступает как модель естественной. Лингвистическая интерпретация искусственной речи в мире по существу только начинается, и лингвистика еще, по-видимому, даже и не осознала до конца того, какие уникальные возможности открываются перед исследователем, изучающим звуковой аспект языка. Исследователь получает возможность в эксперименте намеренно варьировать звуковые характеристики тех или иных единиц речи и выяснить их функциональную нагруженность, их вклад в те или иные дифференциации, может объективными средствами проверять данные, полученные в анализе, и таким образом верифицировать свои гипотезы. Использование в языкознании искусственной речи, ее лингвистическая интерпретация могут вывести исследования звукового строя языка на уровень действительно экспериментальный.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Проблемы построения систем понимания речи. М., 1980, с. 6.
2. Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970, с. 473.
3. Джапаридзе З. Н. Перцептивная фонетика. Тбилиси, 1985.
4. Речь, артикуляция, восприятие. Под общ. ред. Коженикова В. А., Чистович Л. А. М., 1965.
5. Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983, с. 199.

ЗУБКОВА Л. Г.

О СООТНОШЕНИИ ЗВУЧАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА  
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

(К проблеме «произвольности» языкового знака)

1. Независимо от того, как решается проблема знаковости применительно к единицам языка — принимается знаковая теория слова или нет, считается знаком слово в целом или только его звуковая сторона, — единство звучания и значения слова признают все. Но, следуя давней традиции, восходящей к Аристотелю, сторонники знаковых концепций нередко считают произвольными звуковую сторону слова и ее связь с содержательной, одновременно полагая, что «отношения между звучаниями не являются произвольными, а соответствуют отношениям понятий и тем самым вещей» [1, с. 63]; ср. [2]. Исходя из этого, корреляции между звучанием и значением языковых единиц трактуются как индуцирование отношений между означающими отношениями между означаемыми [2, 3], которое «не затрагивает сферы „вертикальных“ отношений между означаемым и означающим, характеризующихся условностью и отсутствием мотивации» [3, с. 39]. Дело в том, что, по мнению указанных исследователей, «специфические отношения между означающими, обусловленные отношениями между соответствующими означаемыми, не отражают, не являются иконическим повторением специфики этих последних» [3, с. 39].

В современных знаковых теориях, отрицающих или ограничивающих произвольность звуковой стороны слова и ее связи с содержательной, помимо исторических и социальных соображений, исходят главным образом из системности языка. Рассмотрение языкового знака как члена системы заставило признать его сложный, смешанный характер: языковой знак совмещает в себе иконические, индексальные и символические признаки [4]. С таким пониманием природы языкового знака трудно не согласиться. Условность (произвольность) связи звучания слова с обозначаемым предметом или явлением внешнего мира (даже в случае звукоподражаний, не говоря уже об исторически мотивированных словах — производных и с переносными значениями) не означает еще произвольности связи звучания со значением во всех аспектах последнего, ибо содержательная сторона слова многослойна и включает не только предметно-вещественное (лексическое) значение, но и формально-структурное (грамматическое). Само лексическое значение тоже многоаспектно и, будучи отражательной категорией, все же не сводится целиком к денотативному и сигнификативному аспектам и содержит еще и структурный аспект, характеризующий слово как элемент данной языковой системы. А так как язык представляет собой «систему, связывающую значение со звуком» [5, с. 23], то сама эта связь должна носить системный характер. Поэтому элемент произвольности должен быть ограничен определенными рамками, которые задаются самой системой и сами служат ее индексом. Выражением таких ограничений выступают, в частности, диаграммные соответствия между означаемыми и означающими. Эти соответствия привносят в языковые знаки иконические признаки [4]. Для выявления последних мало широко обсуждаемых единичных примеров типа англ. *father* — *mother* — *brother*, русск. *девять* — *десять*, случаев звукового символизма, звукоподражаний и других периферийных и в общем немногочисленных явлений. Необходимо системное обследование всего словаря на основе преодоления одностороннего подхода к слову, когда «общее понятие слова дробится на множество эмпирических разновидностей слов» и со-

ответственно «являются „слова фонетические“, „слова грамматические“, „слова лексические“ или „слова-понятия“» [6, с. 33]. Чтобы понять сущность слова, его знаковые свойства и закономерности связи его звучания со значением, слово должно рассматриваться в единстве всех своих сторон.

2. Представление о произвольном характере как звуковой стороны слова, так и ее связи со значением подкрепляется представлением о линейной дискретности, но не глобальности звучания (этому способствует фонематический и графический гипноз) и как следствие этого представлением о внутренней неупорядоченности и даже хаотичности фонемного состава слов и морфем, прежде всего в неслоговых языках [7, с. 135—138, 273]. Соответственно материальная сторона слова именуется звукорядом, звукокомплексом, звуковым отрезком, звуковой оболочкой, звуковой (знаковой) формой или стороной, но, как правило, не структурой или организацией, причем «...слово „форма“ используется не в смысле „устройство, организация, структура“, а в значении „внешний вид, облик“» [7, с. 191]. Таким образом, понимание звуковой стороны слова как исключительно дискретной объективно влечет за собой отрицание ее структурированности, ибо структура предполагает единство прерывности и непрерывности [8, с. 433—434], форма же характеризует объект как дискретный с внутренней стороны и непрерывный, целостный — с внешней.

В противоположность звуковой стороне слова его смысловому содержанию приписывается глобальность, непрерывность, иерархическая структура [7, с. 136—138; 9, с. 51—53, 68—69]. В основе данного противопоставления звучания и значения, по-видимому, лежит тезис об отсутствии изоморфизма, симметрии между планами языка. Явления «непараллельности» звучания и значения, возведенные в абсолют, порождают иногда иллюзию большей, чем она есть, автономности плана выражения по отношению к плану содержания, независимости членения и иерархической организации плана выражения от членения и иерархической организации плана содержания (см. например [10, с. 98]). Широкое распространение подобных представлений привело к тому, что в фонологии в центре внимания оказалась различительная функция звуковых средств в ущерб конститутивной, а в качестве единицы интеграции и дистрибуции фонем был провозглашен слог. Это отвлекло от исследования функциональных свойств звуковых единиц как средства выражения языковых значений, от изучения фонетической структуры различных классов морфем и слов и не способствовало раскрытию закономерностей связи звуковой организации слова с его значением.

3. Если при анализе синтагматики фонем идти от значения, т. е. исходить не из слога, а из морфемы как минимальной значащей единицы языка (учитывая при рассмотрении звуковой стороны слова его системные характеристики — морфемное строение, словообразовательную структуру, словоизменительный тип, синтаксические связи и лексические свойства), то представления о неупорядоченности, дискретности, произвольности звуковой стороны слова окажутся поколебленными. Упорядоченность и отсутствие произвольности в звуковой организации слова — необходимое следствие принципа избирательности, действующего в обоих планах языка и в их соотношении друг с другом [11]. Подобно тому как «в пределах данного семантического пространства язык может „избрать“ отдельные значения для грамматического выражения, оставляя выражение других возможных значений на долю лексики и контекста или вообще оставляя те или иные отношения невыраженными [12, с. 13], так и в арсенале звуковых средств язык использует — да и то в различной степени — какую-то одну их часть, совсем не используя остальные.

Принцип избирательности на фонологическом уровне, и в частности в звуковой организации морфемы и слова, проявляется тройко. Во-первых, в виде ограничений физиолого-акустического порядка. Например, во всех языках, выделяющих слово как единицу языка, синтаксически самостоятельное полнозначное слово, способное составить потенциальный

минимум высказывания, должно быть произносимым и поэтому содержать хотя бы один слог как минимальную произносительную единицу. В соответствии с объемом оперативной памяти человека средняя длина слова в слогах ограничивается числом  $7 \pm 2$ . Во-вторых, принцип избирательности проявляется в виде ограничений, характеризующих данный тип языков. К ним в частности, относится преимущественная закреплённость тона за изолирующими языками, сингармонизма — за агглютинативными, ударения (в словоопознавательной и различительной функциях) — за фузионно-флективными. Другим примером системно-типологических ограничений может служить нейтрализация противопоставления глухих/сильных и звонких/слабых согласных в исходе слова в синтетических славянских языках в отличие от аналитического английского [13, с. 107—108]. В-третьих, избирательность манифестируется в виде ограничений, свойственных данному языку. Так, в русском языке нет слов, оканчивающихся на мягкий заднеязычный согласный, а по законам редукации в простом слове запрещены последовательности гласных /о — о, /о — е/, /е — о/ и т. п. Не менее важно и то, что разрешенные в данной системе фонемы и их последовательности, слоговые структуры, суперсегментные модели и др. также используются далеко не полностью, весьма избирательно и неравномерно. Так, применительно к английскому языку установлено, что «... в словарном составе языка использовано не более 8—8,5% фонетически возможных односложных корневых слов» [14, с. 117]. В русском языке среди возможных акцентных схем резко преобладает одна — с постоянным ударением на основе.

4. Представление об исключительно дискретном характере звучания подрывается уже тем, что с физической точки зрения звуковая сторона слова в потоке речи отнюдь не дискретна и что фонетическое членение вообще и выделение фонемы в частности производно от смыслового членения, вследствие чего линейная дискретность звуковой стороны слова как некой последовательности фонем есть проекция — прямая или косвенная — смыслового членения. Степень же дискретности зависит от значащих единиц, прежде всего от минимального объема морфемы, а она, в свою очередь, определяется соотношением морфемы со словом и слова с предложением.

Но, подобно содержанию слова, его материальная сторона не может быть только дискретной. Слово должно быть целостным и обладать внутренне упорядоченной звуковой структурой, ибо этого требуют такие общие условия его функционирования, как синтаксическая автономность (потенциальная изолируемость) и позиционная самостоятельность.

Интуитивно целостность материальной стороны слова и ее структурированность осознавались давно. Об этом свидетельствует сам факт введения понятия позиции в фонологию. Недаром звуковую сторону слова называют фонетической структурой, а Л. В. Щерба говорит о звуковом слове-типе. На синтагматическую целостность слова указывает, в частности, его способность выступать в качестве единицы восприятия речи.

Специальное исследование [15] подтвердило структурированность звуковой стороны слова и раскрыло природу ее целостности. Оказалось, что, вопреки утвердившимся представлениям, синтагматическая целостность слова обеспечивается не одними лишь суперсегментными средствами (такими, как ударение или сингармонизм). В создании синтагматической целостности слова участвуют и сегментные единицы. Вряд ли можно согласиться с тем, что только «з в у к и позиционно связаны», тогда как «ф о н е м а т и ч е с к и е единицы являются свободными компонентами фонетического контекста, их появление не определяется позицией» [16, с. 17]: даже если под позицией понимать исключительно фонетические условия, то следует иметь в виду, что в чистом виде, без каких-либо грамматических и лексических ограничений, фонетические позиции не существуют. Если обратиться к фонемному составу слова, то и тогда за видимой дискретностью материальной стороны слова одновременно обнаруживается некое единство взаимосвязанных элементов, обеспечивающее структурную глобальность и непрерывность слова. (Отсюда относительный характер противоположения сегментных характеристик слова суперсег-

ментным: сегментная структура слова, характеризуя его как целостность, в этом смысле тоже «суперсегментна».) Указанная непрерывность проявляется, в частности, в тенденции к построению сегментной стороны слова по восходящей (восходяще-нисходящей) звучности. Структурированность сегментной стороны слова, обуславливающая ее единство и целостность, выражается в корреляции между степенью активности отдельных фонем и фонемных классов в той или иной позиции, с одной стороны, и фонетическими и, что особенно важно в данном случае, морфолого-синтаксическими свойствами позиций — с другой. В результате составляющие слово сегментные единицы — фонемы — оказываются не только в тесной зависимости друг от друга, но и в подчиненном положении по отношению к сегментной организации слова в целом. Таким образом, между отдельными сегментными единицами и сегментной организацией слова обнаруживаются отношения части и целого, а это значит, что как и любой другой целостный материальный объект, звуковая структура слова представляет собой единство непрерывности и непрерывности.

5. Говоря о структурированности материальной стороны слова, следует особо подчеркнуть ее сложный, иерархический характер. Он проявляется не только в сосуществовании в слове сегментной и суперсегментной, консонантной и вокалической структур, хотя и взаимосвязанных, но функционально разграниченных и поэтому обладающих в то же время относительной самостоятельностью и автономностью. Содержательной структурой слова соответствует материальная его структура, ограничивающая произвольность звуковой стороны слова и ее связи со значением.

Впечатление произвольности материальной стороны слова в значительной мере обусловлено тем, что вопрос о характере отношений между значением и звучанием слова, как правило, решается применительно к отдельно взятому слову. При этом имеется в виду индивидуальное лексическое значение слова и не учитывается иерархическая структура его смыслового содержания, совмещающего значения разной степени обобщенности в соответствии с различными по объему и степени обобщенности группировками, классами слов, в которые входит данное слово [9, 10]. Если учесть, что «...устойчивыми и наиболее общими по сравнению с индивидуальным значением слова являются те категориально-обобщенные признаки, которые слова получают в данной системе языка, входя в различные по объему и степени обобщенности группировки» [9, с. 68], то решение вопроса о характере связи между звучанием и значением слова невозможно без анализа средств выражения категориально-обобщенных значений, без выявления фонетических различий между семиологическими, лексико-семантическими и грамматическими группировками слов. Характер и степень этих различий, естественно, зависят от типологических свойств языка, в частности от степени развитости морфологии, от соотношения значащих языковых единиц друг с другом.

6. В языках, четко разграничивающих морфему и слово, во-первых, и разные типы морфем, во-вторых, два наиболее крупных разряда словесных знаков — полнозначные и служебные слова, подобно знаменательным и служебным морфемам, различаются и фонетически. Это различие следует отнести прежде всего за счет того, что полнозначное (знаменательные) слова выполняют номинативную и сигнификативную функции, а служебные лишены этих функций и, обладая относительным и в высшей степени обобщенным значением, требуют для своего выражения меньше звуковых средств. В результате служебные слова, во всяком случае первообразные, в среднем короче полнозначных, уступая им по числу слогов, фонем и реализуемых фонемных сочетаний. Например, в немецком языке «...корневые слоги, образующие служебные слова, оказываются, как правило, более легкими и более открытыми, чем корневые слоги знаменательных слов» [17, с. 183].

Существенное значение имеет также то обстоятельство, что полнознач-

ное слово в отличие от служебного способно составить потенциальный минимум высказывания. В связи с тем, что высказывание не может быть меньше минимальной произносительной единицы — слога, причем в акцентных языках типа русского — непременно ударного слога, полнозначное слово в противоположность служебному всегда имеет слоговую форму и получает самостоятельное просодическое оформление. Для служебного слова и то, и другое необязательно, поскольку служебное слово, примыкая к полнозначному в качестве проклитики или энклитики, образует вместе с ним одно фонетическое слово. Так, в русском языке первообразные предлоги даже в тех случаях, когда они имеют слоговую форму, фонетически несамостоятельны во всех отношениях: акцентном, слоговом и звуковым (ср.: *сад отца* [сáт-/л'тцá] и *над отцом* [нъ-д/л-'тцóm]).

Аналогичные различия наблюдаются между знаменательными морфемами, с одной стороны, и служебными (в первую очередь словоизменительными) — с другой. В знаменательных морфемах используется весь наличный состав фонем, в служебных он обычно ограничен. Знаменательные морфемы отличаются от служебных большей длиной и большей свободой комбинаторики фонем, ибо «выражение абстрактных отношений требует значительно меньшего количества звуков, чем выражение предметных значений» [18, с. 299]. Потенциально способные служить экспонентом слова, знаменательные морфемы тяготеют к слоговой форме и просодической самостоятельности (выделенности).

В системе языка полнозначное слово обладает двойкой соотносительности. Как «синтаксический атом» оно соотносится с предложением, как определенный тип связи морфем — с морфемой. Соответственно в звуковой форме полнозначного слова, и в частности в его консонантной структуре, совмещаются признаки, характеризующие его с внешней стороны как синтаксически неделимое целое, а с внутренней — как морфологическую единицу, которая может быть и членом. Так, восходящая звучность характеризует полнозначное слово в первую очередь как минимальное высказывание, а степень дифференциации позиций в консонантной структуре полнозначного слова отражает его морфемное строение. Но поскольку синтаксические признаки слова слиты с морфологическими, то и реализация тенденции к восходящей звучности теснейшим образом связана с морфологической структурой слова. Степень дифференциации позиций в консонантной структуре слова обуславливается не только его морфемным строением, но и степенью синтаксической самостоятельности (потенциальной изолируемости) и закрепленности слова за определенной позицией в высказывании в соответствии с первичной (по Е. Куриловичу) синтаксической функцией [15].

Отражение синтаксических и морфологических свойств слова обнаруживается и в его суперсегментной организации. В некоторых агглютинативных языках слово как морфологическая единица организуется с помощью сингармонизма, а как синтаксическая единица — с помощью фиксированного ударения [19]. В русском языке слово как «синтаксический атом» характеризуется определенной степенью ударности и той или иной ритмической структурой. Слово как морфологическая единица характеризуется определенным типом морфемного ударения. Тип ударения в случае производности слова зависит от его словообразовательной структуры, и прежде всего от ступени мотивированности, задающей акцентные свойства производящей базы и форманта. Благодаря подвижности акцентного соотношения основы и окончания морфологизованное (по И. А. Бодуэну де Куртэ) ударение оказывается одновременно и синтаксизованным: соотносительная со словоизменительной акцентная парадигма служит дополнительным средством выражения синтаксических соотношений.

Таким образом, звуковая форма слова оказывается единственным во внешнем и внутреннем (Ср.: «Как способ связи элементов содержания форма есть нечто внутреннее... Как способ связи данного содержания с содержанием других вещей форма есть нечто внешнее» [20, с. 128]).

7. При дальнейшем разбиении основного типа полнозначных слов, а именно характеризующих словесных знаков (нарицательных), на пред-

метные и признаковые (предикатные) имена и соответственно на части речи в фонетической структуре слова обнаруживаются признаки, указывающие на принадлежность слова к определенной части речи. И здесь, как и при разграничении полнозначных и служебных слов, существенное значение имеют номинативная «ценность» слова и его функциональные свойства. То обстоятельство, что глаголы и имена прилагательные, выражая отношения и признаки предметов, обладают более относительным номинативным значением, чем имена существительные, и уступают последним в отношении номинативной «ценности», находит свое выражение в фонемно-слоговой структуре морфов, в частоте и характере морфонологических чередований фонем, в суперсегментной организации слова. Как показал анализ имен существительных и глаголов [21], различия в фонемно-слоговой структуре именных и глагольных словоформ могут касаться инвентаря используемых фонем, дистрибуции и комбинаторных возможностей фонем и фонемных классов, степени дифференциации позиций внутри морфов, типов слогов и их дистрибуции, длины морфов и словоформ в слогах и фонемах, соотношения слоговых и морфных границ, степени автономности фонемы и слога по отношению к морфеме. Так или иначе эти различия восходят к различиям функционально-семантическим и грамматическим. С одной стороны, выполнение основной для существительных номинативной функции требует большего набора звуковых средств, большего инвентаря фонем и слогов, более свободной их комбинаторики в корнях и словообразовательных морфемах, чем выражение закрепленной за глаголами предикативной функции, ибо предметный мир неизмеримо многообразнее и многочисленнее фиксируемых в языке отношений. Поэтому, например, в русском языке корни существительных отличаются от глагольных большей длиной, а в словообразовательных аффиксах существительных используется наибольшее число фонем сравнительно с остальными частями речи. С другой стороны, различия в длине именных и глагольных морфем тесно связаны с различиями в общей сложности слова. Чем выше синтетичность словоформ, чем чаще морфы выступают в связанном виде и оказываются в срединной позиции, тем они короче, тем чаще слог рассекается морфными стыками и тем слабее дифференциация позиций внутри морфа. В более синтетичных глагольных словоформах корни менее самостоятельны в семантико-синтаксическом отношении и, как правило, выступают в связанном виде в обрамлении аффиксов. Поэтому в среднем они короче именных. Поэтому фонетические позиции в составе глагольных корней дифференцируются слабее, чем в именных [22, с. 88]. Поэтому и морфонологические чередования фонем свойственны в первую очередь глаголу. Отличаясь большей сложностью в плане содержания, особенно в области грамматических значений, глагол превосходит имя и по числу альтернативных рядов, и по их длине, и по количеству альтернативных парадигм. В результате в глаголах чаще, чем в именах, функция выражения грамматических значений ложится не только на флексию, но и на основу. Отсюда не столь четкое, как в имени, функциональное и формальное разграничение знаменательных и служебных морфем в глагольном слове, в чем также проявляется большая грамматичность и фузионность глагола как носителя предикативной функции [23, с. 351—352].

Сегментные различия между частями речи во многих языках подкрепляются суперсегментными средствами. Так, в языках со словесным ударением, например в русском, акцентные различия между частями речи могут касаться используемых ритмических структур и акцентных схем, преобладающих типов морфемного ударения, характера акцентных противопоставлений и закрепленных за ними функций, более или менее четкой соотносительности акцентной структуры слова с морфологической, степени устойчивости словесного ударения во фразе и т. п. [21]. В частности, господствующее в русском языке неподвижное ударение на основе в существительных встречается чаще, чем в глаголах. При этом для существительных более характерно выделение корня, для глаголов — суффикса. Эти и другие акцентные расхождения между существительными и глаголами, по всей вероятности, имеют функциональную природу. В соответствии

с основной — номинативной — функцией существительных субстантивных корень как носитель вещественного значения обладает большей семантико-синтаксической самостоятельностью, чем глагольный. Отсюда акцентная активность субстантивного корня. Отсюда, в свою очередь, и большая унифицированность и стабильность ударения существительных, а именно — меньшее число активно используемых акцентных схем, меньшая нагрузка подвижного ударения. Акцентные особенности глаголов: увеличение числа акцентных схем, повышение частоты аффиксального и подвижного ударения, усиление противопоставленности полупарадигм — служат выполнению предикативной функции.

Группировки слов в составе частей речи с фонетической точки зрения еще менее изучены. Однако отдельные факты и наблюдения, отмеченные разными исследователями, говорят о возможности фонетической дифференциации и более дробных классов слов, нежели части речи. Согласно этим данным, в русском языке, например, как будто бы существует тенденция к акцентному разграничению имен существительных, различающихся по признакам «конкретный — абстрактный» [24, с. 129; 25, с. 46, 72, 74, 109, 122], «одушевленный — неодушевленный» [26, с. 16—17, 23—24], «исчисляемый — неисчисляемый» [27]. По данным работы И. А. Федониной, выполняемой на кафедре общего языкознания Университета дружбы народов им. П. Лумумбы, акцентная дифференциация членов синонимического ряда зависит от того, в какую семантическую группировку он входит. Синонимические ряды абстрактных и конкретных, одушевленных и неодушевленных существительных, наименований лиц и не-лиц, исчисляемых и неисчисляемых различаются по характеру использования акцентных средств. Наконец, имеется вполне определенная закреплённость одних схем подвижного ударения за существительными женского рода, других — за существительными мужского и среднего рода [28, с. 136—141].

8. Расхождения в звуковой форме различных классов слов, касаясь самых разных аспектов фонетической структуры слова, свидетельствуют о ее целостности, глобальности, с одной стороны, и о к а т е г о р и а л ь н о м характере связи между звучанием и значением слова — с другой. Это заставляет усомниться в справедливости положения о том, что «разный характер строения знака и его означаемого, а именно отсутствие соответствий в составе означаемого элементам знака (отдельным звукам) в свою очередь подтверждает отсутствие мотивированной связи между знаком<sup>1</sup> и означаемым» [7, с. 138]. Знак (в рассматриваемой концепции это односторонняя сущность) хотя и может быть разложен на дискретные единицы, но, как и означаемое, имеет глобальное строение и иерархическую структуру. Соответствия в составе означаемого — значения — отдельным звукам как элементам знака действительно отсутствуют. Однако этого нельзя сказать о соотношении между означаемым и знаком, между значением и звучанием слова в целом. Во всяком случае типы знаков (номены) дифференцируются достаточно четко именно в соответствии с типами означаемых. По-видимому, можно утверждать, что произвольной (да и то относительно) является только форма выражения индивидуального лексического значения слова в соответствии с произвольностью, условностью закрепления какого-либо названия именно за данным предметом, а не за каким-либо другим. Закреплённость же данного названия за предметом, а не за признаком для каждого данного языка уже не является произвольной, по крайней мере, в тенденции.

Относительный характер произвольности выражения индивидуального лексического значения вытекает из системных свойств языка. Индивидуальное лексическое значение неотделимо от более общих «классных» значений. Основной носитель лексического значения — консонантная структура слова. Но она содержит информацию и о грамматических свойствах слова, определяемых его вхождением в различные группировки слов, и в частности его принадлежностью к той или иной части речи. Поэтому отдельные признаки согласных лексикализованы (семасиологизованы, по И. А. Бодуэну де Куртене) не в равной степени: одни больше, другие меньше. К первым относятся характеристики согласных по активному действующему

щему органу и способу образования, ко вторым — признаки «шумный — сонант», «глухой — звонкий» и вторичные локальные признаки типа твердости — мягкости в русском языке (на морфологизацию различий русских согласных по твердости — мягкости указывал еще И. А. Бодуэн де Куртене). Вокалическая структура слова отличается от консонантной большей избирательностью, большими ограничениями, что выражается в активном использовании одних гласных в ущерб другим. Тем самым снижается информационная нагрузка и ограничиваются словоразличительные возможности гласных. Во многих случаях роль гласных сводится лишь к созданию некоего базового фона для развертывания семантически нагруженных консонантных различий, с одной стороны, и цементирующих слово просодических различий — с другой. Поскольку реляционные грамматические значения требуют для своей реализации более или менее длинного линейного ряда, то для их выражения лучше подходит суперсегментные средства, характеризующие этот ряд как целое. Не случайно интонация и ударение причисляются к грамматическим способам. Соответственно среди сегментных единиц в грамматической функции предпочтительнее оказываются гласные, которые «...представляют в большинстве случаев длительные состояния» [29, с. 386] и являются основными носителями просодической информации. Лексическая ущербность гласных благоприятствует их специализации — более или менее развитой — на выражении грамматических значений слова.

Функциональные различия между согласными и гласными отчетливо прослеживаются и в тех изменениях, которые претерпевает в истории языков фонемный состав морфем и слов. Вряд ли случайно, что изменения звукового состава морфем и слов касаются прежде всего гласных. Так, «...лишь немногие слова современного немецкого языка имеют ту же огласовку, что и в древневерхнемецком» [30, с. 158]. Тот факт, что стимулом к изменению огласовки, в частности в результате редукции гласных, послужило развитие грамматического строя немецкого языка, говорит о связи гласных именно с выражением грамматических значений в первую очередь [30, с. 19, 122—126, 157—158]. Лексическая нагрузка согласных объясняет «...сравнительно большую устойчивость консонантного состава слов по сравнению с составом гласных» [30, с. 180—181], вследствие чего в современном немецком языке «согласные фонемы сохранились в словах и морфемах почти полностью в том же составе, в каком мы застаем их в древневерхнемецком» [30, с. 162].

О роли семантического фактора, и в частности лексической нагрузки согласных, в исторической устойчивости консонантного состава слов говорят и установленные Б. А. Серебренниковым импликации, в соответствии с которыми «согласные, относящиеся к корню слова, более устойчивы, чем согласные, входящие в состав суффиксов» (судя по примерам, и других служебных морфем) [18, с. 289], но и в них чаще всего «ассимиляции могут подвергаться согласные, совершенно утратившие значение» [18, с. 333].

Лексикализация одних фонематических противоположений и грамматикализация других, очевидно, не случайна и, отражая стратификацию фонологических и семантических различий в языковом развитии, указывает на их взаимосвязь: первичности лексических значений по отношению к грамматическим соответствует первичность консонантных противоположений по отношению к вокалическим [31, с. 255—256] и, далее, первичность локальных консонантных различий по отношению к различиям по способу образования.

Относительный характер произвольности выражения индивидуального лексического значения слова проявляется и в его суперсегментной организации и в алломорфном варьировании корня (основы). О системно обусловленной связи лексической семантики с акцентуацией свидетельствует, в частности, анализ на материале русского языка исходных («немотивированных») и производных («мотивированных») слов различных ступеней словообразования, равно как и словообразовательных цепочек в целом.

Между семантическими и фонетическими характеристиками членов сло-

вообразовательной цепочки имеется явный параллелизм. Непроизводные слова наименее однородны и типизированы не только в семантическом отношении [21, с. 122], но и в акцентном. На исходной ступени развита полисемия и представлено наибольшее число акцентных схем. С повышением ступени словообразования уменьшается и количество лексических значений слова [33, с. 40—41], и число используемых акцентных схем, так что на высоких ступенях безраздельно господствует одна схема — постоянное ударение на основе [21, с. 62—68], причем чаще всего не на словообразовательном форманте, а на производящей базе. Одновременно ограничивается чередование морфов в словоизменительной парадигме. Например, в словообразовательной цепочке *вести* → *водить* → *проводить* → *выпроводить* → *выпровождать* на исходной ступени корневая морфема представлена шестью алломорфами [в'ид] (*веду*), [в'ид'] (*ведёшь*), [в'о] (*вел*), [в'и] (*вели*), [в'ет'] (*ведший*), [в'ис'] (*вести*); на I и II ступенях — тремя [важ] (*вожу*), [вод'] (*водишь*), [вад'] (*водил*); на III — двумя [в'ж] (*выпровожаю*), [в'д'] (*выпровоодишь*); на IV — одним [важ]. Таким образом, в тенденции складывается следующая вполне определенная корреляция: многозначность исходных слов — неоднородность акцентуации слов и словоформ, полиморфизм корня/основы в словоизменительной парадигме; однозначность производных слов высоких ступеней словообразования — однородность акцентуации, мономорфизм корня/основы. Соответственно «немотивированные» исходные слова являются основной сферой действия фузионных тенденций. В производных словах, особенно высоких ступеней словообразования (третьей, четвертой и выше), нередко грамматикализованных, усиливаются агглютинативные тенденции. Очевидно, в случае многозначности более актуально фонетическое противопоставление как слов, так и отдельных словоформ. Необходимость фонетического разграничения слов и словоформ на исходной ступени и, в частности, повышение здесь слово- и форморазличительной нагрузки ударения могут быть объяснены функционально — большей свободой употребления исходных, простых слов сравнительно с производными [34, с. 374]. Исторически акцентное разграничение словоформ, видимо, сопряжено с синтаксической связанностью древнерусских словоформ, когда «...семантика слова еще не вычленилась из семантики словоформы» [35, с. 81] и каждое значение коррелировало с особой грамматической формой.

Ограничение акцентной активности формантной части на высоких ступенях словообразования способствует поддержанию не только непосредственных, но и опосредованных мотивационных отношений между членами словообразовательной цепочки, обеспечивая тем самым ее структурное единство. Это становится вполне очевидным в тех случаях, когда несколько членов словообразовательной цепочки имеют ударение на одной и той же морфеме в пределах производящей базы. Ср.: *болеть* → *болель* → *болельный* → *болельность*. Тем же целям служат и обратные чередования: *тешить* → *потешить* → *потеха* → *потешный* → *потешно*.

Благодаря не только семантической, но и указанной фонетической корреляции с мотивирующими словами производные слова<sup>1</sup> обладают ярко выраженными индексальными признаками, в особенности на высоких ступенях словообразования, и, как заметила Е. С. Кубрякова, способны выполнять функции, свойственные заместительно-указательным знакам: дейктическую, анафорическую, препаративную [36, с. 67—68].

Звуковая организация простых (непроизводных) слов также не является произвольной. В частности, многообразие акцентных схем на исходной ступени не означает еще произвольности их употребления. Корреляция между семантическими и акцентными характеристиками слова выражается уже в том, что «...при разных значениях одного слова или в паре омонимов, связанных прямой семантической связью, выступает одна и та же акцентуация» [27, с. 101]. Следовательно, как в случае полисемии, так и в случае омонимии единство акцентуации указывает на определенное семантическое единство. И, что особенно важно, сам тип акцентуации связан с лексическим значением слова, в том числе и непроизводного,

а именно «...акцентуация слова определяется его основным значением... Например, слова *стол*, *ёрш* сохраняют флексивное ударение и в значениях неисчисляемого типа (соответственно „диета“, „определенный напиток“); слово *сыр* сохраняет наосновное ударение ед. числа и в значениях „определенного вида кусок сыра“» [27, с. 95—96]. Зависимость акцентуации от категориальной отнесенности основного значения слова, отражая отношения семантической производности, связывающие лексико-семантические варианты многозначного слова в целостное иерархически организованное единство, исключает произвольность акцентной структуры слова (как производного, так и непроизводного).

Фонематическая структура непроизводного слова, даже если оно совпадает в своих звуковых границах с корневой морфемой, тоже не является произвольной. Она отражает как степень синтаксической самостоятельности и закреплённости слова за определенной фразовой позицией, так и морфологическую структуру полнозначного слова, характерную для данного языка вообще и для данной части речи в частности. Иными словами, функционирование сегментных единиц, прежде всего согласных, в той или иной позиции корневого слова зависит от соотношения значащих единиц (морфемы, слова, предложения-высказывания) и вскрывает потенциальную валентность корня и слова в данном языке. В позициях потенциального словесного стыка, потенциального морфемного стыка и внутри морфемы, в крайних и внутренних позициях высказывания согласные распределяются по-разному. Имеется диаграммное соответствие между консонантной структурой простого (корневого) слова и канонической морфологической структурой слова в данном языке. Таким образом, простое слово, выступая в качестве производящего и мотивирующего по отношению к производным однокорневым словам, само оказывается системно мотивированным, производным в своей фонетической организации, которая характеризует его как составной элемент системы [45].

Последнее в равной мере относится и к значению простого слова, также коррелирующему со значениями однокорневых производных слов. Очевидно, например, что нейтральность, немаркированность значения слова *дом* по признаку размера устанавливается путем соотносительности с производными словами, имеющими уменьшительное или увеличительное значение: *домик*, *домишко*, *домище*, *домина* и т. п. Принимая во внимание парадигматические и синтагматические связи простого слова, трудно согласиться с утверждением об отсутствии смысловой референции простого слова с «миром слов» [37, с. 90]. В своих структурных аспектах (синтагматическом и парадигматическом) значение любого слова — как производного, так и непроизводного — является системно мотивированным. Следовательно, и в плане выражения, и в плане содержания простое слово связано со своими дериватами. Налицо не односторонняя — от простого слова к производному, а обоюдная связь между простыми и производными словами и соответственно структурное ограничение произвольности простого слова в обоих планах.

9. Как член определенной языковой системы любое слово — и простое, и производное — содержит в своей звуковой стороне индексальные признаки, которые отсылают его именно к данному языку<sup>1</sup> и к данному классу слов, объединенных общими функционально-семантическими и грамматическими свойствами. Индексальные признаки, в свою очередь, неотделимы от иконических признаков диаграммного характера, отражающих тесное взаимодействие двух планов членораздельности в системе языка в целом и на лексическом уровне в частности. В результате звуковая сторона слова как члена языковой системы совмещает в себе наряду с символическими признаками признаки иконические и индексальные, а это ограничивает ее произвольность (ср. [4, с. 115]).

<sup>1</sup> На это неоднократно указывал Н. С. Трубецкой, считавший «рамочными» фонетическими единицами значащие единицы языка — морфему и слово: «В каждом языке фонемы сочетаются по специфическим для данного языка законам» [28, с. 274, см. также с. 279, 284].

В свете указанных выше данных признание того факта, что «произвольность знака и произвольности связи знака и означаемого ... по-разному реализуются в языках различных типов» [7, с. 135], ставит под сомнение как исходный тезис о произвольности знака, ибо тип произвольности оказывается системно мотивированным, так и определение звуковой стороны морфемы и слова в качестве системнонейтрального свойства. Определяя язык как систему знаков, т. е. «...материальных предметов (звуков), наделенных свойством обозначать что-то, существующее вне их самих» [7, с. 10], В. М. Солнцев вместе с тем считает, что «...системообразующие свойства и морфем и слов (формирующие соответственно и систему морфем и систему слов) определяются их значениями, но не звучаниями, поскольку язык является вторичной материальной, или знаковой, системой. Звуковая сторона и морфем и слов и ее особенности являются в принципе системнонейтральными по отношению к образуемым ими системам. И морфема и слово как двусторонние единицы языка являются тем, чем они являются, именно благодаря своим значениям» [7, с. 191]. Принять определение материально-субстанциональных свойств языковых знаков как системнонейтральных значит согласиться с исключением из понятия системы ее субстанции. Этому, помимо общетеоретических соображений, высказанных Г. П. Мельниковым [38], мешает ряд обстоятельств. Во-первых, материальная природа языкового знака отнюдь не безразлична, ибо она связана с самой сущностью языка как социального явления [40]. В этом смысле звуковая материя языковых знаков является системообразующим свойством. Во-вторых, звуковая сторона морфемы и слова может быть образована только звуковыми средствами данного языка. Их инвентарь и способ комбинирования в той или другой степени сопряжен со структурой данной языковой системы как целостности. В-третьих, звуковая сторона морфем и слов регулируется синтагматическими и парадигматическими отношениями в рамках соответствующего уровня. Отсюда мотивированность отношений между означающими [3, с. 37]. В-четвертых, звуковая сторона морфем и слов зависит от особенностей конститутивных отношений между значащими единицами различных рангов в данном языке, т. е. от соотношения друг с другом морфемы, слова и предложения, от способности морфемы составить потенциальный минимум слова, а слова — потенциальный минимум высказывания, от того, насколько разграничены знаменательные и служебные слова и морфемы. Соответственно и фонемы конституируют морфему не как некий автономный элемент, а как составную часть словесного целого, обладающего определенными синтаксическими функциями и значением. В-пятых, звуковая сторона морфем и слов вполне определенным и специфическим для каждого языка способом соотнесена с их значениями. Иначе звучания вряд ли могли бы указывать на определенные значения.

Звучания и значения существуют в тесной взаимосвязи друг с другом. Между ними имеется определенное соответствие. Категориальный характер этого соответствия и его регулярность говорят о единстве звуковой формы и формы содержания двусторонних языковых единиц. И слова различных классов, и морфемы различных типов, различаясь по своему значению, различаются и в звуковом отношении. И хотя в единстве звучания и значения двусторонних единиц языка, как и в любом другом единстве формы и содержания, содержательной стороне принадлежит ведущая роль, морфема и слово «являются тем, чем они являются», благодаря не только своим значениям, но и своим звучаниям, а точнее, благодаря единству значения и звучания, проявляющемуся в соотнесенности семантической структуры с фонетической.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Моррис Ч. У. Основания теории знаков. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
2. Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
3. Гамкрелидзе Т. В. К проблеме «произвольности» языкового знака. — ВЯ, 1972, № 6.

4. *Якобсон Р. О.* В поисках сущности языка.— В кн.: Семантика. М., 1983.
5. *Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М., 1975.
6. *Виноградов В. В.* О формах слова.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
7. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1974.
8. *Философский энциклопедический словарь.* М., 1983.
9. *Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М., 1974.
10. *Кайнцельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
11. *Серебрянников Б. А.* К проблеме типов лексической и грамматической абстракции (О роли принципа избирательности в процессе создания отдельных слов, грамматических форм и выбора способов грамматического выражения).— В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
12. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
13. *Важек Й.* Пражские фонологические исследования сегодня.— В кн.: Пражские лингвистический кружок. М., 1967.
14. *Платкин В. Я.* Очерк диахронической фонологии английского языка. М., 1976.
15. *Зубкова Л. Г.* Сегментная организация простого слова в языках различных типов: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1978.
16. *Панов М. В.* О разграничительных сигналах в языке.— ВЯ, 1961, № 1.
17. *Адмони В. Г.* Морфологическая структура слова в немецком языке.— В кн.: Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. М., 1970.
18. *Серебрянников Б. А.* Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
19. *Виноградов В. А.* Сингармонизм и фонология слова: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1966.
20. *Основы марксистско-ленинской философии.* М., 1977.
21. *Зубкова Л. Г.* Части речи в фонетическом и морфологическом освещении. М., 1984.
22. *Trubetzkoy N.* Das morphonologische System der russischen Sprache.— TCLP, 1934, 5.
23. *Виноградов В. В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1972.
24. *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.
25. *Хаззагерев Т. Г.* Развитие типов ударения в системе русского именного склонения. М., 1973.
26. *Хаззагерев Т. Г.* Подвижное ударение в современном русском словоизменении: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1980.
27. *Зализняк А. А.* Закономерности акцентуации русских односложных существительных мужского рода.— В кн.: Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.
28. *Федякина Н. А.* Ударение в современном русском языке. М., 1982.
29. *Мальберг Б.* Проблема метода в синхронной фонетике.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
30. *Зиндер Л. Р., Строева Т. В.* Историческая фонетика немецкого языка. М.— Л., 1965.
31. *Якобсон Р. О.* Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
32. *Ермакова О. П.* Лексические значения производных слов в русском языке. М., 1984.
33. *Ермакова О. П.* Словообразовательная цепь в семантическом аспекте.— В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
34. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
35. *Колесов В. В.* Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке.— ВЯ, 1985, № 2.
36. *Кубрякова Е. С.* Производное слово в лексике и грамматике.— В кн.: Слово в грамматике и словаре. М., 1984.
37. *Кубрякова Е. С.* Семантика производного слова.— В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.
38. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
39. *Мельников Г. П.* Системная лингвистика и ее отношение к структурной.— В кн.: Проблемы языковедения: Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов. М., 1967.
40. *Зиндер Л. Р.* Материальная сторона языка и фонема.— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языковедения. М., 1970.

ХЕЛИМСКИЙ Е. А.

РЕШЕНИЕ ДИЛЕММ ПРАТЮРКСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
И НОСТРАТИКА

1. В таксономии компаративистических дисциплин ностратика призвана соотноситься с семитохамитологией, картвелistikой, индоевропейстикой, уралistikой, дравидологией, алтаистикой так же, как индоевропейстика соотносится со славistikой или германистикой, уралистика — с самодистикой и т. д. Отсюда зависимость ностратической реконструкции от результатов, полученных в сравнительно-исторических грамматиках соответствующих языковых семей, и стремление проверить ностратiku данными «поглощаемых» (или, лучше сказать, объединяемых) ею разделов компаративистики, которым продиктованы многие отклики на первые два тома «Опыта сравнения ностратических языков» В. М. Иллич-Свитыча [1—2]. (К настоящему времени издан и первый выпуск третьего тома [3].) К числу их относится дискуссионная статья А. М. Щербака «О ностратических исследованиях с позиций тюрколога» (ВЯ, 1984, № 6), где «предпринимается попытка соотнести важнейшие положения работ В. М. Иллич-Свитыча и комментарии к ним его коллег с представлениями о фонологической системе и морфологической структуре тюркских языков, сложившимися в тюркологической среде» (с. 30). Дальнейшее содержание статьи показывает, что предложенная ностратическая реконструкция с этими представлениями, по мнению автора, несовместима.

Полезно сразу уточнить, о каких представлениях фактически говорится в статье. Речь идет не о непосредственных результатах синхронного анализа тюркского материала: А. М. Щербак целиком сосредоточивается на таких проблемах, как характер связей тюркских языков с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими и оценка отдельных алтайских этимологий, выявление замаскированных вторичным семантическим развитием изобразительных слов, возможность существования сонантов и звонких согласных в пратюркском анлауте, «ротацизм/зетацизм» и «лямбдаизм/сигматизм», генезис долгих гласных. Уже этот перечень позволяет считать, что автор поторопился приписывать «тюркологической среде» сколь-нибудь единые «сложившиеся представления» по рассматриваемым проблемам. Расхождения чрезвычайно велики и многообразны. Так, Г. Дёрфер, на работы которого многократно ссылается А. М. Щербак, занимает — подобно автору статьи — позицию противника теорий алтайского (а заодно и ностратического) родства. Но это не мешает ему — в отличие от А. М. Щербака — признавать первичность плавных в соответствиях типа  $r : z$ ,  $l : \xi$  (в работах последнего времени, см. [4]) и реконструировать не две, а три ступени долготы пратюркских гласных. А. Рона-Таш, напротив, считает сибиллянты  $z$ ,  $\xi$  исходными, но зато поддерживает (с некоторыми оговорками) концепцию алтайского родства и реконструкцию анлаутных звонких [5, 6]. Дж. Клосон, также не признававший внешних генетических связей тюркских языков, реконструировал оппозицию глухих и звонких шумных в анлауте [7]. В. И. Цивциус в целом принимал взгляды А. М. Щербака на пратюркское фонологическое состояние, но не трактовку алтайских лексических параллелей как результатов заимствования [8] и т. д. Определенным единством или близостью воззрений по перечисленным узловым проблемам характеризуется, пожалуй, только традиция, которая связана в первую очередь с именами Г. Рамстедта, М. Рясненена, Н. Поппе, К. Г. Менгеса и которая была принята и отчасти развита дальше В. М. Иллич-Свитычем. Основные положения этой традиции — при-

нятие алтайского родства и признание пратюркского состояния в ряде отношений неархаичным в сравнении с праомонгольским и пратунгусо-маньчжурским. А. М. Щербак давно известен как антагонист алтаистической традиции, и его последняя статья во многом продолжает или даже повторяет более ранние антиалтаистические выступления ([9] и др.).

Таким образом, мы вправе констатировать, что «сложившиеся представления», о которых пишет критик, в своей совокупности отражаются только в его монографии «Сравнительная фонетика тюркских языков» [10], которая бесспорно выделяется энциклопедичностью в отражении материалов и опыта фонетического изучения тюркских языков, в особенности их современных диалектов. В то же время книга предлагает такой вариант пратюркской реконструкции, который — как с полной очевидностью показывает А. М. Щербак в своей статье — кардинально расходится и с интерпретациями В. М. Иллич-Свитыча, и с самими данными ностратического сравнения, не оставляя места для каких-то компромиссов.

Причина подобного расхождения, как нам представляется, состоит не в том, что В. М. Иллич-Свитычем «конкретные языки воспринимались сквозь призму предварительно сформулированных соответствий» (с. 35) и, тем более, не в том, что ностратического языкового родства не существует. Признание или непризнание этого родства пока остается для лингвистов вопросом конфессионального характера. Сам факт наличия многочисленных материальных сходств между индоевропейским, уральским, тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским, картвельским, в меньшей мере дравидийским и афразийским праязыками не отрицает, по-видимому, никто. Большинство оппонентов ностратики полагает, что материальные сходства такого рода могут быть следствием не только родства, но и, например, тесных контактов в условиях первобытного этнического континуума и т. п. В пользу теории В. М. Иллич-Свитыча говорит прежде всего весь опыт компаративистики, которая до сих пор успешно оперировала моделями языковой дивергенции и обходилась без «конвергентных» моделей.

Фактической причиной расхождений между В. М. Иллич-Свитычем и его критиком оказывается различный подход к дилеммам реконструкции пратюркского языкового состояния, гораздо более близкого к нам по времени. Те позиции, с которых А. М. Щербак критикует методы и результаты ностратических исследований, характеризуются — как мы попытаемся показать ниже — принципиальной глоттогонической установкой: вся предыстория тюркского праязыка воспринимается им, по-видимому, как эпоха рождения языковых форм и структур, которые, однажды возникнув, сохранялись далее неизменными (отсюда недоказуемые тезисы об исходности таких черт фонологического строя тюркских языков, как сингармонизм, отсутствие звонких согласных и сонантов в анлауте, преобладание односложных основ, отсутствие палатального ряда согласных — с. 34—35, 38, см. также [10, с. 71, 106, 121, 187 и др.]<sup>1</sup>). Реальную возможность контроля пратюркской реконструкции извне А. М. Щербак принципиально отвергает, ср.: «На вопрос о возможности использования монгольских и тунгусо-маньчжурских материалов при реконструкции тюркских праформ необходимо ответить отрицательно» [10, с. 12]. Такой негативизм представляет собой совершенно непремлемым. Пусть даже все алтайские лексические параллели будут, как полагает А. М. Щербак, результатом заимствования из тюркских языков; но тогда пратюркская реконструкция о б я з а н а учитывать и объяснять фонетический облик этих заимствований<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Следует подчеркнуть, что ностратика В. М. Иллич-Свитыча полностью лишена глоттогонической направленности. Она увеличивает (возможно, до 10—15 тыс. лет) глубину досягаемости сравнительно-исторического метода, но не дает и не может дать решения проблемы происхождения языка. Итог ностратической реконструкции — язык глубокой древности, но не некий «первозыск».

<sup>2</sup> Это обстоятельство, как и неубедительность многих реконструктивных решений автора в [10] уже отмечались специалистами, стоящими как на «алтаистических», так и на «антиалтаистических» позициях — см. рецензии [11, 12], а также отдельные замеча-

2. Позволим себе начать обсуждение некоторых дилемм пратюркской реконструкции с того пункта, в котором позиции ностратики представляются особенно уязвимыми. Можно согласиться с А. М. Щербаком (с. 38—39) в том, что гипотеза о ларингальном происхождении тюркских (а также, добавим, тунгусо-маньчжурских и уральских) долгот — не самая удачная часть ностратической реконструкции В. М. Илич-Свитыча. Это признавал и В. А. Дыбо в редакторском предисловии к первому тому Ностратического словаря [1, с. VI]; в третьем томе он в ряде случаев указывает на трудности в соотношении реконструируемых ларингалов с алтайской просодией [3, с. 47, 52]. В отдельные праформы явно должны быть внесены коррективы: например, неизвестный ларингал в ностр. \**baHL* «привязывать» [1, № 2] вводится на основании долготы в тюрк. \**bā-*; установлено, однако, что в тюркских корнях структуры *CV* долгота носит автоматический характер [10, с. 135—136; 15]. Достаточно часто долготы гласного должны, по-видимому, объясняться относительно поздними компенсаторными процессами, связанными с утратой гласного следующего слога<sup>3</sup> — см. использование этого объяснения в [3, № 378]; возможно, существуют и другие конструктивные пути решения проблемы пратюркских долгот.

Свое справедливое замечание критик сопровождает, однако, отсылкой к своей гипотезе о происхождении пратюркских долгот: «...на той стадии развития, когда господствовал моносиллабизм и большую роль играли слоговые акценты, сложилась оппозиция двух просодических типов слога: вокальнOVERшнннго и консонантнOVERшннго. Долгие гласные развились в слогах с вершиной на вокалической части» (с. 39; ср. [10, с. 134—138]). Как и другие глоттогонические построения, эту гипотезу можно только обсуждать, но нельзя ни опровергнуть (если данные внешнего сравнения принципиально игнорируются), ни тем более доказать. Вопрос о генезисе количественной оппозиции гипотеза А. М. Щербака не решает, а просто подменяет вопросом о генезисе оппозиции просодических типов и к тому же порождает другой вопрос: какими антропологическими особенностями прототюрков определялась их уникальная способность произносить «консонантнOVERшннные» слоги, проще говоря — слоги с ударением на согласном?

3. Отвергая большую группу ностратических и алтайских этимологий с сонантами (\**l*, \**m*, \**n*, \**ŋ*) в аялауте, А. М. Щербак ссылается на «противопоказанность» начальных сонантов тюркским языкам (с. 34—35). С равным основанием можно было бы, например, отвергать индоевропейские этимологии со звонкими придыхательными, которые, как известно, «противопоказаны» русскому и другим славянским языкам. Характерной чертой позиции А. М. Щербака по данному вопросу остается приписывание пратюркскому состоянию неких абсолютных, неизменных во времени свойств; если к моменту распада праязыка (а только этой глубины и может достичь тюркская реконструкция) в нем не было определенных фонологических единиц<sup>4</sup>, то их не должно было существовать ни в какую более раннюю эпоху. Следует отметить, что в данном случае взгляды А. М. Щербака расходятся со взглядами большинства тюркологов. Наличие значительного числа алтайских лексических параллелей, в которых четырем разным аялаутным согласным в монгольском — \**d*-, \**ʒ*-, \**j*- и \**n*-, а также тунгусо-маньчжурским \**l*- и \**ŋ*- соответствует один и тот же тюрк. \**j*-, уже давно оценивается как свидетельство нейтрализации соответствующих противопоставлений в пратюркскую эпоху, слияния разных фонем в тюрк. \**j*-, см. литературу и примеры в [16, с. 22—23, 27—28, 31—33,

ния и комментарии в работах Г. Дёрфера [4, с. 31—32], Б. А. Серебrenникова и Н. З. Гаджиевой [13], Т. Текина [14, с. 55—56].

<sup>3</sup> Гипотеза компенсаторного удлинения не предполагает, что оно было е д и н с т в е н н ы м источником тюркских долгот, поэтому детальная критика этой гипотезы у А. М. Щербака [10, с. 127 и сл.] не достигает цели.

<sup>4</sup> В действительности есть достаточно оснований реконструировать тюрк. \**m*- и — в очень немногочисленных словах — \**n*- (ср. \**majī*- «слабеть», \**matur* «герой», \**mort* «хрупкий, рыхлый», \**nā* «что» и др.).

36—39). Признание этого факта не зависит от отношения к теории алтайского родства: считая монгольские формы с *d*-, *ʒ*-, *j*-, *n*- тюркскими заимствованиями. Дж. Клосон тем не менее опирался на них для установления «первоисточников» тюрк. *j*- [7, с. 869—988; 17]. Однако автор, также придерживающийся версии заимствований, ограничивается воспроизведением тюрк. \**ʃ*-<sup>5</sup>, не предлагая какого-либо серьезного фонетического объяснения разностью его отражений при предполагаемом заимствовании, ср. [9, с. 32—33].

4. Существуют, как уже отмечалось выше, разные мнения относительно того, противопоставлялись ли в пратюркском глухие и звонкие анлаутные смычные. Применительно к дентальным суть позиции В. М. Иллич-Свитыча [49] такова: между языками, различающими *d*- и *t*- (огузские, тувинский, тофаларский), имеются значительные расхождения в употреблении этих звуков; предлагается реконструировать \**t*- в тех случаях, когда хотя бы в части этих языков представлен *t*-, и \**d*- в тех случаях, когда везде последовательно представлен *d*-<sup>6</sup>. Этому Г. Дёрфер [20] и А. М. Щербак (с. 36—37) противопоставляют следующее утверждение: между языками, различающими *d*- и *t*- (огузские, тувинский, тофаларский), имеются значительные расхождения в употреблении этих звуков. Это утверждение вполне справедливо (ср. выше), но, к сожалению, существа дела оно не затрагивает.

Следует отметить, что фактически количество расхождений в употреблении *d*- и *t*- значительно уступает количеству совпадений. Это иллюстрирует следующая таблица, для составления которой использован сопоставительный словарь в книге В. И. Рассадина [4]:

Тип соответствия	Количество примеров в парах языков			
	тоф.—тув.	тоф.—азерб.	тоф.—тур.	тоф.—туркм.
<i>d</i> — <i>d</i>	98	34	32	46
<i>d</i> — <i>t</i>	18	7	13	9
<i>t</i> — <i>d</i>	11	4	2	5
<i>t</i> — <i>t</i>	18	6	8	10

Как можно видеть, во всех случаях «одноименные» соответствия (*d*—*d*, *t*—*t*) решительно преобладают над «разноименными», что может служить косвенным подтверждением реконструкции В. М. Иллич-Свитыча (хотя допускает и иные интерпретации) и, во всяком случае, облегчает процедуру установления пратюркских архетипов.

Разумеется, рассматриваемую дилемму нельзя считать вполне решенной, пока не установлены (или установлены лишь частично) закономерности, регулировавшие процесс постепенной замены *t*- на *d*- в каждом из пяти языков и в их диалектах.

5. Соответствия тюрк. *z*: булг., монг., тунг. *r* и тюрк. *ʒ*: булг., монг., тунг. *l* В. М. Иллич-Свитыч, следуя известному решению Г. Рамштедта и его последователей, возводил к тюрк.-булг. (а также алт., ностр.) \**f* и \**l'*, в отдельных случаях к \**r* и \**l* со вторичной палатализацией [1, с. 170, 172, 239]. А. М. Щербак выдвинул гипотезу, согласно которой «*z*, *r* и *s* в тюркских языках восходят к одному из аллофонов пратюркского /\**s*/'—

<sup>5</sup> Такую неожиданную реинтерпретацию А. М. Щербак, следуя своей теории начальной глухоты тюркского анлаута, предлагает для \**j*- [10, с. 79—80, 159—160]. См. критику Е. А. Серебrenникова [13, 18].

<sup>6</sup> Считая, что общей тенденцией развития рассматриваемых языков была постепенная замена *t*- на *d*- (но не наоборот), В. М. Иллич-Свитыч во всех случаях колебаний между *d*- и *t*- квалифицирует *t*-формы как реликтовые. Иначе говоря, здесь применена стандартная для сравнительистики процедура реконструкции по реликтовым формам—ср. роль «неправильных» словоизменительных форм при реконструкции парадигм. Предложенная реконструкция (в которой впоследствии \**t*- был заменен на \**t'*-, а \**d*- на \**t*- хорошо согласуется с данными внешнего (алтайского и ностратического) сравнения, что, с нашей точки зрения, и решает вопрос о ее адекватности.

слабому *s*, выступавшему в положении после долгого гласного в односложных словах и после любого гласного в словах из двух и большего количества слогов» ([9, с. 31]; см. также [10, с. 56, 85—88, 161—162]). Эта гипотеза неприемлема в силу того, что в тюркских односложных словах представлены не только типы  $-\check{V}s$  и  $-\check{V}z$ , к которым апеллирует ее автор, но также  $-\check{F}s$  и  $-\check{V}z$ , ср. *jās* «ущерб», *köz* «глаз»<sup>7</sup> [11, с. 337; 12, с. 99; 14, с. 55—56]. Сейчас А. М. Щербак пользуется более осторожной и расплывчатой формулировкой: «...ротацизм и ламбдаизм в чувашском языке — результат относительно позднего развития слабых (звонких) аллофонов пратюркских фонем \**s*(*z*) и \**š*(*ž*) в своеобразных фонетических условиях, которые предостоят еще уточнить (! — Х. Е.). Однако независимо от этого (? — Х. Е.) уже сейчас мы вправе заявить, что тезис о существовании первичных алтайских (пратюркских) \**f* и \**l'* несостоятелен» (с. 38).

Ограниченный объем статьи не дает нам возможности остановиться на многочисленных свидетельствах того, что первичны именно плавные (не обязательно, впрочем, палатализованные: можно думать также о ретрофлексных или имеющих иную дополнительную артикуляцию \**r*<sub>2</sub>, \**l*<sub>2</sub>, (ср. [16, с. 77, 80]) по отношению к сибилантам. Упомянем, в частности, что анализ случаев с чередованием *z* : *r* в небулгарских тюркских языках, которые отмечались уже давно, в том числе и А. М. Щербаком [10, с. 87—88], а в последнее время были собраны Т. Текином [14, 22, 23] и Р. Г. Ахметьяновым [24], позволяет установить, что это чередование носит закономерный характер. Наиболее типичными и архаичными являются те случаи, когда *z* предстает в левом слухаутной или интервокальной позиции, а чередующийся с ним *r* (иногда *r/z* или *r/s* в качестве вариантов) — в составе консонантных сочетаний, ср. *boγuz* «горло»: *boγurdaq* «гортань», *boγurul* «(животное) с белой шеей»; *jäviz* «плохой»: *jävri* «ослабевать»; *qüz* «девушка, дочь; невольница, наложница»: *qürqin* «невольница, наложница» и т. д., и даже *tägiz* «море»: *tägri* «небо, бог»<sup>8</sup> (подробный разбор материала по данной проблеме подготовлен нами к печати). Нетрудно увидеть, что сформулированное нами правило находит наиболее правдоподобное типологическое объяснение именно при предположении о том, что общий источник *z* и *r* отличался от «чистого» \**r* некоторой дополнительной артикуляцией, которая обусловила его развитие в *z* в сильных позициях и нейтрализацию с *r* в слабых (в составе консонантных сочетаний). Допускать развитие \**boγur*<sub>2</sub>, \**boγur*<sub>2</sub>daq, \**boγur*<sub>2</sub>ul > *boγuz*, *boγurdaq*, *boγur*ul гораздо естественнее, чем выводить *boγurdaq*, *boγur*ul из \**boγuz*daq, \**boγuz*ul или тем более (следуя А. М. Щербаку) из \**boγus*daq, \**boγus*ul.

Внутритюркские свидетельства первичности \**r*<sub>2</sub>, \**l*<sub>2</sub> по отношению к сибилантам целиком согласуются с данными алтайского сравнения (плавные в булгарских, монгольских, тунгусо-маньчжурских языках, т. е. в «двух с половиной» из трех ветвей алтайских языков) и сравнения на пострататическом уровне. В основных публикациях В. М. Иллич-Свитыча по пострататике [1—3, 25, 26], а также в его картотечном наследии (обработку и подготовку которого к печати ведет В. А. Дыбо) представлено около 30 таких пострататических этимологий, в которых тюркские рефлексы содержат *z* или *ž*, а рефлексы в остальных группах и семьях — плавные или результаты вторичного фонетического преобразования плавных.

Мы не собираемся утверждать, что каждая из предложенных В. М. Иллич-Свитычем этимологий и интерпретаций верна. Расхождения между предварительными набросками пострататических сближений (в [25,

<sup>7</sup> В списке общетюркских односложных слов [10, с. 193—198] А. М. Щербак в подобных случаях отходит от обычных критериев для реконструкции кратких и долгих гласных (ср. [10, с. 50 и сл.]) и приводит реконструированные основы в такой вид, чтобы они согласовывались с его гипотезой.

<sup>8</sup> Объясняя *tägri* как дериват от *tägiz* (существует масса других этимологий этого теонима), мы опираемся в первую очередь на семантическую параллель в монгольском: *dalai* «море» и «великий, вселенский, верховный».

26] и более ранних работах) и готовыми статьями Ностратического словаря показывают, что «предварительно сформулированных соответствий», которые предполагает А. М. Щербак (с. 35), не было: соответствия устанавливались и модифицировались по мере расширения объема и углубления анализа привлекаемого материала. Тот вариант ностратической реконструкции, который сложился к 1966 г., вряд ли оценивался самим В. М. Иллич-Свитычем и тем более не может рассматриваться сейчас как окончательный<sup>9</sup>. Исключительно ценно то, что ресурсы для его «ревизии» содержит сам собранный сопоставительный материал: он пригоден не только для иллюстрирования уже найденных фонетических соответствий, но и для обнаружения принципиально новых соответствий. В частности, мы хотели бы обратить внимание на «не предусмотренное» В. М. Иллич-Свитычем (ср. [1, с. III—IV, 150]) регулярное соответствие между алт. \*r<sub>2</sub> (тюрк. z) и драв. \*r̥, ср. следующие этимологии: [1, № 173; 2, №№ 318, 339, 3, № 378; 26, №№ 1.19, 2.8; 25, с. v. *течь*]. С другой стороны, постулировавшееся соответствие между драв. \*r̥ и алт. \*r<sub>2</sub> документируется только одной, причем очень спорной, этимологией — [1, № 112], тогда как в нескольких случаях драв. \*r̥ соответствует алт. \*r (тюрк. r) — [1, №№ 22, 26, ? 213, ? 244]. Имеются также примеры на драв. \*r при алт. \*r [1, №№ 8, 21, 107, 108, 116, 172, 197, 213, 244; 2, №№ 309, 310; 26, № 1.5] и драв. \*r при алт. \*r [1, №№ 47, 145, 213, 214, 216, 231, 236; 26, №№ 7. 10. 8.2]. Возможное реконструктивное решение, которое мы предлагаем, опирается как на вывод В. М. Иллич-Свитыча о развитии драв. \*r̥ из \*r в положении перед первоначальным переднерядным гласным второго слога [1, с. III—IV, 150], так и на известную в алтаистике идею о развитии тюрк.-булг. \*r<sub>2</sub> из \*r в положении перед звуками типа i [16, с. 80] и из сочетания \*rj [4, с. 33—37]. Согласно этому решению, ностр. \*r- (в илауте) дает тюрк.-булг. \*r<sub>2</sub> (в положении перед узким переднерядным гласным и j), \*r (в остальных позициях), драв. \*r̥ (в тех же случаях, что и тюрк.-булг. \*r<sub>2</sub>, а также перед широким переднерядным гласным и, возможно, в еще каких-то позициях), \*r̥ (в неясных условиях, возможно, в результате упрощения сочетаний ностр. \*r с согласным; не исключено, однако, что драв. \*r̥ репрезентирует особую фонему ностратического праязыка), \*r (в остальных случаях).

5.1. Наиболее весомым аргументом А. М. Щербака в его трактовке дилеммы «ротацизма/зетацизма» должно показаться утверждение о том, что «ротацизм охватил ранние заимствования из индоевропейских языков» (с. 38). Приведенные в этой связи три примера заслуживают поэтому специального рассмотрения.

5.1.1. Др.-тюрк. *öküz* «бык, вол» (ср. также уйг. *höküz*, узб. *hökiz*, якут. *оуус*; чуваш. *väkär*, венг. *ökör* из др.-булг.; монг. \**hüker* > ср.-монг. *hüker*, п.-монг. *üker*, монгол. *juGuor*; звенк. *hukur* «корова», эвен. *hæken*) возводятся к тохар. В *okso* «бык», скр. *ukšā*, авест. *ušaŋ-* и другим рефлексам и.-е. \**uk<sup>h</sup>sō*, \**uk<sup>h</sup>sen*. В связи с этой давно известной этимологией (см. литературу в [27, с. 521—523]) в первую очередь возникает проблема происхождения *h-*, представленного не только в отдельных тюркских языках, где — по мнению А. М. Щербака — этот согласный носит протетический характер [10, с. 81]<sup>10</sup>, но также в монгольском и тунгусо-маньчжурском. Обычно *h-* признается рефлексом алт. \**p-*; разумеется, для сторонников рассматриваемой этимологии такое решение неприемлемо. В попытке преодолеть эту трудность А. Рона-Таш выводит тюрк. \**höküz*/\**hokuz* из праохар. В \**hokso*, т. е. из формы, сохранившей и.-е. ларингальный [28, с. 500, 502]<sup>11</sup>. Однако нет, по-видимому, никаких собственно

<sup>9</sup> Однако, на наш взгляд, показательно, что за истекшие годы ни в одном из разделов компаративистики (кроме, может быть, афразийского языкознания) не получено фундаментальных результатов, которые требовали бы радикального пересмотра выводов В. М. Иллич-Свитыча.

<sup>10</sup> По крайней мере к материалу халаджского языка такое объяснение неприменимо, см. [11, с. 326—327, 333—336].

<sup>11</sup> Аналогичные следы ларингала А. Рона-Таш видит в тюрк. \**hdi* «огонь» при и.-е. \*(*h*)*dt* (но в тохарском представлено совершенно другое и.-е. название огня —

тохарских данных, которые указывали бы на столь позднее (уже после переселения в Центральную Азию!) сохранение ларингалльных. Более того: многочисленные попытки обнаружить фонетические (а не только морфологические) следы ларингалов за пределами анатолійской ветви и.-е. языков не убеждают в том, что к моменту распада общего праязыка всех остальных ветвей ларингалы еще сохранялись.

Другое, не менее серьезное фонетическое препятствие — предполагаемая субституция *-ks-* → *-küz/-quz*. С одной стороны, все архаические и.-е. данные указывают на то, что *ks* сохранялось в названии быка именно в виде срединного кластера, без вставки гласного<sup>12</sup>. С другой стороны, тюркский праязык имел много слов со срединными *ks, qs*, ср. др.-тюрк. *aqsun* «свирельный, буйный», *aqsa-* «хромать», *eksi-/öksü-* «убывать, уменьшаться», *jüksä-* «возвышаться» и т. д. В этой ситуации можно было бы ожидать заимствование и.-е. слова только в виде тюрк. *\*öksü/\*oqsu* или *\*öksü/\*oqsa*, но не в форме *\*höküz/\*hoquz*.

Таким образом, признание первичности плавного (булг., монг. тунг. -r) по отношению к сибиланту служит лишь дополнительным и завершающим, но отнюдь не единственным основанием для отклонения данной этимологии. Более удачным представляется сравнение алтайских слов с и.-е. *\*peku* «скот» [27, с. 523; 3, № 375].

5.1.2. Др.-тюрк. *jez* «желтая медь, латунь» вкупе с гипотетическим болгарским соответствием *\*šer* А. М. Щербак считает заимствованием из тохар. А *wäs*, В *yasa* «золото». Эта этимология в цитируемых им работах П. Аалто [30] и К. Г. Менгеса [31] представляет собой одно из звеньев в нагромождении различных названий металлов в разных языках Евразии, обладающих более или менее очевидным попарным сходством. Вот только некоторые из этих названий: шумер. GÜŠ. KIN «золото»; др.-арм. *oski*, арм. *voski* «золото»; фин. *vaski* «медь»; венг. *vas* «железо»; венг. *ezüst* «серебро»; удм. *azveš* «серебро», *uzveš* «олово»; осет. *awzeste* «серебро»; нивх. *wat* «железо»; ненец. *ješa* «железо»; селькуп. *kēsä* «железо»; дагур. *kašö* «железо»; тохар. *wäs*, *yasa* «золото»; тюрк. *jez* «медь»; монг. *žes* «медь»; тибет. *zags* «медь»; нивх. *ais* «золото»; гот. *aiz* «железо»; лат. *aes* «медь»; маньчж. *aisin* «медь»; лат. *aurum* «золото». Эти сопоставления без детальной разработки каждого из них скорее затемняют, чем освещают картину культурных и языковых взаимодействий. В частности, версия о заимствовании тюрк. *jez* из тохарского выглядит на создаваемом фоне не исключенной, но и далеко не единственно возможной, даже если предполагать, что названия металлов появляются в языках только путем заимствований и образуют замкнутое на себе семантическое поле — что, конечно, не соответствует действительности.

Но и принятие этой версии не может служить доказательством развития *\*z* в булг., монг. *r*, которое предполагает критик. Дело в том, что реально засвидетельствованные чуваш. *ješ* «желтая медь, латунь» и п.-монг. *žes* «медь» имеют *-s* на месте тюрк. *-z*, что характерно для поздних тюркских заимствований в этих языках. Реконструкция гипотетических *r*-овых соответствий у А. М. Щербака опирается, по нашему мнению, на недостоверные или ошибочные интерпретации.

5.1.2.1. Предположение о том, что мокша-морд. *šefe* «медь, латунь» заимствовано из не сохранившегося в чувашском языке др.-чуваш. *\*šer* (= тюрк. *jez*) высказал Х. Паасонен в 1897 г. [32]. С фонетической точки зрения оно выглядит правдоподобно. Впрочем, в своей мордовской хрестоматии (1909) Паасонен не снабдил это слово никакими этимологическими указаниями [33], что, вероятно, указывает на пересмотр им прежней

тохар. А *por*, В *puwar* [29, с. 382—383]; и.-е. и тюрк. слова сходны, так как восходят к ностр. *\*qotī* [2, № 343]) и в монг. *\*halaq* «ладонь» при тохар. А *āle*, В *\*alyiye* (но в данном случае правильнее в самом тохарском слове, не имеющем хорошей и.-е. этимологии, ср. [29, с. 161], видеть заимствование из монг. *\*haliya* «ладонь», о котором см. [3, с. 94]). В пяти других предполагаемых тохаризмах тюркских языков представлен чисто вокалический авлаут.

<sup>12</sup> Дж. Клосон предполагает, что в тохарском А могло существовать незафиксированное важное *okās* «бык» [7, с. 120]. Такая форма — мыслимая, но очень поздняя — создает неразрешимые трудности с хронологизацией предполагаемого заимствования.

точки зрения. Тем не менее этимологию Паасонена повторяют многие современные работы [34; 5, с. 156 и др.].

С тюркской этимологией мордовского слова конкурирует иранская, выдвинутая Б. Мункачи и поддержанная в последнее время А. Й. Йоки [35, с. 250]. Ср. авест. *zaranya-* «золото» и особенно более поздние формы: пехл. *zarr* «золото», *zarrēn* «золотой», н.-перс. *zār* «золото», *zārrīn* «золотой». Речь может идти или о заимствовании иранской формы с уже утраченным *-n*, или о переосмыслении конечного *n* в \**šefeñ* (ср. мокша-морд. *šefeñ* «медный, латушный») как показателя генитива и относительного прилагательного *-ñ*. Иранское название золота отражено и как эрзя-морд. *siñne*, мокша-морд. *siñne* «золото»<sup>13</sup> — ср. аналогичное положение в обско-угорских языках, где хант. (Вах) *lorñá*, манс. (Пелымка) *tarəñ* «медь» заимствованы непосредственно из иранского названия золота, а хант. (Вах) *sārñá*, манс. (Сосьва) *sārñi* «золото» — из коми *zarñi*, восходящего к тому же иранскому источнику.

5.1.2.2. Предположение о том, что то же гипотетическое др.-чуваш. \**šer* отражено в татар. диал. *žar: žäsel žar* «медный купорос» принадлежит, по-видимому, самому А. М. Щербаку.

Прилагательное *žäsel* «зеленый» в этом термине из лаишевского говора говорит о неточности перевода в «Диалектологическом словаре татарского языка» [37, с. 566]: известно, что медный купорос имеет синий цвет, в отличие от железного купороса, который действительно зеленый (ср. англ. *blue vitriol* и *green vitriol*). Неточность подтверждается наличием того же недоразумения в другом татарском словаре, ср. *яшел-зәңгәр* «медный купорос» [38], «железный купорос» [39].

Далее, в лаишевском говоре фиксируется слово *jar* «пленка» (= татар. литер. *яр*) [37, с. 166]. Но в этом говоре сосуществуют формы с афлаутными *j-* и *ž-*, ср. *jalpaju/žalpaju* «скособочиться, накрениться на один бок», *joldoru/žoldoru* «спустить» и т. д. [37]. Это дает все основания отождествлять *žar* в составе *žäsel žar* с *jar*. «Зеленая пленка» — совершенно естественное название для железного купороса, который встречается в природе в виде примазок и натеков. С другой стороны, особым внешним сходством с медью купорос (будь он медный или железный) не обладает и вряд ли может именоваться «зеленой медью», как предполагает этимология А. М. Щербака.

5.1.3. В связи с третьим примером «ротацизма в ранних индоевропейских заимствованиях» — др.-тюрк. *böz* «хлопчатобумажная ткань, холст, бязь», чуваш. *pür* «холст» при греч. βύσσος «льняная ткань» достаточно сослаться на выводы в том же исследовании А. Рова-Гаша, которые цитирует и сам А. М. Щербак [40]. Ни о каком индоевропейском заимствовании нет речи, поскольку источником является одно из ближневосточных обозначений тканей (ср. финик. *bš*, араб. *būš*, араб. *bazz*), к которым восходит и греч. βύσσος [41]. Чувашское слово заимствовано из тюрк. \**bez* «довольно поздно, и его облик связан с известным в истории чувашского языка развитием  $\delta > r$ , а не с соответствием тюрк. *z* — булг. *r*, подробнее см. [40].

5.1.4. Очевидно, критик склонен принимать (см. с. 40) и этимологию Х. Педерсена: тур. *eşek* «осел» < арм. *eš* [42], что должно свидетельствовать о первичности тюрк. *š* по отношению к *l*. Однако тюрк. *ešäk*, *ešgäk*, *ešjäk* «осел» невозможно рассматривать в отрыве от п.-монг. *elžigen* «осел» (к фонетике ср. др.-тюрк. *qorçašun* «свинец» при п.-монг. *qorçolžin* и под.)<sup>14</sup> Предположение о появлении *l* на монгольской почве, сделанное А. М. Щербаком в связи с этим соответствием [9, с. 32], — характерный пример того, какие допущения ad hoc вынужден делать исследователь, если он не признает, что древнетюркский язык, до того как он стал тако-

<sup>13</sup> Любопытно приводимое Е. Юхасом мокша-морд. *šefeñ*, *šifəñ* «медь, латушь, серебро» [36]. Эти формы составляют как бы промежуточную ступень (или контаминат?) между *šefeñ* «медный, латушный» и *siñne* «золото».

<sup>14</sup> Нельзя исключить, что в конечном счете монг. *elž-*, тюрк. *eš-* и разрозненные, не сводимые к общей праформе и.-е. названия осла (арм. *eš*, лат. *asinus*, греч. βόσς) опосредованно взаимосвязаны — например, через шумер. *anšu* (ср. [43]).

вым, мог претерпеть какие-то историко-фонетические изменения (в данном случае  $*i\bar{3} > \bar{s}$ ).

6. Замечания А. М. Щербака дают повод коснуться нескольких разрозненных вопросов, в основном связанных с методологией сравнительно-исторических исследований.

6.1. Критик не принимает (с. 31) и, видимо, не понимает причин ухода В. А. Дыбо от ответа на вопрос, существовал ли алтайский праязык [44, с. 400]. Но этот вопрос действительно не является для ностратических исследований кардинальным. Среди сторонников ностратики имеются заметные расхождения в оценке алтайской теории — от мнения о том, что три группы алтайских языков составляют семью примерно той же временной глубины, что и индоевропейская или уральская семья, до признания этих трех групп независимыми (т. е. до приравнивания алтайского праязыка ностратическому). Существует и промежуточная точка зрения (которой придерживается автор данной статьи): алтайский праязык существенно древнее индоевропейского и уральского, но моложе ностратического; к нему или к несколько более раннему языковому состоянию восходят, по-видимому, также корейский и японский языки [45, с. 33—36]; значительная часть алтайских лексических параллелей (например, в [16]) отражает не исконное родство, а вторичные тюркско-монгольские и монгольско-тунгусские языковые контакты. Как бы то ни было, указанные расхождения обычно не служат препятствием к принятию тех или иных ностратических этимологий, фонетических правил и т. п. Напомним, что сходная ситуация наблюдается и в такой области, как индоевропейстика. Имеются различные суждения касательно существования балто-славянского праязыка и характера балто-славянских отношений. Но до сих пор это не мешало признавать как балтийские, так и славянские языки индоевропейскими и даже сравнивать их между собой, не установив заранее, «что ими было заимствовано, дважды заимствовано и перезаимствовано» (хотя по мнению В. Банга, которое сочувственно цитирует на с. 31 А. М. Щербак, такое сравнение должно быть абсурдно).

Конечно, насыщенность алтайских языков взаимными заимствованиями, причем одновременными, создает специфические трудности для их исторического изучения. Возможный путь к преодолению этих трудностей показан в последней статье Г. Дёрфера, посвященной «расслоению» монгольско-тунгусских лексических параллелей по лингвогеографическим критериям [46]. С ее автором трудно, однако, согласиться, когда бесспорную идентификацию нескольких «верхних» слоев как монгольских заимствований он экстраполирует на самый «глубокий» слой параллелей. Между прочим, критики алтайской теории (Г. Дёрфер, А. М. Щербак и др.) охотно акцентируют внимание на общности легко подверженной заимствованию культурной лексики алтайских языков, но обычно стараются уйти от объяснения поразительных сходств в сфере местоименной лексики, ср.:

Тюрк.-булг.	П.-монг.	Тунг.	
*bi (чуваш. <i>e-pë</i> )	bi	*bi	«я»
*mäniŋ	minu	*mini	«меня, мой»
*si (чуваш. <i>e-së</i> )	či	*si	«ты»
*säniŋ	čtnu	*sini	«тебя, твой»

Теория межалтайских заимствований вынуждена, очевидно, трактовать эти сходства как результат заимствования не просто отдельных местоимений (что само по себе большая редкость), но целых местоименных парадигм — случай явно беспрецедентный в практике языковых контактов.

6.2. А. М. Щербак использует подсчеты С. В. Воронина, согласно которым изобразительные слова составляют свыше трети всей реконструированной ностратической лексики. При этом если для самого С. В. Воронина эти подсчеты служат основанием утверждать, что «язык имеет изобразительное происхождение» [47, с. 25], то А. М. Щербак ссылается на них, чтобы дезавуировать соответствующие этимологии: «они не могут быть свидетельством генетического родства в общепринятом понимании его» (с. 33).

Поскольку пояснений о методе ведения подсчетов критиком не делается (непосредственно в [1—2] пометой о дескриптивности снабжено только 28 слов из 353), будет не лишним осветить этот вопрос. Судя по [47], С. В. Воронин исходит из небезынтересных, хотя в основном известных и до него, закономерностей фонетического символизма, например, гласящих, что частота появления лабиальных в обозначениях округлого значительно превышает вероятное ожидание. Непосредственно от этого он переходит к утверждениям иного типа: слова, которые обозначают округлое и содержат лабиальный, — звукоизобразительной природы. Поскольку в распоряжении С. В. Воронина имеется довольно много подобных фонетических примет для разных групп лексики, применение описанного метода (дополняемого, по-видимому, интуитивными оценками) позволяет ему обнаружить в Ностратическом словаре огромное число «дескриптивных» праформ — таких, например, как... \*ʔitü «есть», \*ʔaju «жить», \*gUrA «горячие угли» [48]. Аналогичные результаты дает этот метод, насколько нам известно, и в приложениях к любому другому перечню слов (реконструированных или взятых из живого языка) примерно того же семантического состава, что и Ностратический словарь.

6.3. Недостаток методики В. М. Иллич-Свитыча усматривается и в том, что «нередко квалифицируются как алтайские и вводятся в ностратические параллели слова, отсутствующие в тюркских языках» (с. 34). В этой связи уместно вновь сослаться на практику компаративистики: для констатации индоевропейского происхождения, например, германского слова совершенно не обязательно его присутствие одновременно в готском, западно- и северногерманских языках (хотя, конечно, присутствие во всех трех ветвях повышает надежность этимологии). Если учесть чрезвычайно большой временной разрыв между алтайским праязыком (ср. 6.1) и тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским праязыками, каждый из которых по меркам компаративистики довольно молод (длительность дивергенции в пределах 1—2 тыс. лет), то вполне закономерно, что преобладающая часть общеалтайского лексического фонда сохранилась только в одной или двух ветвях алтайских языков или же не сохранилась ни в одной из них, а потому не может быть реконструирована.

Критерии, которыми пользуется сам А. М. Щербак при отнесении тех или иных слов к праязыковому пласту, остаются нам не вполне понятными. Так, на с. 34 он высказывает сомнение в общетюркском характере турецк. *kendi* «сам». Но, как несомненно известно критику, слово *kentü* «сам, свой» фиксируется памятниками древнетюркской письменности, начиная с VIII в. [49]; оно представлено в языках огузской и кыпчакской (куман. *kensi*) ветвей; какие требуются дополнительные свидетельства пратюркской древности слова? Наличие в тюркских языках других слов с тем же значением, перечень которых приводит А. М. Щербак, не меняет дела: *öz* сосуществовало с *kentü*, *kendü* с древнейших времен (ср. др.-тюрк. *kendü* *öz*, *öz* *kendü* парн. «сам, свой»), остальные представляют собой региональные инновации. Нам кажется неосновательной и критика сравнения с п.-монг. *gendü* «самец», давно утвердившегося в этимологической литературе [50; 16, с. 25] и использованного В. М. Иллич-Свитычем [1, № 79].

6.4. Неверное представление о содержании современной ностратической теории может создать у неосведомленного читателя преамбула статьи А. М. Щербака, где одним из основоположников ностратики ошибочно назван А. Тромбетти, направлявший свои усилия на доказательство моногенеза языков<sup>15</sup>, и высказывается мнение, что ностратика может превратиться в гипотезу о единой глобальной языковой семье. В действительности подобная перспектива перед ностратикой закрыта, хотя бы потому, что стала известна еще одна макросемья, включающая севернокавказские, енисейские и сивотибетские языки, и сделаны первые шаги в направлении реконструкции праязыка этой макросемьи, который сопоставим с ностратическим праязыком по временной глубине, но явно ему не

<sup>15</sup> См. оценку работ А. Тромбетти в [1, с. 39—40].

тождествен, см. работы С. А. Старостина [51, 52]. К проблеме границ ностратической макросемьи см. также [45].

Неточность, допущенная А. М. Щербаком в связи с А. Тромбетти, — лишь первая среди ряда фактических неточностей, неправильных цитаций материала в его статье (ср. с. 32, 34 и др.). Мы не считаем необходимым специально останавливаться здесь на этих частностях, равно как и на оценочных суждениях А. М. Щербака о В. М. Иллич-Свитыче и его научной деятельности. Все это имеет отношение только к самой статье А. М. Щербака, но не к существованию затрагиваемых проблем.

7. В своем критическом выступлении А. М. Щербак несколько раз повторяет тезис о том, что «В. М. Иллич-Свитыч создал не сравнительную грамматику ностратических языков, а очень своеобразный ностратический вариант индоевропейской сравнительной грамматики» (с. 33), что «под ностратическим уровнем подразумевается древнейшее состояние индоевропейского праязыка (до начала действия алаута, с вокализмом уральского и консонантизмом картельского типа)» (с. 31). Нельзя, конечно, отрицать, что теория В. М. Иллич-Свитыча признает ностратический праязык древнейшим состоянием индоевропейского праязыка. Так же верно и то, что она признает его древнейшим состоянием уральского праязыка (до упрощения системы шумных согласных), тюркского праязыка (до утраты части алаутных сонантов, ладения аулаутных гласных и некоторых других инноваций) и т. д. и т. п. Все это вполне тривиально. Но вряд ли будет ошибкой считать, что в процитированных комментариях ставится другая цель — подчеркнуть, что подход В. М. Иллич-Свитыча к ностратической реконструкции является прямым продолжением традиций индоевропеистики (можно даже сказать точнее: индоевропеистики младограмматиков) и не соответствует тем принципам, на которых пытаются строить реконструкции сам А. М. Щербак.

Мы полагаем, что сказанное выше дает сторонникам ностратики основания без сожаления принять этот упрек.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (в. — К). М., 1971.
2. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (1 — 3). Указатели, М., 1976.
3. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (р — ч) (по карточкам автора). М., 1984.
4. *Doerfer G.* Proto-Turkic: reconstruction problems.— *Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten*, 1975—1976.
5. *Róna-Tas A.* The periodization and sources of Chuvash linguistic history.— In: *Chuvash studies*. Budapest, 1982.
6. *Rédei K., Róna-Tas A.* Early Bulgarian loanwords in the Permian languages.— *Acta Orientalia Hung.*, 1983, XXXVII, 1—3, p. 15.
7. *Clauson G.* An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish. Oxford, 1972.
8. *Tsintsius V. I.* On the Pre-Altaiic system of consonants.— In: *Researches in Altaic languages*. Budapest, 1975.
9. *Щербак А. М.* О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков.— ВЯ, 1966, № 3.
10. *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
11. *Doerfer G.* Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre.— *Orientalistische Literaturzeitung*, 1971, 66. Jg., 7/8.
12. *Poppe N.*— *Linguistics*, 1973, Nr. 100.— *Rec.: Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
13. *Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З.* Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979, с. 53—55.
14. *Tekin T.* Zetacism and sigmatism in Proto-Turkic.— *Acta Orientalia Hung.*, 1969, XXII, 1.
15. *Tekin T.* On the origin of primary long vowels in Turkic.— *UAJb*, 1976, Bd. 48, S. 236.
16. *Poppe N.* Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. 1. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
17. *Clauson G.* The Turkish Y and related sounds.— In: *Studia Altaica*. Wiesbaden, 1957.
18. *Серебренников Б. А.* Из истории звуков и форм тюркских языков.— СТ, 1974, № 6.
19. *Иллич-Свитыч В. М.* Алтайские дентальные: *t, d, δ*.— ВЯ, 1963, № 6.

20. *Doerfer G.* Bemerkungen zu den sojonischen Anlautklusilen.— UAJB, 1973, Bd. 45.
21. *Рассидин В. И.* Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971, с. 168—179, 232—236.
22. *Tekin T.* Further evidence for «zetacism» and «sigmatism».— In: *Researches in Altaic languages.* Budapest, 1975.
23. *Tekin T.* Once more zetacism and sigmatism.— CAJ, 1979, XXXII, 1—2.
24. *Ахметьянов Р. Г.* Сравнительное исследование татарского и чувашского языков. М., 1978, с. 61 и сл.
25. *Иллич-Свитыч В. М.* Материалы к сравнительному словарю ностратических языков.— В кн.: *Этимология.* 1965. М., 1967.
26. *Иллич-Свитыч В. М.* Соответствия смычных в ностратических языках.— В кн.: *Этимология,* 1966. М., 1968.
27. *Севертян Э. В.* *Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные).* М., 1974.
28. *Róna-Tas A.* Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen? — In: *Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker.* Berlin, 1974.
29. *Van Windekens A. J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. I. Louvain, 1976.
30. *Aalto P.* Eine alte Name des Kupfers.— UAJB, 1959, Bd. 31.
31. *Menges K. H.* Zu einigen ural-altajisch-toxarischen Wortbeziehungen.— *Orbis,* 1965, XIV, 1.
32. *Paasonen H.* Die türkischen Lehnwörter im Mordwinischen.— JSFOu, 1897, XV<sub>2</sub>, S. 46—47.
33. *Paasonen H.* *Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatikalischem Abriss.* Helsinki, 1909, S. 124.
34. *Федотов М. Р.* Исторические связи чувашского языка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками. II. Чебоксары, 1968, с. 133.
35. *Joki A. J.* Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
36. *Juhász J.* *Moksa-mordvin szójegyzék.* Budapest, 1961.
37. *Татар телеңең диалектологияк сүзлеге.* Казан, 1969.
38. *Татарско-русский словарь.* М., 1966, с. 720.
39. *Русско-татарский словарь.* М., 1971, с. 290.
40. *Róna-Tas A.* *Böz in the Altaic world.*— In: *Altorientalische Forschungen.* III. Berlin, 1975.
41. *Masson E.* *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec.* Paris, 1967, p. 20—22.
42. *Pedersen H.* *Türkische Lautgesetze.*— ZDMG, 1907, LVII, 1, S. 561.
43. *Ernout A., Meillet A.* *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots.* I. Paris, 1951, p. 51.
44. *Дыбо В. А.* *Ностратическая гипотеза (Итоги и проблемы).*— ИАН СЛЯ, 1978, № 5.
45. *Хелимский Е. А.* Проблема границ ностратической макросемьи языков.— В кн.: *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы и доклады конференции.* Т. 5. М., 1984.
46. *Doerfer G.* *Prolegomena zu einer Untersuchung der dem Tungusischen und Mongolischen gemeinsamen Wörter.* — JSFOu, 1984, 79.
47. *Ворохин С. В.* *Основы фоносемантики: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук.* Л., 1980.
48. *Ворохин С. В.* *Дескриптивные праформы в ностратическом сравнительном словаре (т. 1) В. М. Иллич-Свитыча.*— В кн.: *Конференция «Ностратические языки и ностратическое языковедение»: Тезисы докладов.* М., 1977.
49. *Древнетюркский словарь.* Л., 1969, с. 298.
50. *Ramstedt G. J.* *Kalmückisches Wörterbuch.* Helsinki, 1935, с. 133.
51. *Старостин С. А.* *Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков.*— В кн.: *Кетский сборник.* Л., 1982.
52. *Старостин С. А.* *Гипотеза о генетических связях синотибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками.*— В кн.: *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы и доклады конференции.* Т. 4. М., 1984.

ДАШКЕВИЧ И. Р.

CODEX CUMANICUS — ВОПРОСЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ

Научное открытие СС<sup>1</sup> как лингвистического источника исключительной важности состоялось в 1828 г. [1]. В последующие десятилетия на успешное изучение памятника возлагалось много надежд: в первую очередь привлекала латинская, а не лишенная вокализации арабская графика, во вторую — обстоятельство, что налицо был явно памятник не книжного литературного, а разговорного языка. Исследователи ставили перед собой также другие лингвистические задачи; большинство из них постепенно отошло на второй план, а вопросы, связанные с графикой и интерпретацией разговорного языка, до сих пор остаются в центре внимания. По мере углубления анализа различных языковых уровней памятника, главным образом фонетики и лексики, выяснилось, что латинская графика, несомненно, имеет преимущества перед арабской, но и она нуждается в тщательном декодировании графическими средствами современной фонетики. Нелегко давалось определение места, занимаемого ИК и ТК в классификационной схеме языков, установление этнолингвистических и генетических связей восточных языков СС. Возникали все новые и новые вопросы, удовлетворительное решение которых зависело прежде всего от правильности с лингвистической точки зрения прочтения тюркских и иранских текстов СС. И тогда со всей остротой встала сложная проблема объективности критериев контроля — проблема лингвистической достоверности текстов СС, как в их первоначальном (в рукописи Библиотеки св. Марка в Венеции), так и в декодированном (в печатных изданиях) видах.

В свете изложенной нами истории возникновения СС, до сих пор полной неясностей [2], задача предстает не из легких. Оказывается, заставить «говорить» даже транскрибированный латинской графикой памятник тюркского и иранского разговорных языков не просто. Существует немало критических и скептических высказываний как в отношении самого памятника (что, в общем, несколько странно), так и в отношении его печатных изданий (что более оправдано). Основной их смысл сводится к тому, что система передачи звуков тюркской и иранской речи несовершенна, в связи с чем многие авторы предлагают заменить ее другой, по их мнению, более точной.

Критерии лингвистической достоверности СС (рукописи, а не изданий) можно распределить на две группы — экстралингвистические и лингвистические.

Главным критерием высокой достоверности текста СС I (и, в значительной мере, СС II) является то, что он неоднократно проходил проверку в межъязыковом общении. СС I — разговорник, составленный исключительно для утилитарных целей. Он являлся практическим пособием в переводческой деятельности, распространялся и переписывался неоднократно. СС I выдерживал проверку временем — в него вносили дополнения, изменения, усовершенствования. Напрашивается единственный вывод — текст СС I не был плохим, он соответствовал поставленным перед

<sup>1</sup> Приняты сокращения: СС — Codex Cumanicus, СС I — первая («итальянская») часть СС, СС II — вторая («немецкая») часть, ТК — тюркская колонка СС I, ИК — иранская колонка СС I. Не предпринимая вопроса этнолингвистической атрибуции ТК и ИК (нуждающейся в детальном анализе — что будет сделано нами позже), мы употребляем термины «тюркский язык» и «иранский язык» в смысле их принадлежности к языковым семьям.

ним целям. Другими словами, зафиксированное в СС I, в основном при помощи специально выработанной транскрипции, произношение слов тюркской и иранской речи должно было соответствовать реальному, иначе само существование подобного пособия сделалось бы невозможным.

Для передачи звуков непривычной речи были выработаны, по крайней мере, две системы транскрипции — одна для СС I, другая для СС II. Не все, пользовавшиеся СС, знали и понимали различия между этими системами. Они вносили свои записи и дополнения, не придерживаясь каких-либо строгих правил. Для верного декодирования необходимо точное распределение текстов СС на виды в зависимости от используемых средств транскрипции. Такой анализ не проводился, хотя эта задача, по-видимому, разрешима, если учесть особенности стиля дополнений и почерка их «авторов». Отклонения от определенной системы записи звуков вызывают многочисленные замечания об искажениях звучащей речи, допущенных автором и переписчиком СС. В ряде случаев подобного рода критические замечания выдвигаются для обоснования собственной субъективной реставрации изначального звучания слов. Поток этих замечаний и претензий необходимо несколько умерить, в противном случае придется откровенно признать, что СС (особенно СС I) никогда не мог являться действенным пособием, облегчающим общение с носителями двух восточных языков. Все далеко идущие «реставрации» «истинного» звучания речи автоматически ставят под сомнение лингвистическую достоверность СС. Не все варианты «реставрации», предлагаемые как единственно правильные (см. ниже), являются действительно объективно обоснованными. Транскрипционные системы СС нуждаются в реабилитации — и в очень деликатном обращении. По-видимому, следует помнить глубокое замечание К. Залемана: «Вообще, в транскрипции Кодекса, столь прекрасно подходящей к тюркскому, я вижу чрезвычайно важное научное достижение, так как изобретатель или изобретатели опередили свое время на несколько столетий. Изучение истоков этой транскрипционной системы может явиться благодатной задачей средневековой палеографии» [3, с. 950]. Ни палеографы, ни лингвисты с этой, поставленной 70 лет назад задачей пока не справились, и транскрипционная система СС остается до конца не раскрытой.

В адрес информантов и автора выдвигается целый ряд обвинений: итальянцы, будто бы записывали материал СС I у лиц, плохо знавших тюркский язык (В. Дримба) или же поверхностно знакомых с иранским (Д. Монки-заде, А. Бодроглигети) [2, с. 80—81]. что, конечно, не согласуется с целью и ролью СС I в межэтническом общении. Бодроглигети, например, пришел к выводу о том, что информант поверхностно владел иранским, на основании того, что записи ИК иногда не полностью адекватны латинскому слову и представлены в форме, являющейся ответом на вопрос (вроде «что это такое?»), а также на основании того, что морфология памятника проще, чем в классическом новоперсидском. Но ведь вместо того, чтобы пользоваться плохим разговорником, не так трудно было найти в городах Крыма, находившихся под итальянской юрисдикцией, тюрко- или иранофонов, превосходно владевших родным языком. Тем более, что иногда от установления полноценного языкового контакта в «варварской», не всегда дружелюбно настроенной к колонизаторам стране могло зависеть решение вопросов жизни или смерти. Некоторые претензии к составителям СС II оказались упреками не по адресу. В. В. Радлов, например, считал, что лицо, записавшее тюркские загадки, пользовалось записями, составленными кем-то другим, плохо знавшим язык [4, с. 2]. В действительности же, как было установлено позже, этот упрек нужно было адресовать Г. Кууну, плохо издававшему соответствующие тексты.

Много обвинений выдвигается в адрес переписчика (переписчиков), особенно СС I [5, с. 91; 6, с. 206—207; 7, с. 184; 8, с. 32; 9, с. 406; 10, с. 30—31]: непонимание восточных языков, малограмотность, невнимательность. Несомненно, последний упрек в известной степени правомерен, в частности, в плане описок и технических ошибок (например, несопадение переводов в колонках, так как копист СС I переписывал разговорник по колонкам, а не по строкам). Но и здесь некоторые ошибки можно

переадресовать издателям (Кууну, также передвигавшему слова в пределах колонок). Сам же переписчик вряд ли был таким уж бездарным и безграмотным, коль скоро он успешно справлялся с копированием слов, произношение которых передавалось при помощи специально выработанной и непростой транскрипции, требовавшей усиленного внимания. Следует прекратить выдвигать обвинения как в адрес копииста, так и в адрес информантов и автора. Грань между обоснованными и необоснованными претензиями может быть поставлена только путем выработки определенной концепции декодирования текстов СС.

Критерии лингвистической достоверности издаваемых текстов СС относятся главным образом к языковой сфере.

Использование текста СС осложняется тем, что практически в распоряжении языковедов — как это ни парадоксально для столь важного памятника — нет хорошего критического издания СС. Первое издание части СС И. Клапротом 1828 г. [1], подготовленное на основании неполноценной копии, снятой с венецианского уникума, нельзя принимать в расчет, не говоря о том, что само оно давно превратилось в библиографическую редкость. Большинство исследователей имеет в своем распоряжении издание Кууна 1880 г. [11], которое страдает рядом серьезных недостатков (непродуманная транскрипция, много неверно прочитанных мест, особенно в СС II). По строгому, но справедливому замечанию К. Грэнбека, издание Кууна «никогда не могло считаться адекватным научному изданию» [12, с. 8]; другие критические высказывания см. в [13, с. 126—128; 14, с. LX; 15, с. 209; 10, с. 17—18]. Еще при жизни Кууна был высказан ряд критических замечаний, на основании которых он частично исправил свой личный экземпляр (хранящийся сейчас в архиве Венгерской Академии наук в Будапеште). Удивительно, почему при повторном (репринтном) издании в 1981 г. [16] этот исправленный авторский экземпляр не был использован. Издание Кууна ввело в заблуждение многих, явилось причиной печальной неудачи В. В. Радлова [4], реставрировавшего «комапский» язык на основании недостоверного издания. Истина раскрылась в результате резкой полемики между В. Бангом, с одной стороны, и В. В. Радловым и его сторонниками, с другой (об этой дискуссии см. [17, с. 518—520]), причем Радлов в конце концов признал себя побежденным, хотя и не сделал этого публично [18, с. 393]. Банг опубликовал ряд фрагментов СС II, которые считаются до сих пор почти безукоризненными, но они рассеяны по различным малодоступным изданиям (неполные перечни [19, с. 49; 8, с. 138]) и никогда не были собраны вместе<sup>2</sup>. В 1920 г. П. Пелью выдвинул идею факсимильного издания СС [13, с. 127]. Оно было осуществлено К. Грэнбеком в 1936 г. [12], но пользоваться им очень сложно из-за низкого уровня репродукций. Издание требует от тюркологов и иранистов хорошего знания средневековой латинской палеографии. В публикациях В. Банга и Я. Гжегожевского (например [20—22, 5]) имеются репродукции отдельных страниц СС, выполненные на более высоком техническом уровне, чем издание Грэнбека. Они свидетельствуют еще об одном печальном факте — постепенном, но неуклонном затухании, т. е. ухудшении качества оригинального текста СС... Словари, составленные на основании СС — турецкий Грэнбека [23] и иранские Монки-заде и Бодроглигети ([27; 7]; ср. также [25, с. 391—396]), — созданы на высоком научном уровне, но они не могут заменить полного научного издания СС. Недаром поднят вопрос о новом издании СС — проект этого издания, очень высококачественный, был обнародован Дримбой еще в 1970 г. [15], но само издание задерживается, по-видимому, также в связи с максималистской трудновыполнимой лексикологической программой, которую поставил перед собой издатель.

Этот краткий обзор предпринят нами с целью показать сложность существующего положения, при котором: а) пользоваться оригиналом имели возможность только единичные исследователи, да и они делали это не

<sup>2</sup> Стоит обратить внимание на авторизованный сборник отписок работ Банга, хранящийся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. Указанием на сборник автор этих строк обязан любезности И. Г. Добродомова.

совсем успешно (Куун); б) практически доступно либо недостоверное издание Кууна, либо (в лучшем случае) факсимильное издание Грёнбека, или другие частные публикации факсимиле (Банг, Гжегожевский) или текстов (Банг, Дримба), осуществленные с необходимой научной тщательностью; в) в качестве вспомогательных материалов могут использоваться словари К. Грёнбека, Д. Монки-заде, Д. Бодроглигети. Но и два последних пути открыты далеко не для всех исследователей, не говоря о том, что каждое из изданий предлагает свою так называемую «нормализованную» («стандартизованную», «реставрированную», «реконструированную») транскрипцию текста. Большинство же исследователей, для которых СС не является главным объектом изучения, но использующих его в историко-лингвистических, лексикологических и других штудиях, выбирает наиболее подходящий для своей концепции «нормализованный» вариант. При таком положении большая часть ссылок на СС в языковедческих работах вызывает определенное недоверие, так как неизвестно, каким путем в своих рассуждениях шел автор, избирая тот или другой «нормализованный» вариант цитирования СС. Из-за отсутствия канонического издания текста СС углубленные, особенно лексикологические, исследования связаны с преодолением значительных трудностей: сначала необходимо выработать систему правильного (с палеографической точки зрения) прочтения текста, потом учесть различные варианты его «нормализованного» декодирования, установить в соответствии с различными критериями (главным образом, сравнительно-лексикологическими) «правильный» декодированный вариант — и только после этого вступительного этапа (часто называемого критикой текста) начинается настоящее лексико-этимологическое исследование. Лучший пример подобного сивифа труда — лексикологические экскурсы Дримбы [26—28].

Лингвистическая достоверность издаваемых текстов СС представляет собой отдельную проблему, отличную от проблемы лингвистической достоверности самого СС. Авторы, пользовавшиеся материалом СС из первых рук, предлагая свою фонетическую реконструкцию текста, обычно в пространных введениях обосновывают свою систему чтения [23, с. 11—21]. Другие авторы только в общих чертах оговаривают, что обосновывают свое прочтение, например, тюркского текста, опираясь на реконструкцию звуков «команского» языка и на фонетические законы тюркских языков [4, с. 1]. Третьи указывают, что они только «умеренно нормализуют орфографию оригинала» [19, с. 46]. У нас нет возможности приводить многочисленные принципы лингвистической транскрипции (= декодирования) восточноязычных текстов СС — и еще более длинные перечни исключений из этих принципов, но не подлежит сомнению, что во всех случаях на первый план выдвигаются две цели: а) реконструкция согласно фонетическим законам языков, а также путем сравнения с лексиконой различных тюркских и иранских языков и их диалектов, б) устранение ошибок недостоверных информантов, низкоквалифицированных автора и переписчиков. Характерно, что реконструированное чтение, как правило, считается всего лишь «нормализованным», «стандартизованным» и не отмечается звездочкой, хотя это как будто общее лингвистическое правило при реконструкциях. Как подобная процедура выглядит на практике, можно проиллюстрировать на десятке в основном кратких (т. е. не допускающих многочисленных комбинаций) слов ИК:

СС		Монки-заде [24]	Бодроглигети [7]	Лигети [10]
<i>sped</i>	«белый»	<i>spēd (isped, sijēd)</i>	<i>spēd</i>	<i>spēd</i>
<i>megh</i>	«гвоздь»	<i>mēx</i>	<i>mīh, mēh</i>	<i>mēx, mīx</i>
<i>drogaan</i>	«лгун»	<i>durōγzan</i>	<i>drōg īn</i>	<i>drōg īn</i>
<i>bin mar</i>	«больной»	<i>bēmar</i>	<i>bim īr</i>	<i>bim īr</i>
<i>miwa</i>	«фрукт»	<i>mēva</i>	<i>miwa</i>	<i>miwa</i>
<i>nizech</i>	«моча»	<i>mēza (k)</i>	<i>mizāk</i>	<i>mizāk</i>
<i>gouis</i>	«ухо»	<i>gōš</i>	<i>gāš</i>	<i>guš</i>
<i>chouistan</i>	«гора»	<i>kōhist īn</i>	<i>kīhistan</i>	<i>kīst īn</i>
<i>lux</i>	«косой»	<i>lōz (lōš)</i>	<i>lūz</i>	<i>lūč</i>
<i>pust</i>	«спина»	<i>pušt</i>	<i>pūst</i>	<i>pūst</i>
<i>ambrut</i>	«груша»	<i>amrōd, amrō(t), armōt...</i>	<i>amrūt</i>	<i>amhrāt</i>
<i>belch</i>	«лист»	<i>barg (balg)</i>	<i>bālg</i>	<i>belk</i>

Количество возможных «нормализованных» прочтений многословных слов соответственно увеличивается. Альтернативные варианты предлагаются не часто. Изучение подобной процедуры приводит к мысли о том, что латинографичный, транскрибированный по определенной системе XIV в. текст не имеет особых преимуществ перед арабографичным текстом, в котором количество возможных вариантов декодирования будет немногим больше. Подобные приемы сводят на нет лингвистическую достоверность рукописного текста СС — и его печатных изданий, а в ряде случаев приводят к ложным заключениям (см. примеры [10, с. 18; 20—24]).

Не подлежит сомнению, что исходным пунктом всех лингвистических рассуждений, связанных с СС, может быть только переданный палеографически точно («канонический») текст СС, который нужно считать закодированной записью оригинальной тюркской или иранской речи (в данном случае мы отвлекаемся от возможных ошибок в восприятии речи или же при переписке закодированной записи). Для того, чтобы восстановить оригинальное звучание речи, теоретически предстоит проделать следующий путь: А оригинальная речь → Б транскрипция СС → В транслитерация издания → Г транскрипция издания → Д оригинальная речь.

Эта на первый взгляд не очень сложная схема декодирования, которая должна быть положена в основу научного археографического издания СС, на практике крайне осложнена целым рядом специфических моментов, без удовлетворительного решения которых нельзя быть уверенным, что Д = А.

Переход от Б до Д должен включать следующие этапы: а) палеографически правильное прочтение текста, осложняющееся затуханием текста, наличием помарок и исправлений, б) транслитерация текста средствами современной научной графики, в) графологическая экспертиза почерков, определение количества почерков и распределение по ним текста, г) определение систем транскрипции СС, деление текста по системам, а также выделение текстов, записанных без системы, д) определение этнической принадлежности писарей, е) изучение фонетико-орфографической системы итальянского (лигурийского диалекта), немецкого (средневерхненемецкого диалекта) и, возможно, других языков XIV в., ж) предварительная транскрипция текста, з) сравнение с другими тюркскими и иранскими текстами XIV в., особенно обладающими вкраплениями или фрагментами текстов на разговорном языке, и) сравнение с текстами последующих столетий, в отношении которых можно предполагать, что они находятся в генетической связи с СС, к) сравнение с генетически близкими языками по материалам XIX—XX вв., л) учет явлений интерференции с другими языками крымского ареала, м) учет ошибок различного происхождения, имеющих в СС, н) окончательная транскрипция современного научного издания СС.

Нужно сказать, что издатели и исследователи текста СС учитывали большинство из перечисленных моментов, однако некоторые из них постоянно оставались в тени. Иногда объективная научная методика приносила в жертву так называемому языковому чутью. К таким темным сторонам проводившегося до сих пор декодирования можно отнести недооценку этапов в — е, з, м, л. Мы обращаем внимание на все эти обстоятельства не для того, чтобы еще больше усложнить и без того непростую проблему затянувшегося переиздания СС, а для того, чтоб обрисовать весь комплекс задач, которые постепенно необходимо решать на материале СС.

До настоящего времени нет четкого деления текста СС (особенно СС II) по почеркам. Мы уже обращали внимание на то, что количество почерков СС II (14 или даже 16, по различным подсчетам [2, с. 73]) кажется завышенным. Корреляция между почерками и системами транскрипции СС II отсутствует. Несколько лучше дело обстоит с СС I, переписанным одним почерком, что, однако, не исключает определенной стратиграфии текста до того, как он (предположительно в 1330 г.) был подвергнут переписыванию. Разновременные наслоения текста СС I прослеживаются

в некоторых местах отчетливо (например, в вокабулярии, составленном по алфавиту) — неясным остается вопрос, придерживались ли лица, вносявшие записи в рукопись, существовавшую до 1330 г., первоначально установленной транскрипционной системы. Деление текста СС по системам транскрипции (применяемой орфографии) и вычленение текстов, в которых система отсутствует, не проводились. Мало учитывалось (хотя давно известно, что системы орфографии СС I и СС II различны и в них имеются другие вкрапления) и то обстоятельство, что для фонетически далеких тюркского и иранского языков в СС I применялась сходная транскрипционная система.

Весь комплекс этнолингвистических аспектов, связанных как с восточными, так и с западными языками, не привлекал особого внимания исследователей. К ним, в частности, относятся: невнимательное отношение к национальным особенностям палеографии (что привело к столь поздней расшифровке даты 1330 г.), поверхностное знакомство с фонетико-орфографической системой языков, носителями которых были сделаны записи в СС. Хотя, на первый взгляд, не подлежит сомнению факт, что путь к раскрытию оригинальной речи Д должен идти через романистику и германистику, путь этот не был проделан издателями СС. Как кажется, привлечение для сравнения относящихся к XIV в. итальянских, особенно генуэзских актов текстов из Северного Причерноморья (обзор см. в [29, с. 222—225]; кроме этого [30]), а также территориально ближайших немецких текстов из Львова [31] может помочь обосновать более последовательную трактовку примененной в СС транскрипции. Настоятельной необходимостью является определение (по палеографическим данным?) этнической принадлежности лиц, делавших латинские записи в СС II; аморфное определение языка этих записей как «церковной латыни» XIV в. помогает мало.

Совершенно правильно утверждение А. фон Габен, согласно которому сравнение тюркского языка СС с современными западнотюркскими языками раскрывает больше сходств, чем сравнение с памятниками синхронной письменности [19, с. 47, 48], не нужно толковать превратно, ограничивая компаративистские экскурсы только современными языками. А. фон Габен безусловно права, если имеет в виду сравнение с памятниками тюркской художественной или научной литературы XIV—XV вв., создаваемыми в постмонгольских улусах Евразии на базе чрезвычайно пестрого по своему составу смешанного языка (что, кроме всего прочего, вызывает, как известно, огромные классификационные трудности в отношении языка этих произведений). Мало, по-видимому, может дать также сравнение с активным языком конца XIV—XV вв. — применение даже такого, далеко не безупречного метода, как статистический, вскрывает смешанность языка ярлыков, дипломатической переписки. Однако есть область, в которой сравнение с более или менее синхронными письменными памятниками может оказаться плодотворным — сочинения практической лингвистики мамелюкского круга. Языковые пособия для изучения тюркского языка Египта отразили генетически очень сложный этнолингвистический состав господствующей мамелюкской верхушки, среди которой значительное место занимали также невольные выходцы из Причерноморского региона [32, с. 285—295; 33, с. 5—48; 34, с. 74—81]. Арабская графика, порой дезориентирующие «этнические» ремарки в словарях арабских филологов осложняют использование этого копт-рольного источника — но оно кажется очень перспективным.

Вопрос о последующем (после XIV в.) развитии языков СС представляется туманным. По мнению В. В. Радлова [35, с. 547—548; 32, с. 6], тюркский язык СС исчез примерно в конце XV—XVI вв., когда был замещен крымским диалектом османско-турецкого языка. Учтивая почти полную неизученность памятников крымскотатарского языка XV (XVI?)—XVII вв. недипломатического характера, это мнение невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вопрос о сравнении тюркского материала СС с крымскотатарскими памятниками последующих столетий является актуальной задачей. По нашим исследованиям, носители иран-

ского языка СС I в Причерноморье окончательно исчезли в середине XV в.<sup>3</sup>; следы этого языка можно отыскать в языковых реликтах крымских готов (записи середины XVI в.). Территориально близкие синхронные памятники иранского языка неизвестны. Выдвижение концепции, согласно которой единственно правильный путь декодирования СС лежит через сравнение с современными тюркскими и новоиранскими языками, методически необоснованно.

Мы уже имели возможность подчеркнуть то обстоятельство, что исследователи СС игнорируют явления языковой интерференции [2, с. 81—92], безусловно и совершенно объективно наблюдаемой на материале СС. Кодекс возник на территории и в среде, для которых столетиями характерным было этнолингвистическое смешение. Многие претензии исследователей по поводу плохих информантов, со слов которых записывался язык СС, вызваны нежеланием учитывать интенсионную интерференцию в крымских полиэтнических городах XIV в. «Перенос» ряда иранских слов из ИК в ТК — это не результат невежества информантов или нерадивости автора, а свидетельство органического вхождения иранизмов в тюркский речевой поток. Подчинение иранского материала тюркским фонетическим законам (в частности, явление зегатизма) — это не искажение персидской речи тюрком, плохо говорившим по-ирански, а отражение явлений фонетической интерференции, которой подвергались иранофоны, проживавшие в тюркоязычном окружении. Горький опыт некоторых исследователей, ставивших своей целью «очистить» язык СС во имя идеальной, соответствующей языковым законам модели чистого «команского» или «персидского» языков — В. В. Радлова [4] и, в значительной мере, Монки-заде [24] — должен настораживать и служить предупреждением. Субъективно проводимое очищение материала СС от предполагаемых ошибок переписчиков-иностранцев, тенденция к очищению ТК от иранской, а ИК от тюркской лексики и т.п. приводят к уничтожению оригинального звучания речи, специфической для южно-крымского ареала. Применение любой пуристической методики ведет не к реставрации, а к деформации языка, в результате которой декодированная оригинальная речь Д никогда не будет адекватна искомой закодированной в СС речи А.

Анализ проводимых до сих пор приемов декодирования СС приводит к выводу о необоснованном преуменьшении роли СС как достоверного лингвистического источника при явном преувеличении имеющих в нем ошибок и неточностей, происходящих будто бы от плохой языковой осведомленности информантов и авторов. Подобная тенденция открывает путь субъективной интерпретации лингвистического материала, декодируемого часто без учета особенностей первоначальной транскрипции, с гиперболизацией значения сравнений с материалом XIX—XX вв., умалением роли сравнений с синхронным лингвистическим материалом и игнорированием явлений языковой интерференции в крымском ареале XIV в. Отсутствие канонического издания текста СС, противоречивые результаты его декодирования вынуждают относиться с осторожностью к результатам тех исследований, авторы которых не объясняют методику обработки материала СС.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Klaproth J.* Vocabulaire latin, persan et coman de la bibliothèque de F. Petrarca. — In: *Memoires relatifs à l'Asie*. T. 3. Paris, 1828.
2. *Дашкевич Я. Р.* Codex Cumanicus — вопросы возникновения. — ВЯ, 1985, № 4.
3. *Saleman C.* Zur Kritik des Codex Cumanicus. — Изв. имп. Акад. наук, 1910, 6 сер., № 12.
4. *Radloff W.* Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus. — Mémoires de l'Académie imp. des Sciences de St.-Petersbourg, 1887, 7<sup>e</sup> sér., t. 35, № 6.
5. *Grzegorzewski J.* Zdatatyzm perski «Kodeksu kumańskiego». — RO, 1914—1915, t. 1, cz. 1.
6. *Расовский Д. А.* К вопросу о происхождении Codex Cumanicus. — Сборник статей по археологии и византиноведению. Т. 3. Прага, 1929.

<sup>3</sup> Вопросу этнической атрибуции языка ИК будет посвящена отдельная статья.

7. *Bodrogligeti A.* The Persian Vocabulary of the Codex Cumanicus. Budapest, 1971.
8. *Drüll D.* Der Codex Cumanicus. Entstehung und Bedeutung. Stuttgart, 1980.
9. *Drimba V.* Sur la datation de la première partie du Codex Cumanicus.— Oriens. 1981, v. 27—28.
10. *Ligeti L.* Prolegomena to the Codex Cumanicus.— Acta Orientalia Hung., 1981, t. 35, fasc. 1.
11. *Kuun G.* Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum. Rudapestini, 1880.
12. *Grønbech K.* Codex Cumanicus. Cod. Marc. Lat. DXLIX. In Faksimile herausgegeben. Kopenhagen, 1936.
13. *Pelliot P.* À propos des Comans.— JA, 1920, 11e sér., t. 15, № 2.
14. *Kowalski T.* Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Kraków, 1929.
15. *Drimba V.* Problèmes d'une nouvelle édition du Codex Cumanicus.— Revue de Roumaine de linguistique, 1970, t. 15, № 3.
16. *Kuun G.* Codex Cumanicus. With the Prolegomena to the Codex Cumanicus by Ligeti L. Budapest, 1981.
17. *Кримський А. Ю.* Тюрки, їх мови та літератури.— В кн.: *Кримський А. Ю.* Твори. Т. 4. Київ, 1974.
18. *Бартольд В. В.* Новый труд о половцах.— В кн.: *Бартольд В. В.* Соч. Т. 5. М., 1968.
19. *Gabain A. von.* Die Sprache des Codex Cumanicus.— In: Philologiae Turcicae fundamenta. T. 1. Aquis Mattiacis, 1959.
20. *Bang W.* Über einen komanischen Kommunionshymnus.— Bulletin de l'Académie royale de Belgique. Classe des lettres, 1910, № 5.
21. *Bang W.* Die komanische Bearbeitung des Hymnus'a solis ortus cardine? — In: Festschrift V. Thomsen. Leipzig, 1912.
22. *Bang W.* Komanische Texte.— Bulletin de l'Académie royale de Belgique. Classe des lettres, 1911, № 9—10.
23. *Grønbech K.* Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus. Kopenhagen, 1942.
24. *Monchi Zadeh D.* Das Persische im Codex Cumanicus. Uppsala, 1969.
25. *Monchi Zadeh D.*— Oriens, 1976, v. 25—26.— Rec.: *Bodrogligeti A.* The Persian Vocabulary of the Codex Cumanicus. Budapest, 1971.
26. *Drimba V.* Miscellanea Cumanica I, II.— Revue Roumaine de linguistique, 1970, t. 15, № 5.
27. *Drimba V.* Quelques leçons et étymologies comanes.— Revue Roumaine de linguistique, 1966, № 5.
28. *Drimba V.* Miscellanea Cumanica. XI.— Revue Roumaine de linguistique, 1979, t. 24, № 4.
29. *Verlinden Ch.* Le commerce en Mer Noire des débuts de l'époque byzantine au lendemain de la conquête de l'Égypte par les Ottomans (1517).— В кн.: XIII Международный конгресс исторических наук. 1980. Доклады конгресса. Т. 1. Ч. 4. М., 1973.
30. *Balbi G., Raiteri S.* Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Caffa e Licostomo nel secolo XIV. Genova, 1973.
31. Pamiętniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta. Wyd. Czołowski A., Jaworski F. T. 1—4 (1382—1448). Lwów, 1892—1921.
32. *Spuler B.* Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223—1502. 2. erw. Aufl. Wiesbaden, 1965.
33. *Наджун Э. Н.* Тюркоязычный памятник XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его язык. Ч. 1. Алма-Ата, 1975.
34. *Pritsak O.* Das Kiptschakische.— In: Philologiae Turcicae fundamenta. T. 1. Aquis Mattiacis, 1959.
35. *Radloff W.* Vorläufiger Bericht über eine wissenschaftliche Reise in die Krym im Jahre 1886.— Bulletin de l'Académie imp. des Sciences de St.-Petersbourg, 1887, t. 31, № 4.

ЛЕЙЧИК В. М.

## О ЯЗЫКОВОМ СУБСТРАТЕ ТЕРМИНА

В изучении терминов и операций, проводимых над ними, намечается два основных подхода — нормативный и дескриптивный. В рамках и о р м а т и в н о г о подхода были сформулированы так называемые требования к термину, автором первых из которых был Д. С. Лотте (однозначность, точность, систематичность, отсутствие синонимов, краткость и др. [1, с. 15—16, 72—79]). В дальнейшем количество этих<sup>1</sup> требований было увеличено до 14—15 [2, с. 7—10]. Нормативный характер подхода к термину проявлялся в самих формулировках соответствующих методических документов, в которых они содержались: «термин не должен быть многозначным», «научно-технический термин должен обладать определенными систематизирующими свойствами», «термин должен быть кратким» и др.<sup>1</sup> На основе этих положений проводилась и проводится большая работа, результатом которой стали государственные, отраслевые и международные стандарты на термины и определения (по состоянию на начало 1984 г. в СССР действовало около 800 ГОСТов на термины), свыше 300 сборников рекомендуемых терминов и других работ, содержащих упорядоченную терминологию, созданных под руководством КНТТ крупнейшими учеными нашей страны [5, с. 5], десятки терминологических словарей, среди которых многие выполняют нормативную функцию [6]. Наличие и широкое использование этих и других результатов терминологической деятельности свидетельствуют о том, что термины, в частности научно-технические, а также совокупности терминов (терминологии) поддаются упорядочению и стандартизации, шире — унификации, сознательному регулированию, что позволяет им удовлетворительно выполнять функцию обозначения понятий и систем понятий в специальных областях знаний и деятельности.

В рамках д е с к р и п т и в н о г о подхода к терминам (начало этим работам было положено статьей Г. О. Винокура)<sup>2</sup> утверждается, что «в роли термина может выступать в с я к о е слово, как бы оно ни было тривиально, и что термины — это не особые слова, а только слова в о с о б о й функции» [8, с. 5]. Описывая реальные термины с опорой на такое их понимание, авторы множества работ опровергали упомянутые выше нормативные требования к терминам и доказывали, что термины многозначны (ср. [9]), что им присуща синонимия [10], что даже среди стандартизованных терминов есть такие, которые содержат до 11—17 слов [11, с. 4], что точность и системность термина относительны [12, с. 2—3]. Короче говоря, в этих работах обосновывалась я з ы к о в а я природа термина (по образному выражению Н. З. Котеловой, «термины — это

<sup>1</sup> Цитируемые формулировки взяты из методического пособия по разработке и упорядочению научно-технической терминологии [2], являющегося последним по времени методическим документом КНТТ (ранее было выпущено три методических документа, основанных на трудах Д. С. Лотте, с аналогичными положениями). Близки по идеям руководящие документы по стандартизации научно-технической терминологии, изданные Госстандартом, в частности действовавшая в течение 10 лет методика РД 14—74 [3]. Правда, в методических указаниях 1984 г. [4] нормативные требования к стандартизуемым терминам значительно смягчены.

<sup>2</sup> Различие нормативного и дескриптивного подходов к термину удачно показал Н. П. Кузькин: «Если лингвисты подходят к термину как к чему-то данному, то терминологи — как к объекту сознательной целенаправленной обработки. Поэтому лингвисты говорят о признаках термина, а терминологи — о требованиях к термину» [7, с. 140—141].

слова, и ничто языковое им не чуждо» [13, с. 124]). Требования же к термину обьявлялись противоречащими языковой природе термина и потому невыполнимыми — полностью или частично [14].

Однако в такой постановке вопроса заключалась слабость аргументации. Во-первых, сторонники тезиса «процессом формирования научных терминов надо управлять» [15, с. 17—22] никогда не отрицали языковой природы термина; они говорят лишь о том, что термины — особые слова или слова с особым (терминологическим) значением и это позволяет устранять их многозначность, синонимию в рамках определенных терминологий и т.п. Во-вторых, бесспорные успехи работы по конструированию и использованию терминосистем, в которых фигурируют термины, более или менее удовлетворяющие «требованиям», свидетельствуют о том, что и нормативный подход к термину не бесплоден (к середине 80-х гг. в 40 промышленно развитых странах действовало около 15 тыс. национальных терминологических стандартов, не говоря уже о нескольких сотнях международных).

Эти факты наталкивают на мысль, что как бы ни были убедительны работы о языковой природе термина [12, 16], о специфике термина [13], о сущности термина [7], они, оставаясь в рамках лингвистического подхода, не могут выявить те особые, наиболее существенные признаки термина, которые и позволяют противопоставлять его всем другим лексическим единицам языка.

Не решает вопроса о природе термина и формулировка А. А. Реформатского, которая гласит, что «терминология — это служанка двух господ — языка и логики, и его высказывания о том, что термин существует в лексике (лексической системе языка) и логосе (системе научного знания) [17, с. 2—3; 18]. Если быть точным, то термин является слугой трех господ: языка, «логики» как общих закономерностей формулирования понятий и их определений и той предметной области, к которой этот термин относится (отрасль науки, техники и т.п.). Можно сказать, что термин — это слуга и философии, и науковедения, т. к. каждая из этих областей знания может выделить в многоаспектном объекте — термине признаки, принадлежащие ей. Кроме того, предложенное А. А. Реформатским понятие терминологического поля (Feld) как данной терминологии, вне которой слово теряет свою характеристику термина [17, с. 9], оказалось достаточно трудно определяемым, и эти его идеи не получили дальнейшего развития. Хотя многие сторонники и нормативного, и дескриптивного подходов к термину повторяли высказывания А. А. Реформатского о двойном подчинении термина, они по существу говорили в каждом случае о разных аспектах термина, работали как бы в разных плоскостях.

Представляется, что разрешение антиномии между нормативным и дескриптивным подходами к термину невозможно ни в рамках лингвистики, ни в рамках логики, а только в рамках такой науки или научной дисциплины, в которой термин является основным предметом и где его существенные признаки могут быть определены с необходимой полнотой. Эта научная дисциплина сложилась в нашей стране на основе достижений советской терминологической школы; в конце 60-х гг. в работах Б. Н. Головина и В. П. Петушкова она получила название терминоведения [15, с. 38; 19]. Терминоведение как комплексная научная дисциплина, возникающая на базе лингвистики, использует методы логики, семиотики, науковедения, общей теории систем, информатики и др., а также формирует собственные методы [20]<sup>3</sup>.

Для языковедов важно установить, каковы лингвистические аспекты термина, что в нем, в его семантике и формальной структуре от языка, от лексико-семантической и словообразовательной систем языка и что — от экстралингвистических (логических, семиотических) аспектов термина и его собственно терминологической сущности. В этой связи следует ука-

<sup>3</sup> Следует указать, что видный австрийский ученый Э. Вюстер выступил в 1972 г. с докладом, в котором он обосновал общую терминологию как научную дисциплину, входящую на стыке лингвистики, логики, онтологии, информатики и предметных наук [21].

зять, что термин образуется на основе лексической единицы определенного естественного языка, т. е. лексическая единица этого языка является с у б с т р а т о м термина. При этом нужно добавить, что в понимании субстрата мы здесь следуем не лингвистической традиции, а скорее использованию этого понятия в микробиологии; субстраты — питательные среды для развития микроорганизмов. При таком понимании языковых аспектов термина могут быть решены многие методологические вопросы терминоведения. Прежде всего, определяются место и границы применения лингвистических методов анализа термина и терминосистем: семантический, словообразовательный, грамматический, этимологический анализ отдельного термина (точнее, слова или словосочетания, на основе которых он «развился»), семантические, словообразовательные и синтаксические связи между терминами, образующими некоторую совокупность (точнее, между соответствующими словами, их лексико-семантическими вариантами и словосочетаниями). Далее, реализуется в полной мере философский принцип установления иерархии форм движения и — следовательно — наук, изучающих эти формы движения: так, известно, что химическая форма движения базируется на физической (но не сводится к ней), социальная форма движения базируется на биологической (но не сводится к ней) [22, с. 303]. В равной мере термин базируется на лексической единице определенного языка, но не сводится к ней, а терминоведение развивается на базе лингвистики, но не сводится к ней. Применение лингвистических методов в терминоведении необходимо, является важнейшей составной частью системы методов этой научной дисциплины. Результаты применения этих методов, однако, вскрывают лишь признаки языкового субстрата терминов, закономерности функционирования этого субстрата, но не всю надстроившуюся на этом субстрате совокупность признаков терминов, онтологию последних.

Понятно, что для языковеда основной интерес представляют именно те признаки термина, которые он получает от лексической единицы; но языковед в равной мере привлекают и сам процесс становления термина, превращения нетермина в термин и — хотя бы в общих чертах — те признаки, которые термин приобретает (или теряет) в ходе этого процесса. Ниже следуют некоторые наблюдения, относящиеся к этим трем сторонам изучения термина.

Любой термин имеет фонетический облик слова или словосочетания определенного естественного языка. Даже если термин представляет собой заимствование из другого языка, он, как и всякое заимствование, подвергается в большей или меньшей степени фонетической ассимиляции. Иногда делаются попытки найти специфику в фонемной/графемной структуре терминов. Так, ученый из ГДР Л. Хоффман пишет о том, что для терминов характерна высокая частота встречаемости групп согласных вообще и нетипичных сочетаний согласных в частности [23, с. 392 и сл.]. Напротив, чехословацкий лингвист Л. Дрозд и западногерманский лингвист В. Зайбике в своей книге утверждают, что на фонологическом уровне у терминов нет отличий от нетерминов и специфика может проявляться только на морфемном и других более высоких уровнях [24, с. 36—78].

Но и формальная — морфемная, словообразовательная, словосочетательная — структура термина в принципе та же, что и у слова или словосочетания соответствующего языка. В многочисленных работах, посвященных формальной структуре терминов, показано, что термины выступают в виде производных, производных и сложных слов какого-либо естественного языка. Структура терминов, имеющих форму словосочетания, также зависит от преобладающих в данном языке моделей. Так, в русской лингвистической терминологии 77,8% моделей терминологических сочетаний являются субстантивно-адъективными, в немецкой — 79,5%, в английской — 83,4%, субстантивных (из двух существительных) моделей соответственно по указанным языкам 22,2%, 20,5% и 16,6%. В русском языке преобладают трехчленные модели данных терминов — 55,5%, в английском — 50%, а в немецком (в связи с высокой продуктивностью словосложения) — 29,3% [25, с. 73]. Говоря о терминообразова-

нии как о процессе создания терминов из наличных морфем и слов, можно констатировать лишь преобладание тех или иных процессов в сфере терминов по сравнению с другими сферами. Например, не очень широко распространенный в русском языке процесс словосложения становится все более продуктивным в терминообразовании. С другой стороны, создание многочисленных так называемых телескопических слов (*магнитофон* + *радиоло* → *магнитоло*) является проявлением издавна существовавшего общезыкового процесса контаминации [26, с. 191—195]. То же касается и высокого процента сочетаний существительных с существительными в косвенном падеже (*крутизна кривой нарастания колебания*), которых достаточно много как среди русских терминов, так и нетерминов.

Содержательная структура термина включает компоненты, обычные для лексической единицы естественного языка: семантику (денотат) и смысл, если следовать Г. Фреге, референт и сигнификат, согласно С. К. Огдену и И. Ричардсу, значение и внутреннюю форму, по А. А. Потемне (здесь не место для обсуждения различий в понимании этих терминов). Если подходить к семантике термина с лингвистической точки зрения, то можно выделить в содержательной структуре соответствующей лексической единицы некое терминологическое значение, которое обычно приравнивается к специальному понятию. Это терминологическое значение существует в содержательной структуре лексической единицы наряду с другими, нетерминологическими, значениями: *клетка* (биол.) — *клетка* (для птиц, в тетради и др.). С терминоведческой точки зрения все эти другие значения слова или словосочетания не должны учитываться. В этом плане, когда к термину предъявляется требование — не быть многозначным — и когда говорят, что наличие многозначности — это недостаток терминологии [1, с. 18—21; 2, с. 7—8], речь идет по существу о языковом субстрате термина, а не о самом термине. Правда, здесь нельзя упрощать ситуацию и утверждать, что весь комплекс лексико-семантических вариантов не влияет на то значение термина, которое признается терминологическим. У термина сохраняются коннотации [27], которые участвуют в построении производных слов и словосочетаний. Так, на базе термина информатики и теории классификации *дерево* создаются термины *ветвящие дерева*, *растущие поисковое дерево*. Исходная внутренняя форма термина, способ представления его значения, его мотивированность определяются в конечном счете его языковым субстратом. Здесь могут наблюдаться прямая и косвенная номинации (вторичные наименования) в виде метафоризации или метонимизации [28, с. 190—221]: *нос* (корабля), *стол* (диетический), а также немотивированность: *вода* (хим.) и т.п. Другое дело, что в дальнейшем внутренняя форма лексической единицы отступает в термине на задний план и может не учитываться в его отношении к обозначаемому понятию.

На базе функций слова или словосочетания формируется функциональная структура термина. Термину присущи все основные функции слова: номинативная, сигнификативная, коммуникативная, прагматическая [29, с. 403]. Первая функция реализуется в том, что с помощью терминов называют общие понятия, категории, признаки (свойства) понятий, а также операции (отношения) между объектами в различных специальных сферах человеческих знаний и деятельности; без такого названия невозможны познание и деятельность в данных сферах. Сигнификативная функция термина, тесно связанная с номинативной, раскрывается в способе обозначения объектов номинации — безразлично, имеет ли мы дело с прямой или косвенной номинацией, с обозначением объекта (класса объектов) или его признаков. При рассмотрении сигнификативной функции термина опровергается распространенное заблуждение, что термин должен в ы р а ж а т ь понятие; значительное количество терминов просто обозначает понятие по его отличительному признаку (признакам). В этом отношении термин ничем не выделяется из общей массы слов (названий). Не выполняет термин и дефинитивную функцию, которую часто ему приписывают. Можно согласиться с А. И. Моисеевым: «...дефинитивную функцию нельзя признать свойством термина: термин не определяет

и не может определить понятия. Это задача логической дефиниции» [16, с. 136]. Коммуникативная функция термина состоит в том, что с его помощью адресант передает во времени и пространстве определенную специальную информацию (нередко при установлении обратной связи с реципиентом); коммуникативная функция термина может быть иначе названа информационной. В известной мере присуща термину и прагматическая функция, которая зависит от той установки, которую выбирает продуцент, воздействуя на реципиента: убедить, побудить к действию и т.п. Для термина диапазон таких установок достаточно узок. Однако если речь идет о терминах общественных, в частности, политических наук, то можно утверждать, что эмоционально-экспрессивный компонент входит в содержательную структуру этих терминов, что и позволяет им выполнять прагматическую функцию.

Языковой субстрат термина наиболее ясно виден в функционировании терминов в текстах. Как и любые лексические единицы, термины подвергаются в синтагматическом аспекте всем видам субституции: замене их краткой формой (*государственный стандарт* → *ГОСТ*), родовым термином (*адаптивная система* → *система*), местоимением [30]. Термин — название процесса или свойства — может преобразовываться в тексте в описание этого процесса (свойства): *управление государством* — *управлять государством*; *безотказность устройства* — *безотказное устройство*. Вообще далеко не все термины в своей исходной форме представляют собой результат опредмечивания признаков понятия. В разных терминосистемах кроме существительных (или субстантивных словосочетаний) фигурируют также термины-глаголы, прилагательные, наречия [31 с. 39—51].

Таким образом, языковая, лексическая основа проявляется во всех сторонах термина: и в его фонемной, и в словообразовательной, и содержательной, и функциональной структуре. Отсюда можно сделать вывод о неравномерности традиционных противопоставлений «термин — слово», «термин как особое слово — общеупотребительное слово», поскольку между этими единицами существует не отношение контрастности, а отношение логической производности. Однако тут же возникает вопрос о том, почему же у термина появляются такие новые специфические признаки, как наличие одно-однозначного соотношения термина и понятия в системе определенной области знаний и деятельности, содержательная системность, устранение частичных синонимов в рамках терминосистемы, возможность отбора оптимальных словообразовательных и словосочетательных способов из числа имеющихся в том или ином естественном языке?

Ответы на эти вопросы могут быть найдены в теоретических положениях терминоведения, которое в современных условиях развивается в тесной связи с теорией языков для специальных целей. Эта теория, ведущая свое начало от идей Пражского лингвистического кружка о функциональных языках (Б. Гавранек) и получившая широкое распространение с начала 70-х гг. нашего столетия, трактует языки для специальных целей как функциональные разновидности современных развитых национальных языков, как подсистемы этих языков (отсюда — предложение называть их не языками, а подъязыками), используемые в таких специальных сферах общественных отношений, как наука, производство (экономика), управление, международные отношения, массовые коммуникации, реклама, спорт и т. п. (говорят о языках науки, техники, управления, дипломатии, рекламы) <sup>4</sup>. В некоторых работах языки для специальных целей (далее ЯСЦ) приравниваются только к языкам науки, однако такое ограничение неправомерно: у всех ЯСЦ имеются специфические особенности на морфемном, лексико-семантическом, словообразовательном, синтаксическом уровнях, и эти особенности противопоставляют ЯСЦ в целом такой разновидности соответствующего национального языка, как язык повседневного общения, используемый в неспециальных сферах общест-

<sup>4</sup> В англоязычных странах говорят о «languages for special purposes (LSP) или о «special languages» [23, 32], в немецкоязычных странах — о «Fach- und Wissenschaftssprache» [24, 33]; во франкоязычных странах — о «langues de spécialité», например, о «le français économique» [34] и др.

венных отношений (семья, быт, транспорт, торговля, туризм и др.). И ЯСЦ, и язык повседневного общения являются подсистемами одного и того же национального (естественного) языка. В то же время между ними существуют и принципиальные различия: язык повседневного общения является первичным, а все языки для специальных целей вторичны; язык повседневного общения практически не ограничен в сфере своего использования, а каждый ЯСЦ ограничен своей специальной областью (химия; математика; производство; управление), язык повседневного общения складывается стихийно, а при формировании ЯСЦ значительна доля сознательного момента, язык повседневного общения естествен в полной мере, а в ЯСЦ имеются элементы искусственности — и в лексических, и в словообразовательных единицах, например, в символа-словах типа *участица* [31, с. 107], и в построении предложений, в частности в языках логики, математики. Р. Г. Котов пишет, что в специальных языках «происходит фактическое сращивание естественного языка с элементами искусственных знаковых систем» [35, с. 18]. В этой связи ЯСЦ могут быть признаны естественно-искусственными системами или естественными системами с известной долей искусственности. Тем не менее, и язык повседневного общения, и ЯСЦ представляют собой подсистемы одного и того же языка (русского, английского и др.), который и является их основой. Поэтому между ЯСЦ и языком повседневного общения и другими разновидностями языка происходит постоянный взаимообмен единицами на разных уровнях. В частности, на лексико-семантическом уровне этот процесс реализуется в явлениях терминологизации и детерминологизации. Эти два явления, хорошо объяснимые с позиций признания языкового субстрата термина, должны быть рассмотрены более подробно.

Прежде чем перейти к этому вопросу, следует сделать еще ряд замечаний относительно лексического состава ЯСЦ. Нужно иметь в виду, что термины являются не единственными лексическими единицами ЯСЦ. В этих языках выделяются три лексических (номинативных) класса «специальных слов»: имена нарицательные, имена собственные и номенклатурные единицы [36, с. 6—7]. Могут сказать, правда, что единицы всех этих трех классов есть и в языке повседневного общения. Но там они не обозначают специальных понятий и потому менее тесно связаны друг с другом системными отношениями. Среди имен нарицательных в рамках ЯСЦ термины выступают как обозначения (знаки) общих — абстрактных и конкретных — понятий, при этом термины могут обозначать либо общенаучные (общетехнические), либо узкоспециальные понятия. На этой основе термины определенной специальной области знания или деятельности сознательно объединяются в терминосистему, обладающую нередко достаточно сложной структурой. В языке повседневного общения, естественно, таких терминосистем нет. Отсутствуют в нем и номенклатуры — организованные системы частных понятий известной области, например, марок промышленной продукции, сортов растений, пород животных и т. д., а также взаимосвязанные совокупности собственных имен, обозначающих единичные понятия данной сферы, например, названий учреждений и организаций в языке управления. Из сказанного можно сделать вывод о том, что единицы перечисленных номинативных классов (в том числе нарицательные имена-термины) представляют собой лексические единицы ЯСЦ, а не единицы соответствующего естественного языка в целом. Эту же мысль можно выразить и иначе: термины — это не «особые слова», а «специальные слова» — лексические единицы специальных языков, какими являются ЯСЦ<sup>5</sup>.

При таком подходе в перечень способов терминообразования могут быть включены следующие способы: 1) приобретение признаков термина

<sup>5</sup> В. В. Акуленко пишет: «Термины возникают и функционируют не в языке в целом, а внутри отдельных подязыков, то есть тематически ограниченных наборов специальных и общезыковых средств, необходимых для общения в определенной сфере человеческой деятельности» [37, с. 136]. Если быть точным, то термины могут возникать либо в языке повседневного общения, либо в языке для специальных целей, но функционируют они именно как лексические единицы ЯСЦ.

нетерминами — лексическими единицами естественного языка, «надстраивание» признаков термина у единиц языкового субстрата; 2) превращение в термины лексических единиц других номинативных классов ЯСЦ; 3) создание, конструирование термина из наличных лексических и словообразовательных элементов (морфологическое и синтаксическое терминологизация, т. е. семантического способа терминологизации — приобретения функции термина (члена терминосистемы) лексической единицей, которая ранее не имела этой функции, причем без изменения ее формальной структуры.

Из лексики языка повседневного общения, других разновидностей соответствующего языка, образующих в совокупности основу, лексический субстрат, в сферу терминов переходят единицы трех видов (приведенные здесь примеры относятся к названиям рыб [38]): 1) лексические единицы данного литературного языка: *сельдь, конь, белорыбица* (некоторые из этих единиц представляют собой результат косвенной номинации); 2) лексические единицы из диалектов: *омуль (омиль, омоль)*; 3) заимствования из других литературных языков. В процессе терминологизации эти единицы приобретают прямое значение и включаются в состав определенной терминосистемы.

Из различных слоев лексики ЯСЦ в число терминов переходят: 1) элементы общенаучной (общетехнической) лексики: *система, анализ, мера*; 2) элементы профессиональной лексики (профессионализмы), профессионального просторечия и жаргонов: *дикорос* (растение, скрещиваемое с культурным); *отпад* (деревья, отмершие в результате естественного изреживания древостоя) (ГОСТ 18486-73 «Лесоводство. Термины и определения»), *запелски, продир* (ГОСТ 21014-75 «Листы и ленты. Дефекты поверхности и формы. Термины и определения»). При всех трудностях различия специальной лексики и жаргонов можно сказать, что жаргонизмы в рамках ЯСЦ характеризуются отступлениями от словообразовательной нормы литературного языка: *отпад, продир*; 3) заимствования терминов из других терминосистем (межсистемное заимствование): *резонанс* (термин акустики, используемый в ядерной физике), *кластер* (термин, возникший в 30-е гг. XX в. в статистической механике неидеальных газов и заимствованный позднее в терминосистемы химии, астрономии, физики, биологии, социологии, общей теории систем и др.); термины, полученные в результате межсистемного заимствования, первоначально имеют метафорическое значение, которое впоследствии устраняется: в результате вторичной терминологизации термин начинает прямо соотноситься с обозначаемым понятием в рамках новой для него терминосистемы; 4) номенклатурные единицы: *юпитер* (первоначально фирменное название лампы «Юпитер»); 5) собственные имена: *ом* (от фамилии физика Г. С. Ома); 6) заимствования из других естественных языков с одновременной терминологизацией в языке-реципиенте: франц. *la coquille* «раковина, скорлупа» — русск. *кокиль*; 7) интернационализмы (как правило, уже используемые в функции терминов в других языках): *география, мотор* <sup>6</sup>.

В процессе конструирования терминов применяются следующие способы: 1) аффиксация: *апатит* (греч. *ἄπατη* «обман», т. к. апатит вначале часто принимали за другие минералы + *ит*), *хибинскит* (*Хибинские горы* + *ит*); *предплечье*; 2) словосложение: *плоскоголов* (рыба), *многоугольник*; 3) образование словосочетаний: *ядерный резонанс, угол преломления, трубка-колба* (ГОСТ 15049-74 «Лампы электрические. Термины и определения»); в этих словосочетаниях одно или все слова могут быть

<sup>6</sup> Вопреки распространенному мнению, семантические способы терминологизации не теряют в современную эпоху продуктивности. Меняется лишь характер реализации этих способов: если в XVII—XVIII вв. широко использовался переход единиц из специальной сферы в специальную (*головка, желудок*), то сейчас распространены заимствование терминов из одной терминосистемы в другую (вторичная терминологизация) и взаимный обмен между узкоспециальными терминами и общенаучной (общетехнической) лексикой ЯСЦ: *банк* (фин.) — *банк* (информатика) — *банк* (общенаучный термин).

специфическими элементами терминсистемы либо неспециальными лексическими единицами, используемыми здесь на основе косвенной номинации (так, в термине *ацетилсалициловая кислота* элемент *ацет-* — от лат. *acetum* «уксус», *-ил* и *-овая* — специфические химические суффиксы, *салиц* — от лат. *salix* «ива», *кислота* — общепотребительное слово русского языка, получившее функцию термина; такое сочетание элементов очень типично в ЯСЦ); 4) создание гибридо терминов, т. е. терминов, включающих заимствованный из другого языка или интернациональный и исконный элементы, которые соединяются в процессе образования термина в языке-реципиенте [39]: *теглофикация*, *жосмоидение*; 5) псевдозаимствование, т. е. образование терминов в языке-реципиенте из заимствованных или интернациональных элементов: *комплектация*, *дирижер*.

«Надстраивание» признаков термина в лексических единицах ЯСЦ происходит в виде своеобразного процесса, присущего именно этим языкам, создаваемым, в отличие от языка повседневного общения, на основе принципа сознательного отбора единиц. Речь идет о так называемом периоде первоначального наименования (обозначения) специальных понятий [40, с. 139, 141]. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что время, в течение которого применяется первоначальное наименование, может быть достаточно большим; это именно период, а не момент. Для обозначений специальных понятий в этот период характерны определенные содержательные и формальные признаки. Если речь идет о термине, который является с самого начала как член уже существующей терминсистемы, то в его содержательной и формальной структуре имеются наименования признаков, сходные с уже названными или отличные от них: *автомобиль* — затем *грузовой автомобиль* — затем *бортовой грузовой автомобиль*; *раит*, *келдышит* (минералы). Когда отличительный признак понятия не известен, малоизвестен или плохо объясним, название ему присваивается на основе достаточно отдаленной, внешней ассоциации с ранее известным понятием: «*странные*» *частицы*, «*очарованные*» *частицы* (в физике). Эти метафорические обозначения характерны для начального периода развития некоторой теории [41, с. 75—82], когда и терминсистемы еще нет. Другим типичным способом первоначального наименования, когда не установлено, какие признаки существенны для нового объекта (понятия), являются протяженные обозначения, в которых перечислены многие признаки: *индуктивное сопротивление обратной последовательности напряжения якоря синхронной машины* (ГОСТ 17154-71 «Машины электрические вращающиеся. Характеристики, расчетные параметры и режимы работы. Термины и определения». — Термин 84). Если быть точным, то следует назвать эти лексические единицы не терминами, а предтерминами. Практика показывает, что попытки включить в содержательную структуру термина названия всех существенных признаков соответствующего понятия, как это рекомендуется пособием [2, с. 29—30], приводят к чрезмерному удлинению термина. На деле оптимальная структура термина включает наименование предмета и его отличительного признака либо наименование только первого или второго, если они не совпадают с характеристиками других объектов и, следовательно, не вызывают неясностей. Для анализа содержательной структуры термина или предтермина важно выяснить, какова мотивированность данной лексической единицы. На этапе первоначального наименования понятие часто обозначается не по собственному признаку, а по сходству с уже известными или как отрицание этого сходства. Так, радиосвязь первоначально называлась *беспроволочный телеграф* (в противоположность проводной связи). Мотивацией для присвоения названия в этот период может послужить факт незнания признаков понятия. В. Рентген назвал открытые им лучи *X-лучами*. Как уже было сказано, для формальной структуры предтермина часто характерна значительная протяженность.

Наблюдаются следующие основные пути перехода от предтермина к термину, от периода первоначального наименования к периоду утверждения термина в языке: 1) замена обозначения, когда выясняется ложная мотивированность термина (*дуло* винтовки → *ствол* винтовки) или уста-

навливаются его признаки (*беспроволочный телеграф* → *радиосвязь*); 2) устранение малоинформативных элементов (*инфракрасный спектрометр с регистрацией спектра методом преобразований Фурье* → *Фурье-спектрометр*); 3) создание и внедрение сокращенного варианта при сохранении (потенциально) предтермина (*электроннообменные вещества* → *электроннообменники*, *помесь белуги со стерлядью* → *бестер*, *гипнотический сон* → *гипносон*); 4) закрепление предтермина с переходом его в категорию терминов (*«странная» частица*; *«черная дыра»* — в астрономии).

Рассматривая источники терминов и особенности периода первоначального наименования как этапа терминологизации, можно, таким образом, проследить пути превращения нетермина в термин, переход от лексической единицы языка (единицы языкового субстрата термина) к лексической единице ЯСЦ, т. е. собственно к термину. Как мы видели, при этом лексическая единица приобретает ряд признаков содержательного, формального и функционального плана и одновременно теряет некоторые признаки<sup>7</sup>.

Если суммировать все, что характерно для термина как лексической единицы ЯСЦ, то можно сказать следующее. С точки зрения семантики термин представляет собой обозначение общего специального понятия определенной области знаний и деятельности. Являясь членом терминосистемы, термин обладает признаком содержательной системности, иначе говоря, по своему значению термин тесно связан со всеми другими членами терминосистемы — как обозначение видового понятия по отношению к родовому, как обозначение результата действия по отношению к действию и т. п. С точки зрения способа обозначения термины, базируясь на лексических единицах, которые могут считаться немотивированными в общеязыковом плане, становятся мотивированными этими лексическими единицами: *вода*, *ромб*. Эта вторичность мотивации делает мотивированными, объясненными практически все термины. С точки зрения формальной структуры термины, с одной стороны, как было показано, не отличаются от любых лексических единиц (слов и словосочетаний) соответствующего естественного языка; с другой стороны, в последнее время в рамках ЯСЦ начинают появляться зачатки таких способов создания слов и словосочетаний, которые присущи только лексике ЯСЦ, в том числе терминам. Это, например, упомянутые выше символ-слова (*V-клапан*), цепочечные образования (система *хребет-хребет-хребет* в геологической терминологии), словоподобные аббревиатуры [31, с. 131] типа *бестер* и некоторые другие. Только для терминов характерны составляющие их единицы — терминологические элементы, описанные впервые Д. С. Лотте [1, с. 15, 88], а затем В. П. Даниленко [31, с. 107] и другими исследователями; типовые, часто повторяющиеся во множестве лексических единиц терминологические элементы, отмеченные еще Э. А. Дрезеном, *milli-*, *micro-*, *-um* [43, с. 86—96] и постоянно появляющиеся в каждую новую эпоху (*-ход*, *-провод*), составляют фонд модулей национального и международного характера. Наконец, с точки зрения функциональной структуры термин выполняет все функции, которые присущи любой лексической единице. К ним добавляется эвристическая функция, характерная для элементов разных уровней ЯСЦ. Встает вопрос: выполняет ли термин требования, которые предъявляются к нему традиционным нормативным подходом? Вероятно, выполняет в той мере, в какой эти требования соответствуют нормам, действующим в ЯСЦ, но не выполняет те требования, которые приписываются термину как якобы особому слову (отсутствие синонимов, максимальная краткость, стилистическая нейтральность и др.).

<sup>7</sup> Не следует забывать, что у термина сохраняется способность к детерминологизации, т. е. к возвращению в неспециальную сферу [*орбита* («на орбитах сотрудничества»); *флюиды* («флюиды дружельбия»)]. Этим широко пользуется публицистический стиль, занимающий «среднее» положение в ряду других стилей [42, с. 84—86]. При детерминологизации к лексической единице возвращаются все ее содержательные и формальные признаки, которых она была лишена полностью или частично: возможная распливчатость значения, метафоричность, связь с другими значениями, носящими ветеринарнологический характер, наличие частичных синонимов, способность образовывать производные, не нужные терминосистеме, и др.

Все эти факты позволяют сказать, что переход от лексической единицы языкового субстрата к лексической единице ЯСЦ, в частности к термину, означает ее переход в новое качество. Не исключено, что в конечном счете лексический состав ЯСЦ будет существенно отличаться по семантике и по форме от лексического состава определенного естественного языка, на базе которого он возник, что в ЯСЦ элементы искусственные возобладают над естественными. Но на сегодня такие тенденции выражены достаточно слабо. Термин во всяком случае сохраняет основные признаки лексической единицы определенного естественного языка, а его специфические (хотя и необходимые) признаки вырастают на основе субстратных. Это позволяет примирить в известной мере понимание термина Д. С. Лотте и Г. О. Винокуром, сгладить различие нормативного и дескриптивного подхода к термину.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. М., 1961.
2. Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии. М., 1979.
3. Методика стандартизации научно-технической терминологии. РД 14-74. М., 1975.
4. Методические указания. Разработка стандартов на термины и определения. РД 50-14-83. М., 1984.
5. Сифоров В. И., Кандаки Т. Л. Методологические аспекты терминологической работы Комитета научно-технической терминологии АН СССР.— ВЯ, 1983, № 2.
6. Герд А. С. Терминологический словарь среди других типов словарей.— В кн.: Современная русская лексикография, 1980. Л., 1981.
7. Кузькин Н. П. К вопросу о сущности термина.— Вестник ЛГУ, 1962, сер. история, языка и литературы, вып. 4.
8. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии.— Тр. Московского института истории, философии и литературы, 1939, т. V.
9. Козлова Г. В. Полисемия научно-технического термина (на материале современного английского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1980.
10. Изергина Н. А. Синонимия в современной английской терминологии электроники: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1980.
11. Кобрин Р. Ю. О принципах терминологической работы при создании тезаурусов для информационно-поисковых систем.— НТИ, сер. 2, 1979, № 6.
12. Шелов С. Д. О языковой природе термина.— НТИ, сер. 2, 1982, № 9.
13. Котелова Н. Э. К вопросу о специфике термина.— В кн.: Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 1970.
14. Пекарская Л. А. Реализация требований к «идеальному» термину в процессе речевого функционирования терминологии.— В кн.: Термин и слово. Горький, 1981.
15. Научный симпозиум «Место терминологии в системе современных наук»: Тезисы докладов и сообщений. 24—27 дек. 1969 г. М., 1969.
16. Моисеев А. И. О языковой природе термина.— В кн.: Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 1970.
17. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. М., 1959.
18. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы языка.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1967. М., 1968.
19. Петушков В. П. Терминоведение и лингвистика.— В кн.: Терминология и норма. О языке терминологических стандартов. М., 1972.
20. Лейчик В. М. Место терминологии в системе современных наук (К постановке вопроса).— НТИ, сер. 1, 1969, № 8.
21. Wäster E. Die allgemeine Terminologielehre.— In: Association Internationale de la linguistique appliquée. 3-rd International Congress of applied linguistics. Congress Abstracts. Copenhagen, 1972.
22. Кедрос В. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 2-е изд. М., 1967.
23. Hoffmann L. Terminology and LSP.— In: Infoterm Series 7. Terminologies for the Eighties. With a special section: 10 years of Infoterm. München — New — York — London — Paris, 1982.
24. Drozd L., Seibicke W. Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache: Bestandaufnahme— Theorie — Geschichte. Wiesbaden, 1973.
25. Шилова Г. С. Составные лингвистические термины в русском, английском и немецком языках.— В кн.: Термины в языке и речи. Горький, 1984.
26. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
27. Говердовский В. И. Опыт функционально-типологического описания коннотации: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1971.
28. Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977.
29. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
30. Гак В. Г., Лейчик В. М. Субституция терминов в синтагматическом аспекте.— В кн.: Терминология и культура речи. М., 1981.

31. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М., 1977.
32. Sager I. C., Dungworth D., MacDonald P. F. English special languages. Principles and practice in science and technology. Wiesbaden, 1980.
33. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Berlin, 1976.
34. Cresson B. Introduction au français économique. Paris, 1983.
35. Котов Р. Г. Язык в реальной коммуникации как объект прикладной лингвистики. — В кн.: Международный форум по информации и документации, 1984, т. 9, № 4.
36. Степанов Г. В. Современная научно-техническая терминология на языках народов СССР и за рубежом. — В кн.: Проблемы разработки и упорядочения терминологии в академиях союзных республик. М., 1983.
37. Интернациональные элементы в лексике и терминологии. Харьков, 1980.
38. Линдберг Г. У., Герд А. С. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран. Л., 1972.
39. Скуция В. П. Гибридотермины технических наук в латышском языке и их соответствия в русском языке. — В кн.: Контакты латышского языка. Рига, 1977.
40. Келтулла В. В. О смысловых несовпадениях в интернациональной лексике немецкого и русского языков. — В кн.: Лингвометодические основы преподавания иностранных языков. М., 1979.
41. Петров В. В. Семантика научных терминов. Новосибирск, 1982.
42. Проблемы типологии текста. М., 1984.
43. Дрезген Э. К. Интернационализация научно-технической терминологии. История, современное положение и перспективы. М., 1936.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ВОЛЬФ Е. М.

ОЦЕНОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ  
«ХОРОШО/ПЛОХО»

Система оценочных значений основана на двух основных признаках — «хорошо» и «плохо» [положительная/отрицательная оценка, + (знак плюс)/ — (знак минус)], которые представляются неразрывно связанными. В самом деле, мы спрашиваем: *Что такое хорошо и что такое плохо? Хорошо это или плохо?* или утверждаем, что нечто лучше или хуже и т. п. Противопоставленность этих признаков друг другу кажется сама собой разумеющейся; ср.: *хорошая погода/плохая погода, хороший ученик/плохой ученик, хороший поступок/плохой поступок, хорошо, что ты сказал ему об этом/плохо, что ты сказал ему об этом, он хорошо/плохо работает* и т. п. Такого рода парных сочетаний или целых высказываний можно привести много. Однако есть и случаи, когда способы обозначения хорошего и плохого в языке неизоморфны, а употребление соответствующих единиц не обнаруживает симметрии. Так, можно сказать: *Хорошо бы было, чтобы ты написал об этом статью*, но \**Плохо бы было, чтобы ты написал об этом статью*; *Лучше бы ты помолчал*, но \**Хуже бы ты помолчал*; *Его доклад крайне плох*, но \**Его доклад крайне хорош*; *Ты прекрасно (хорошо) знаешь, что надо приходить вовремя*, но \**Ты плохо знаешь, что надо приходить вовремя*. Эти примеры показывают, что по употреблению *хорошо* и *плохо* не образуют двух полей, «белого» и «черного», которые накладываются друг на друга. Система оценки не полностью симметрична, во многих ее фрагментах наблюдаются несоответствия, причем природа этих несоответствий позволяет поставить ряд специальных вопросов, касающихся структуры оценочных обозначений в их соотношении друг с другом.

I

Оценочные смыслы «хорошо/плохо» располагаются по шкале оценок, на которой есть зоны положительного и отрицательного. Между ними лежит зона нейтрального, где признаки «хорошо/плохо» находятся в известном равновесии. Позиция «хорошо» является исходной при оценке. Не случайно, в работах по этике исследуется в первую очередь семантика «добра», так как этические предписания связаны прежде всего с «добром», а связанные со «злом» запреты трактуются как производные от предписаний. Семантика «добра» рассматривается также в первую очередь и в работах, посвященных словам с оценочным значением [1, 2]. И здесь надо подчеркнуть важнейшее свойство оценки. Оценка предполагает ориентацию на норму и на оценочные стереотипы, т. е. на социальное представление о том, что такое хорошо и плохо для данного объекта. Так, высказывания *Его сын хорошо учится, У нас хороший номер в гостинице* понятны представителям данного социума, так как каждый из них имеет представление о том, что значит «хорошо учиться», что такое «хороший номер»: это объекты, или ситуации, отвечающие некоторым требованиям, которые предъявляет к ним социум и которые предполагает говорящий. Ср.: *Ей дали хороший номер, а она все недовольна* — в этом случае индивидуум предъявляет требования, отличные от требований социума и принадлежащего к нему говорящего.

В языке есть большой слой лексики, ориентированный на нормативное представление о мире. Существуют, например, глаголы, в пропозициональную структуру которых входит представление о норме; так, глаголы *портить, нарушать, ломать* и др. обозначают «выводить из нормального состояния»; глаголы *чинить, восстанавливать, поправлять* обозначают «возвращать к нормальному состоянию» (см. [3]). Таким образом, представление о норме заложено не только в прагматике языка, но и в его семантике; ср.: *Мы стремимся поправить это ненормальное положение*, где *поправить* включает семы «отступать от нормы в сторону плохо» и «изменить к лучшему», а *ненормальный* означает «хуже, чем норма».

Представление о норме, о стереотипных классах объектов, обладающих требуемым набором признаков, отражается в такой серии прилагательных, как *обычный, обыкновенный, нормальный, типовой, штатный* (ср. *штатная ситуация*) и др. Отклонение от нормы показывает ряд: *необыкновенный, выдающийся, замечательный, отличный, уникальный*. Эти слова сдвинуты в сторону +: если они сочетаются с именами которые сами по себе не несут оценочных сем, то они имеют знак +: *Он необыкновенный, замечательный, уникальный музыкант*. Ср., однако: *Он необыкновенный, замечательный уникальный талант* и *Он необыкновенный, замечательный, уникальный тупица* — здесь прилагательное лишь усиливает присущую имени оценочную сему, как +, так и —. Имеются и оценочные слова, которые группируются вокруг понятия «среднего», указывая на нейтральную зону на шкале. Эти слова легко сдвигаются в сторону «плохого»: *средний, посредственный, заурядный, ординарный, дюжинный, ни то, ни сё* и т. п.

Как можно видеть, оценочная шкала не любит положения равновесия, в самом ее устройстве заключена асимметрия: норма и среднее не совпадают, норма сдвинута к положительной части шкалы. На эту особенность оценки обратил в свое время внимание М. Бирвиш, предложивший ввести в компонентный анализ специальный элемент [Pol]: так, [+Pol] показывает, что для слов *хороший, красивый, здоровый* и т. п. норма сдвинута к положительной части шкалы [4]. Таким образом, хорошее состояние вещей может рассматриваться как соответствующее норме, плохое — как отклонение от нее. Это особенно заметно в глагольных конструкциях; ср.: *Как тебе работается? Хорошо, нормально, обыкновенно; Как вы себя чувствуете? Хорошо, нормально. Плохо* же всегда означает отклонение от нормы: *Как вам работается? Плохо; Как вы себя чувствуете? Плохо, \*нормально*. Ср. также синонимию *хорошо, хорошенько* и *как следует: Посмотри хорошенько, посмотри как следует*, разг. *сядь хорошо, как следует*.

Связь с нормой обнаруживается в сочетаниях с глаголами, где «хорошо» усиливает семы, указывающие на нормативное положение вещей. Так, в глаголах умения усиливается сема «уметь». Ср.: *Маша хорошо умеет водить машину* и *Маша умеет водить машину* — эти фразы близки по смыслу и могут иметь общее продолжение: *с ней не страшно ездить*. Но: *Петя плохо умеет водить машину* ближе к отрицательному высказыванию *Петя не умеет водить машину*, ср. возможное продолжение: *с ним лучше не ездить*. Ср. также: *Он разбирается в этом деле; Он хорошо разбирается в этом деле* (хорошо здесь, как и в предыдущем примере, служит интенсификатором); *Он плохо разбирается в этом деле* ближе к *Он не разбирается в этом деле*. Опушение хорошо лишь снимает интенсификацию, смысл высказываний остается прежним, устранение *плохо* искажает смысл, меняя его почти на противоположный; ср.: *Он плохо разбирается в этом деле* и *Он разбирается в этом деле*. Таким образом, противопоставление «хорошо»/«плохо» при некоторых видах глаголов (*уметь, знать* и др.) сближается с противопоставлением утверждения и отрицания. Ср. еще пример: *Вася хорошо подготовился к экзамену*, это утверждение близко по смыслу к *Вася подготовился к экзамену*, а *Вася плохо подготовился к экзамену* — скорее ближе к *Вася не подготовился к экзамену*. Соответственно в первом случае наречие можно устранить с сохранением общего смысла текста (см. [5]); ср.: *Вася хорошо подготовился к экзамену* и

сдал его на отлично и *Вася* подготовился к экзамену и сдал его на отлично; *Вася* плохо подготовился к экзамену и получил двойку, но \**Вася* подготовился к экзамену и получил двойку. Устранение плохо в утвердительном высказывании меняет его смысл на противоположный, и для сохранения смысла контекста необходимо ввести отрицание: *Вася не подготовился к экзамену и получил двойку*.

В описанных случаях *хорошо/плохо* выражают не собственно оценочный смысл («одобрять/не одобрять», «нравиться/не нравиться»), а отношение к норме и оценочным стереотипам. Связь с нормой отражается также в употреблении слов, обозначающих отклонение от нее: *слишком, чересчур, чрезмерно* и т. п., причем оказывается, что и при положительной, и при отрицательной оценке эти слова обозначают сдвиг в сторону «плохо». Иными словами, знак + в этих случаях меняется на —, а при знаке — эти слова служат интенсификаторами: *Он слишком аккуратен* и *Он слишком неаккуратен* — и то, и другое плохо.

Асимметрия оценки усиливается, если оценочная шкала рассматривается не в статике, допускающей прямое противопоставление *хорошо/плохо*: *хороший/плохой человек, хорошо/плохо работать*, а в динамике. Движение по оценочной шкале происходит по разным параметрам. В его основе лежит сочетание социального и индивидуального, стереотипных представлений о ценностной картине мира и субъективного отношения индивидуума к соответствующему объекту, основанного на представлениях о приятном/неприятном, о том, что нравится/не нравится и т. п. Естественно, индивидуальная позиция субъекта оценки очень подвижна, так как она определяется многими частными обстоятельствами. Субъективный фактор является основой аффективных оценок. Оценки типа *великолепный, потрясающий, замечательный*, относящиеся к зоне +, и *дрянной, скверный, ужасный*, относящиеся к зоне —, не противопоставлены непосредственно друг другу. Это отражается прежде всего в том, что они не допускают классификации. Предметы и события не делятся на великолепные и не великолепные, скверные и не скверные. Любопытно, что некоторые аффективные слова нейтрализуют знаки +/—: *потрясающее событие* может быть и хорошим, и плохим; ср. также возможную сочетаемость *потрясающий* как интенсификатора со словами, имеющими оценочную сему + или —: *потрясающий умница* и *потрясающий дурак*. Аффективные слова в сочетании со словами, которые не содержат сами по себе оценочных сем, обозначают оценку со знаком +: *Он потрясающий учитель*. В экспрессивных высказываниях, где аффективность является основным семантическим свойством, возможна инверсия оценочного знака от плюса к минусу: *Хорош мальчик! В хорошенькую историю мы попали!*

Теми же свойствами, что и аффективные конструкции, обладают структуры интенсификации, которые, впрочем, часто включают аффективность как один из элементов. Интенсификация отражает движение оценки по шкале в сторону + и в сторону —; ср.: *талантливый, очень талантливый, необыкновенно талантливый* и т. п. (в зоне +) и *плохой, очень плохой, исключительно плохой* (в зоне —). Интенсификация, как и аффективность, препятствует классификации. Так, предметы и события могут делиться на плохие и хорошие, но вряд ли они делятся на очень плохие и очень хорошие.

Еще заметнее несоответствие зоны + и зоны — там, где идет речь о пределах признака. Положительные признаки во многих случаях трактуются как беспредельные, а отрицательные как предельные. Ср. ограничения на сочетаемость со словами *крайне, совершенно, абсолютно*: *Он крайне глуп* и \**Он крайне умен; Он совершенно бестолков* и \**Он совершенно толков; Он совершенный бездельник* и \**Он совершенный трудяга; Он абсолютный болван* и \**Он абсолютный умница*. Отрицательная часть шкалы подразумевает скорее всего не предел отрицательного, не присутствие глушости, бестолковости и т. п., а абсолютный нуль, отсутствие положительного признака (ума, трудолюбия и т. п.) Положительный признак здесь является как бы точкой отсчета. Наречия крайней степени могут отрицать и отношение к норме, ср: *Он совершенно здоров* и (?) *Он совершен-*

но болен. Более естественно высказывание с указанием на норму (*здоров*), чем с отклонением от нее (*болен*).

Сдвиги, о которых шла речь выше, носят модальный характер. В них сталкивается модальность оценки и аффективность как разновидность субъективных модальностей. Соответствие + и — нарушается, по-видимому, при всех взаимодействиях, где участвуют неассерторические модальности, (ср. [6]).

Как известно, оценка сочетается с другими модальностями, часто включаясь в них как обязательный элемент структуры. Так, модальность желания содержит оценочный знак плюс (+), модальность угрозы — минус (—), модальность надежды — плюс (+), модальность предостережения — минус (—) и т. п. Знак + или знак — в различных модальностях предполагают отношение к субъекту или к адресату. Так, желание содержит знак + по отношению к субъекту желая: то, что я хочу, я считаю хорошим; угроза содержит знак — для адресата: *Я тебе покажу!*; предостережение предполагает знак — для адресата с точки зрения говорящего: *Не влезай — убьют!* (влезать плохо для адресата); совет всегда предполагает знак + для адресата с точки зрения субъекта: *Я советую тебе посмотреть этот фильм.*

Ограничения на знак оценки в разных модальностях проявляются, в частности, в сочетаниях с предикатами, которые включают модальный компонент, требующий согласования по знаку. Так, *Я рад сообщить вам* предполагает сообщение со знаком +, а *Я вынужден сообщить вам* — со знаком —; *Я должен предупредить вас* — сообщение со знаком —. Поэтому нельзя сказать: \**Я вынужден сообщить вам приятное известие*. Эта фраза возможна лишь в ироническом смысле. Высказывание *Я рад сообщить вам, что у вас дома беда* также содержит иронию [7].

Несоответствие знаков + и — очевидным образом проявляется в косвенных речевых актах, где оценка также взаимодействует с другими модальностями: ср.: *Хорошо было бы, чтобы он принял участие в этой работе* (косвенный акт пожелания), но \**Плохо было бы, чтобы он принял участие в этой работе*. Ср., однако, *Было бы плохо, если бы он принял участие в этой работе*. В этом примере модус имеет собственно оценочный смысл, а зависимая пропозиция соотносена с фактивной: но он не принял участия. Ср. также: *Лучше бы ты ушел*, но не \**Хуже бы ты ушел* (см. [8]). Если в зависимой пропозиции есть отрицание, то возникают косвенные речевые акты предостережения — *Лучше всего его не беспокоить*, но не \**Хуже всего его не беспокоить*; *Лучше не входить*, но не \**Хуже не входить*. Как можно видеть, оценка «плохо» в косвенных речевых актах такого рода не используется.

Другой вид косвенных речевых актов, с вопросом, ориентирован только на знак —. Это речевые акты упрека: *Какой дурак это сделал?* и \**Какой умница это сделал?* Последняя фраза возможна лишь как ироническая, т. е. со сменой знака: *умница* приобретает знак —. Ср. также: *Какой осел это нарисовал?* В такого рода речевых актах оценочное имя с семой «плохо» предопределяет их косвенный смысл. Но ср.: *Какой художник это нарисовал?* Это прямой речевой акт (см. [9]). Восклицательные высказывания со словом *какой* имеют разный смысл в зависимости от оценки + или —: *Какой замечательный художник написал эту картину!* — одобрение, восхищение; *Какой бездарный художник написал эту картину!* — возмущение, неодобрение. Отметим, что соответствующее по форме вопросительное предложение (со сменой интонации) является прямым вопросом и относится к референту. Оценочное слово в нем входит в презумпцию и может быть опущено: *Какой замечательный (бездарный) художник написал эту картину? Это Н. Н.* (см. [10]).

Как можно видеть, при взаимодействии оценки с другими модальностями меняется оценочная ситуация в различных «возможных мирах». Оценочное обозначение относится чаще всего не к положению вещей в реальном мире, а к одному из «возможных миров», желательному или нежелательному, содержащему надежду, намерение и т. п.; иными словами, предполагающему неассерторическую модальность. При этом оценка

«плохо» гораздо теснее привязана к имеющемуся положению вещей, чем оценка «хорошо». Если «плохо» является модальным оператором, то он, как правило, подразумевает фактивность пропозиции. Таким образом, пропозиция, которая вводится союзом *чтобы*, обозначает содержание пожелания и сочетается только с «хорошо». Ср.: *Хорошо, чтобы ты пришел*, но не \**Плохо, чтобы ты пришел*; при фактивной пропозиции с *что* можно и *Хорошо, что ты пришел* и *Плохо, что ты пришел*. Заметим, что косвенные речевые акты со знаком — типа *Какой негодяй это сделал?* также предполагают фактивность пропозиции, находящейся в презумпции высказывания.

## II

Встает вопрос о том, как распределяются в языке и в речи обозначения со знаком «хорошо» и «плохо», каков «баланс» этих средств? Эта проблема почти не исследована. Имеются, однако, предположения, что обозначения плохого более дифференцированы, чем обозначения хорошего: иными словами, в языке существуют более разнообразные средства для детальной классификации плохих поступков, чем хороших, плохих черт характера, чем хороших и т. п. Такая гипотеза опирается на представления когнитивной психологии, в соответствии с которыми знания, связанные с неприятными для человека отрицательными эмоциями, болевыми ощущениями, опасностью и т. п., более дифференцированы, чем знания, имеющие положительные коннотации. Как считают психологи, человек более детально различает то, что вызывает у него дискомфорт, дифференцирует неприятные эмоции тоньше, чем приятные. Ассоциативные эксперименты показали, что слова с отрицательными семантиками объединяются в более дифференцированные подклассы, чем слова с положительными семантиками. Так, в одном из экспериментов прилагательные, обозначающие хорошие поступки, образовали один подкласс, в то время как прилагательные отрицательной оценки образовали ряд подклассов, с более подробной детализацией поступков — в первую очередь, по признакам «отрицательные свойства души»: *жестокий, злобный* и т. п. и «отрицательные свойства ума»: *лживый, коварный, корыстный* и т. п. [11]. Дифференцированное отношение к зоне плохого отражается и в оценочных контекстах, например, в таких, где появляются мотивировки; ср.: *Как ты поживаешь? Хорошо.* — диалог не требует продолжения; но *Как ты поживаешь? Плохо. А что?* — здесь скорее последует вопрос о мотивировках (см. [12]). Высказывание положительной оценки часто отражает лишь отношение говорящего к объекту, высказывание отрицательной оценки скорее предполагает необходимость дальнейших действий.

Разумеется, положительная или отрицательная направленность текста зависит от его содержания и не может использоваться для общих выводов о роли оценки. Тем не менее есть данные, показывающие, что при употреблении оценочных выражений имеется общая тенденция, направленная в сторону добра, что в паре «хорошо/плохо», *хорошо* является базисным, исходным (ср. [13]). На основе экспериментальных данных психолингвистами Дж. Буше и Ч. Осгудом была предложена гипотеза, которую они назвали «гипотезой Поллианны», по имени героини популярного в начале нашего века романа Э. Портер «Поллианна» (E. H. Porter. Pollyanna. Boston, 1912).

Гипотеза гласит, что в естественных языках существует универсальная тенденция употреблять оценочные (evaluative) слова позитивного характера [E+] чаще, разнообразнее и с большей легкостью, чем оценочные слова негативного характера [E-]. Иначе говоря, люди стараются видеть в первую очередь светлые стороны жизни и говорить о них же [14]. На основе общей гипотезы выдвигается и ряд более частных; так, предполагается, что словарь включает больше единиц типа [E+], чем [E-]. Это как будто противоречит сказанному выше о более дифференцированном обозначении «зла», чем «добра», однако эта гипотеза предполагает общее количество оценочных обозначений, а не их семантическое разнообразие. Слова [E+] употребляются чаще, чем [E-] при прочих равных условиях, сло-

ва [Е+] раньше появляются в речи детей, чем соответствующие слова [Е—]; слова [Е+] легче запоминаются и вызываются в памяти, чем слова [Е—], у слов [Е+] ниже порог узнаваемости и др. Часть этих положений подтверждена экспериментально. Но есть и другие данные, противоречащие полностью или частично приведенным выше (см. [15]). В этой связи интересно обратиться к сведениям, которые дают частотные словари. Так, в словаре французского языка [16] *bien* «хорошо» находится на 4-м порядковом месте, *bon* «хороший» — на 98-м, *beau* «красивый» — на 114-м, а *mauvais* «плохой» — лишь на 322-м, *mal* «плохо» — на 479-м. В частотном словаре английского языка [17] во всей выборке, использованной для словаря, *good* «хорошо» зафиксировано 5 343 раза, а *bad* «плохо» лишь 660 раз. Такой перепад частот объясняется, вероятно, не столько «гипотезой Поллианны», сколько разным положением оценочных слов *хорошо* и *плохо* в системе языка. Как уже говорилось, *хорошо* служит не только оценочным словом, но и указывает на норму, а также выполняет ряд других функций при модальных сдвигах, в то время как роли *плохо* значительно более ограничены (см. также [18, с. 151]). Этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

### III

Особую проблему для изучения соотношения «хорошо/плохо» составляет взаимодействие этих оценок в структуре текста. Как известно, положительные и отрицательные оценки могут комбинироваться в одном высказывании. На функционирование оценки в тексте влияет ряд общих особенностей речевого поведения, и в частности законы, по которым разворачивается аргументация. Аргументация — это ведущая идея, определяющая процесс коммуникации. Она подразумевает, что включенные в текст оценки должны сохранить ориентацию, т. е. не противоречить оценочным пресуппозициям, введенным в предыдущем контексте (см. [19]). Так, нельзя сказать: \**Он талантливый ученый, его работы лишены всякого смысла*. Ср. также: \**Он написал великолепную книгу, такую может написать любой дурак*; эстетическая оценка со знаком + подразумевает уникальность объекта, а вторая фраза этому противоречит, вводя оценку со знаком —. Ср. также пример: *Танцоры с подъемом выступали на сцене, демонстрируя горожанам доморожденные таланты*. Отрицательные коннотации, присутствующие в слове *доморожденные*, разрушают согласование по оценке, определенное предикатом *выступать с подъемом*. Ср. еще: *Все, как мухи, выздоравливают* (Н. В. Гоголь, *Ревизор*), где несогласование по оценке определяется отрицательными коннотациями выражения *как мухи (как мухи дознут)*.

Знак оценки определяет сочетаемость некоторых глаголов с дополнениями: *Я надеюсь (знак +) на его добросовестность*, но \**Я надеюсь на его недобросовестность* — высказывание возможно лишь в случае, если недобросовестность в данной ситуации имеет знак + для говорящего. Ср. также: *Я боюсь (знак —) ее хорошего отношения* (для меня оно плохо) (см. [20]).

Глагол *добиваться*, включающий семы желания и воли, подразумевает положительную оценку объекта — *добиваться победы, успеха*, глагол *потерпеть*, где действие осуществляется помимо или против воли субъекта, сочетается с именами отрицательной семантики: *потерпеть урон, поражение*. Ср. также глагол *избегать*, где присутствует волевой компонент, однако с отрицательной направленностью — этот глагол сочетается с именами отрицательной семантики. Ср.: *Они избежали поражения и добились победы*, но \**Они избежали победы и добились поражения*, такая фраза может иметь лишь иронический смысл.

Рассматривая оценочную ориентацию текста, следует учитывать не только фрагменты, содержащие оценочные слова, но и так называемые квазиоценочные высказывания (см. [21]), выражающие оценку в картине мира: *Мальчик упал и сломал ногу* — здесь описывается ситуация, плохая в ценностной картине мира, но: *Нога зажала и он стал бегать как прежде* — ситуация со знаком «хорошо». Отметим, что хорошие ситуации часто

соответствуют норме (*зажить*), а плохие — отклонению от нее (*сломать*). Ср. еще пример, где оценка выражается квазиоценочными фразами. *Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку ... Боже мой, какой суп, еще ни один человек в мире не едал такого супу. Какие-то перья плавают вместо масла* (Н. В. Гоголь, Ревизор). Последняя реплика подтверждает общий знак отрывка —.

Взаимодействие оценочных знаков в контексте определяется рядом закономерностей, основанных на взаимодействии собственно-оценочных и квазиоценочных высказываний. Так, например, глаголы, включающие смысл желания (т. е. знак +), не могут сочетаться с пропозициями, отрицательными для субъекта. Ср.: *Многое делается для достижения высокого конечного результата; Нам удалось добиться коренных перемен*: понятия «высокий конечный результат», «коренные перемены» в картине мира имеют знак +, обеспечивая смысловое согласование. Соответственно, при отрицательном модусе зависимая пропозиция имеет отрицательный смысл, даже если в ней нет оценочных слов: *Вызывает тревогу положение дел на стройке*: очевидно, что положение дел на стройке — плохое.

Существуют специальные средства для ориентации текста в пределах одной оценочной зоны или для ее изменения. Так, например, модальные слова нарастания и слова обобщения (например, *всё, словом* и др.) сохраняют знак оценки: *Он был тяжело болен* (знак —) *и ему становилось все хуже, но не \*ему становилось все лучше*; ср. также: *Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точь-в-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу: словом, нехорошо, совсем нехорошо* (Н. В. Гоголь, Мертвые души). Оценочная ориентация контекста может определяться обобщающей начальной фразой; следующие за ней описания частных ситуаций сохраняют тот же знак оценки: *То был прекрасный весенний день. Природа ликовала: воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами* (М. Е. Салтыков-Щедрин, История одного года).

Смена оценочного знака обозначается противительными союзами *а, но, и особенно зато*: *Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете, вы в церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются* (Н. В. Гоголь, Ревизор). В приведенном примере все реплики являются квазиоценочными, текст имеет оценочный смысл. Смена знака оценки обозначается союзами. Ср. еще пример: *За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал. Но брился ежедневно* (М. Булгаков, Театральный роман). Первая группа фраз означает отклонение от нормативной картины мира, знак —, фраза после *но* соотносена с нормой, знак +. Переход от знака — к знаку + показан противительным союзом *но*. Ср.: *\*И брился ежедневно*, здесь связность текста нарушается. Высказывания с определенным знаком + или —, в том числе и квазиоценочные, определяют оценочную ориентацию окружающего контекста. Приведем еще примеры: *Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий (+), но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода (—) — это тоже нехорошо\** (Н. В. Гоголь, Ревизор); *Оно, конечно, домашим хозяйством заводиться \*всякому позволяю, и почему ж сторожу и не завести его? (+) только, знаете, в таком месте неприлично... (—) (там же)*. В приведенных примерах противительные *но* после оценочных высказываний со знаком + определяют знак — дальнейшего текста. Заметим, что при взаимодействии собственно оценки и квазиоценки один и тот же или разные оценочные знаки накладываются друг на друга, что раскрывается при перефразировках: Ср.: 1) *Они получили хорошую квартиру* и 2) *Они получили плохую квартиру*. В первом случае положительная квазиоценочная ситуация «они получили квартиру» согласуется с положительной оценкой *хорошая*: *Они получили квартиру* и *Эта квартира хороша*. Во втором случае наблюдается рассогласование по оценке: то, что они получили квартиру — хорошо, но квартира — плохая. Отсюда разные перефразировки: *Они*

получили квартиру, и притом хорошую и Они получили квартиру, но плохую. Ср. неправильность обратных построений: \*Они получили квартиру, но хорошую, \*Они получили квартиру и притом плохую. Существует еще множество способов оценочной ориентации текста — сохранения знака или смены его — с использованием разных лексико-синтаксических средств. Все это позволяет говорить о существовании оценочной перспективы текста, которая предполагает определенные соотношения оценочных знаков + и — в зависимости от синтаксических и семантических элементов, следующих друг за другом. Так, в приведенных примерах оценочная перспектива определяется присутствием противительного союза, от которого зависит смена знака.

Оценочная перспектива имеется и в пределах одной пропозиции, если один из элементов — субъект или предикат — содержит оценочные коннотации. Субъект с оценочным значением предполагает согласование по оценке с предикатом: *Этот негодяй (—) нас опять обманул (—)*, но ср.: (?) *Этот прекрасный человек нас опять обманул* — фраза звучит иронически; *Хороший человек (+) всегда поможет другу (+) и (?) Плохой человек (—) всегда поможет другу (+)*. Знаки оценки зависят от картины мира данного социума, которая и определяет согласование или несогласование частей.

Соотношение знаков + и — определяется также закономерностями речевого общения. Как известно, в основе процесса коммуникации в естественных языках лежит «кооперативный принцип», включающий четыре основные максимы: количества («сообщай столько, сколько необходимо»), качества («сообщай то, что требуется»), отношения («говори по делу») и способа («выражайся ясно и понятно») (см. [22]). Однако, как показали многочисленные исследования по теории коммуникации и прагматике, эти максимы часто не соблюдаются, так как наряду с «кооперативным принципом» действует «принцип вежливости», часто более сильный, чем предыдущий, который требует при прочих равных ослаблять выражения невежливых, т. е. неблагоприятных для собеседника или 3-го лица мнений и усиливать выражение благоприятных мнений [18]. Целью «принципа вежливости» является социальное равновесие и дружеский психологический настрой говорящих. Как подчеркивает Дж. Лич, вежливость по сути своей асимметрична ([18, с. 107]; см. также [23]). «Принцип вежливости» включает так называемые «максимы такта», которые, в частности, гласят, что следует минимально выражать неодобрение по отношению к собеседнику или к 3-му лицу («максима одобрения»), 2) минимально выражать одобрение самого себя («максима скромности»); 3) сводить к минимуму несогласие между собой и собеседником («максима согласия»); 4) сводить к минимуму антипатию и к максимуму симпатию между собой и собеседником («максима симпатии»). «Максимы такта» в сильной степени определяют структуру высказываний, включающих оценку. Так, например, безапелляционно высказанные мнения отрицательного характера могут вызвать нежелательный перлокутивный эффект — обиду, нарочитое непонимание и т. п. Поэтому в высказываниях со знаком —, в том числе квазиоценочных, используются разнообразные способы снижения категоричности — кванторные слова, перформативы, наречие *еще*, глаголы мнения и др. Ср. ряд примеров: *Не открою Америки, если скажу, что именно таким людям гимнастика нужна позарез* (Правда, 1985, 8 апр.); *Однако образцы высокоосознанного отношения к труду, к социалистической собственности кое-где еще соседствуют с расслабленностью, безхозяйственностью* (там же); *К сожалению, пока еще не везде созданы необходимые условия, гарантирующие полную сохранность грузов* (Аргументы и факты. 1984, 20 окт.). Способы снижения категоричности образуют особую систему, которая может быть смоделирована, составляя грамматику для негативных, точнее, критических контекстов. Это — своеобразная «грамматика неприятных сообщений», которая сдвигает отрицательную оценку к нейтральной зоне, тем самым ее ослабляя.

На сообщения, включающие знак +, также воздействует прагматическая ситуация. Как известно, успешная коммуникация предполагает строгое соблюдение ролевых статусов говорящих, и в случае, если возник-

какт перифразы, например, «хорошо», «плохо», например, модальность совета, как уже говорилось выше, имеет знак +: говорящий считает, что то, что он советует, хорошо для адресата; при этом, однако, адресат может предположить, что говорящий лучше него знает, что для него хорошо, а что плохо, а это создает нежелательное ролевое неравенство. Для того, чтобы уравнивать ролевые статусы, используются различные модальные выражения вроде *Я не хочу тебе советовать, но...*; *Тебе лучше знать, но...*; *Я думаю, что тебе следует...*; *На твоём месте я бы...*; косвенные речевые акты: *Лучше бы...*; модус с отрицанием: *Я не советую тебе туда ходить* вм. *Я советую тебе туда не ходить* [24] и т. п. Все эти выражения служат для уравнивания ролевых статусов, для «сохранения лица» [25]. Таким образом, очевидно, что в прагматическом аспекте оценочные знаки + и — трактуются по-разному и их соотношения становятся не прямыми. Как можно видеть, оценочные значения в языке вступают во взаимодействие с самыми разными семантическими и прагматическими категориями, которые и определяют их роль в коммуникации и их соотношение друг с другом. Субъективный фактор и неассерторические модальности способствуют возникновению асимметрии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Katz J. J. Semantic theory and the meaning of «good». — Journal of philosophy, 1964, v. 61.
2. Vendler Z. The grammar of goodness. — In: Vendler Z. Linguistics in philosophy. Ithaca (N. Y.), 1967 (=Вендлер З. О слове good. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X, М., 1981).
3. Мартынова Л. Л. Семантико-синтаксическая характеристика пропозициональных структур с оценочным значением (На материале португальского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
4. Bierwisch M. Some semantic universals in German adjectivals. — Foundations of language, 1967, v. 3, № 1.
5. Петрова Г. В. Обязательность и факультативность оценочных наречий «хорошо/плохо» в глагольной группе. — В кн.: Структура и функционирование языка. М., 1981.
6. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М., 1985.
7. Thompson H., Wright J. Speaker alignment and embedded performatives. — In: Proceedings of the 1-st annual meeting of the Berkeley linguistic society. Berkeley, 1975.
8. Арутюнова Н. Д. Сравнительная оценка ситуаций. — ИАН СЛЯ, 1983, № 4.
9. Milner J.-C. De la syntaxe à l'interprétation. Quantités, insuites, exclamations. Paris, 1978.
10. Крейдлин Г. Е., Рахилина Е. В. Семантический анализ вопросно-ответных структур со словом «какой». — ИАН СЛЯ 1984, № 5.
11. Батяршин И. З., Шустер В. А. Структура семантического пространства словесных оценок поступков. — В кн.: Приципальные вопросы теории знаний. — Тр. по искусственному интеллекту. Тарту, 1984, с. 31.
12. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1982. М., 1984, с. 17.
13. Николаева Т. М. Качественные прилагательные и отражение «картины мира». — В кн.: Славянское и балканское языкознание. М., 1983.
14. Boucher J., Osgood Ch. E. The Pollyanna Hypothesis. — Journal of verbal learning and verbal behaviour, 1969, v. 8, № 1.
15. Anisfeld M., Lambert W. E. When are pleasant words learned faster than unpleasant words? — Journal of verbal learning and verbal behaviour, 1966, v. 5, № 2.
16. Juillard A. et al. Frequency dictionary of French words. The Hague — Paris, 1970.
17. Carroll J. B. Word frequency book. Boston, 1971.
18. Leech J. Principles of pragmatics. London — New York, 1983.
19. Ducrot O. Pragmatique linguistique. — In: Le langage en contexte. Etudes philosophiques et linguistiques de pragmatique. Ed. par Parret H. et al., Amsterdam, 1980.
20. Зализняк Анна А. Функциональная семантика предикатов внутреннего состояния (на материале французского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1985.
21. Вольф Е. М. О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семантике слова и высказывания. — ИАН СЛЯ, 1981, № 4.
22. Grice H. P. Logic and conversation. — In: Syntax and semantics, V. III ed. by Cole F., Morgan J. New York, 1975.
23. Арутюнова Н. Д., Падуцева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985, с. 27.
24. Любимов А. О. Средства выражения побуждения в современном португальском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
25. Goffman E. On face — work: an analysis of ritual elements in social interaction. — In: Communication in face to face interaction. Ed. J. Laver and S. Hutcheson. Harmondsworth (Midd'x). 1972.

ОРЕЛ В. Э.

## К ВОПРОСУ О РЕЛИКТАХ ИРАНСКОЙ ГИДРОНИМИИ В БАСЕЙНАХ ДНЕПРА, ДНЕСТРА И ЮЖНОГО БУГА

Поиски гидронимов иранского происхождения в бассейнах великих рек Восточной Европы, названия которых в большинстве своем получили истолкование из иранского уже в трудах А. И. Соболевского [1, 2], давно привлекали к себе внимание исследователей, и это не удивительно, так как проблема иранской гидронимии на этой территории неизменно оказывается прямо или косвенным образом связанной с многочисленными вопросами как чисто лингвистического, так и этногенетического порядка. Наиболее существенной здесь кажется проблематика этнических и языковых контактов иранцев (скифов и сарматов) со славянами, с балтами, а при более значительном удалении в прошлое — и с другими этническими группами, например, иллирийцами [3, с. 276—279; 4]. Изучение подобных контактов, разумеется, особенно интересно не в статике, а в динамическом развитии, и соотношение иранских и славянских гидронимов в Верхнем Поднепровье [5, с. 222—228] заслуживает внимания, помимо всего прочего, и потому, что вносит вклад в имеющиеся представления о славнизации этого ареала.

Основы научного этимологического обследования иранской гидронимии были заложены М. Фасмером, которому, в частности, принадлежит заслуга установления северных границ распространения иранцев в Южной России [6]. Дальнейший прогресс в этой области связан прежде всего с выдающейся по своему значению и масштабам работой В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева [5] и с ошутимо дополнившей последнюю монографией О. Н. Трубачева [3]. Эти ученые внесли принципиальные коррективы в выводы, сделанные М. Фасмером: в ряду полученных ими ценных результатов следует специально выделить открытие ареала ирано-балтийских контактов в бассейне реки Сейм, получившее убедительные подтверждения со стороны археологов [7—9]. Свой вклад в корпус иранских гидронимов Восточной Европы внесли и многие другие ученые, в том числе В. И. Абиев [10, 11], К. Мошинский [12], А. С. Стрижак [13], В. П. Шмидт [14]; в последнее время вопрос об иранской гидронимии рассматривался в обобщающем труде украинских гидронимистов [15].

Здесь представляется целесообразным, не претендуя на исчерпывающую полноту, привести перечень названий рек (за вычетом наиболее крупных), которые в настоящее время с большей или меньшей уверенностью рассматриваются как иранизмы: *Авсорок, Артополот, Амонь, Апажа, Апака, Асмонь, Ведрихан, Домоткань, Донец, Дортоба, Ир(к)а, Нава, Надра, Пансова, Прут/Пруд, Ропша, Рух(е)а, Самоткань, Свапа, Сев, Сейм, Сленород, Сула, Сура, Тор, Тускорь, Уда(й), Удае(а), Хан, Харти-слова, Хорол, Хоропуть, Цата*. Если обратиться теперь к территориальному распространению этих гидронимов, оно, в целом, может быть однозначно охарактеризовано как тяготеющее к Левобережью Днепра вплоть до бассейна Сейма, в то время как «Правобережная Украина, в широком смысле, оказывается свободной от иранских следов в гидронимии» [3, с. 276]. Принимая справедливость такого распределения, естественно ставить под сомнение и иранскую принадлежность названия Южного Буга, в целом неплохо аргументированную [1; 3, с. 276]. Вместе с тем археологические данные, в частности, свидетельства сарматских памятников по обе стороны Днепра [8, с. 93—96] не позволяют в данном случае полностью

довериться имеющимся материалам по иранской гидронимии и допускают хотя бы теоретическую возможность обнаружения иранских гидронимов также и на территории Правобережной Украины. Некоторые такие названия рек мы приводим ниже. Следует, однако, подчеркнуть, что в наши цели не входило только обследование названной выше зоны, и среди предлагаемых нами этимологий имеются и такие, которые относятся к левым притокам Днепра, так как задача, которую мы ставили перед собой, сводится к поиску гидронимов иранского происхождения в бассейнах Днестра и Южного Буга, а также в Поднестровье.

Основными источниками при этом послужили труды П. Я. Маштакова [16, 17] и недавно изданный коллективом украинских ученых словарь [18]. В нижеследующих этимологических статьях нами приняты обычные в гидронимии сокращения (п. — правый приток, л. — левый приток, пр. — приток, вар. — вариант названия).

*Акишка*, л. Сожи, вар. *Неманка*, *Неменка*, *Немейка*, *Угол*. Вероятным источником представляется иран. \**axšaina-* «синий, темно-серый, темный», авест. *axšaena-* «то же», др.-перс. *axš* — *aina-* «то же», осет. *axsin* «то же», *axsinæg* «голубь». Вокализм второго слога обнаруживает продвинутое ступень развития, как в осетинском. Относительно возможности передачи *-ш* < \**-s* см. [19, III, с. 198]. Та же иранская основа была обнаружена М. Фасмером в античном названии Черного моря Πύλος Ἀγίως [6, с. 20]. Другие варианты данного гидронима имеют балтийское происхождение [5, с. 198].

*Яланец*, л. Савранки, п. Ю. Буга. Сюда же примыкают *Яланка*, п. Шумиловки, пр. Марковки, л. Днестра, вар. *Яланец*, *Еланец*; *Алонца* (река в Крыму). Перечисленные гидронимы следует, по-видимому, связывать с осет. *allon* «самоназвание осетин в сказках», продолжающим иран. \**argana-* [11, с. 280; 20]. Отражение этого слова известно и в русской аPELLативной лексике, ср. диал. *аланя* «пиво», *аланый* «пивной», *аланец* «непоседа» [19, I, с. 131; 21]. В то же время для гидронимов *Яланец*, *Еланец* нельзя исключить и объяснения из тюркского, что, однако, значительно менее вероятно для названия *Алонца*.

*Атака*, п. Растваицы, л. Роси. О. Н. Трубочев характеризует этот гидроним как несный и видит в нем какографический вариант вм. \**Отока* [3, с. 88]. Славянское происхождение, к др.-русск. *отокъ* «остров, мыс», предполагаемое И. М. Железняк, указывающей одновременно на литовский гидроним *Атака* [22, с. 144], представляется менее вероятным. Возможно возведение к иран. \**a-taka-* «небыстрая, не текущая» (ср. *Нетеча*, л. Вехры, п. Сожи); из иранского материала особого внимания заслуживают осет. *tax* «речная стремнина, быстрое течение; быстрый, стремительный, бурный (о реке)», согд. *tyyh* «река».

*Борзна*, л. Днепра, вар. *Барзна*, *Ворзна*, *Варзна*. Как уже отмечалось, колебание *б/в* в анлауте говорит в пользу неславянского происхождения, а вариант *Борзна* возник в результате позднего переосмысления [5, с. 223]. Не исключено, что исходным является вариант *Варзна*, который мы склонны связывать с иран. \**vārz-ana-* «действующий, движущийся (?)» при авест. *varəz-* «действовать», осет. *warzin* «любить» (о семантике последнего см. [10, с. 579]). По сути дела, то же иранское слово обнаруживается в личном имени Ὀυοαρῶνης; из \**vahu-vārz-ana* «любящий добро» [6, с. 47].

*Душан*, л. Рудомойки, п. Гостижи, п. Ужи, л. Днепра. Сюда же — *Душан*, л. Тростянки, п. Вороницы, л. Ипути, л. Сожи. Оба гидронима продолжают иран. \**duš-dan-* «дурной колодец». Иранская основа \**dan-* обнаруживается и в других гидронимах, ср., например, *Хан*, п. Вети, п. Сейма с правым притоком *Добрый Колодезь* [5, с. 227].

*Лошак*, л. Псла, л. Днепра; *Лошак*, п. Камянки, л. Тетерева, п. Днепра. Связь с соответствующим аPELLативом обусловлена позднейшим сближением. По-видимому, *Лошак* продолжает специфически осетинское и не характерное для иранского в целом *laxæg* «лосось», подробно см. [19, II, с. 32] с трактовкой в духе скифо-европейских изоглосс. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в гидронимии Днепра обнаруживается и соответствующее балтийское образование, ср. *Лоша*, п. Гольши, п. Прони,

п. Сожи; *Лош*, л. Десны, сравниваемые с литов. *Laš-upė* «Лососиная река» [23, с. 529; 5, с. 194]. О передаче осет. *-s- > -ш-* см. выше.

*Малороша*, овраг, л. Кучургана, л. Днестра. Восходит к иран. диал. \**mārua-rauxšna-* «светлое болото, светлый омут». При этом налицо ряд характерных черт, позволяющих трактовать это сложение как скифо-осетинское образование. Первый компонент отражает \**mārua-* > осет. *tal* «глубокая стоячая вода, глубокое место в озере, болоте, реке; омут; пучина», неизвестное в других иранских языках [19, II, с. 68—69] и типично осетинское в фонетическом плане (иран. \**-ru-* > *-l-*). Для второй части отметим утрату *-n-*, как в осет. *rūxs* «свет, светлый» из иран. \**rauxšna-* «то же».

*Мизунка*, л. Свицы, п. Днестра. Не исключена связь с иран. \**maiz-* «мочиться; течь», ср. авест. *maez-* «мочиться». Как семантически, так и фонетически особенно показательны свидетельства осетинского, где имеем ирон. *mīzun*, дигор. *mezun* «течь, протекать; мочиться». Хотя В. И. Абаев [19, II, с. 126] подчеркивает, что этот глагол не употребляется в значении «течь» (о реке), приводимые им контексты скорее убеждают в обратном.

*Морда*, поток в бассейне Серета (Сирета), л. Дуная (Черновицкая обл.). Помещая здесь этот гидроним, мы сознаем, что его этимологизации в значительной мере препятствует расположение соответствующего гидрообъекта далеко на юго-запад от основной массы гидронимических иранизмов. Тем не менее, имеются веские основания для того, чтобы не отказываться от попытки интерпретировать гидроним *Морда* на иранском материале. К югу и юго-западу от Морды, уже на территории Румынии, располагается историческая область *Maramureş* (Марамуреш, первоначально — название небольшой реки) и река *Mureş* (Муреш), первая из которых в последнее время толкуется как продолжение и.е. \**mori-marus-* «мертвое море» гесп. «умершее море», хотя конкретная языковая атрибуция этого названия остается спорной [4, с. 251—252]. Возможно, и *Mureş* следует интерпретировать как отражение \**marus-*. С другой стороны, к северу и к западу от Морды, в Закарпатье обнаруживается еще ряд «мертвых» рек, в том числе *Мертвица*, рукав Латорицы, л. Бодрога, п. Тисы, вар. *Мертвичка*, не говоря уже о возможных продолжениях все того же \**marus-* в гидронимах типа *Маруся* (Перемышленский р-н Львовской обл.), *Мерушка*, л. Гвилюй Липы, л. Днестра. Такой гидронимический «контекст» названия *Морда*, думается, позволяет интерпретировать последнее в связи с континуантами иран. \**mṛta-* «мертвый», ср. особенно осет. *mard* «то же».

*Мордогонова*, овраг, л. Сухого Омельничка, л. Келебердянского Омельничка, п. Днепра, вар. *Мардогонова*, *Мордогорова*. В первой части восходит к тому же иран. \**mṛta-*, что и в предыдущем случае, в то время как во второй части, мысленно устраняя специфические воздействия украинской орфографической традиции, распознаем иран. \**xan-* «колодец» (к вокализму ср. варианты *Хан* — *Хон* в бассейне Сейма, объясняющиеся позднейшим развитием *-a-* в *-o-* перед носовым в осетинском). Таким образом, вероятный источник гидронима представляет собой развитие иран. \**mṛta-xan-* > \**mard(a)-xan-* «мертвый колодец». К семантике ср. выше *Духан*, *Душан*.

*Морожа*, л. Орессы, п. Птичи, л. Припяти. Попытке этимологизировать этот гидроним на иранской почве препятствуют два существенных обстоятельства: во-первых, его местоположение — на Правобережье Днепра, к северу от Припяти, во-вторых, наличие удовлетворительной (и географически куда более вероятной) балгийской этимологии, выдвинутой еще К. Бугой [23, с. 532] и поддержанной в более поздних исследованиях [5, с. 196], — к литовскому названию озера *Mārgis* и под. Если, однако, отказаться от презумпции невозможности отдельных, занесенных с юга иранских вкраплений в этом ареале, следует обратить внимание, вслед за В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым [5, с. 203], на концентрацию «птичьих» гидронимов в бассейне Птичи. Иллюстрацией этому может служить само название *Птичь* — к др.-русск. *пѣтичь* «птица» [24, III, с. 398] или к литов. *putytis* «птенец» [5, с. 203], а также *Доколка*, п. Птичи,

вар. *Доколька* — к др.-прус *doaske* «скворец» [5, с. 184]. В окружении такого рода гидронимов *Морожа* может пониматься как отражение иран. \**mr̥ga*-«птица», авест. *mr̥gə-* «то же», осет. *mr̥g* «то же» (в словообразовательном плане ср. особенно хорезм. *mr̥gu* «дичь»), но лишь при том условии, что наличие иранизма в этом районе будет истолковано не как свидетельство реального присутствия ираноязычного этнического элемента, а как результат вторичной «пересадки» данного названия из более южных областей.

*Овраг-Девка*, овраг, п. Кучургана, л. Днестра (в низовьях), вар. *Девка*. Сюда же *Owrad Jasenowy*, п. Кодымы, п. Ю. Буга; *Owrad Strymba*, п. Кодымы; *Owrad Ternówka*, пр. Ингула, п. Ю. Буга; *Врадский Яр*, п. Оскола, л. Сев. Донца, п. Дона; *Хорватка*, л. Барахтянки, п. Стугны, п. Днестра, вар. *Хаерадки*, *Хоератка*, *Хаератка*, *Хаератка*, *Барахта*. Эти гидронимы объединены в одно гнездо О. Н. Трубачевым [3, с. 94, 260], но характеризуются им как неславянские и неясные; примерно та же точка зрения и в [5, с. 228]. Отдельные названия при этом, очевидно, испытали воздействие восточнославянских апеллятивов (*овраг*), ср. иначе [25]. Представляется привлекательной возможность связать эти гидронимы со славянским названием этноса \**xъrvatъ*, иранское происхождение которого как будто не вызывает в настоящее время сомнений (см. по этому поводу, особенно в связи с иранским антропонимом из Танаиса *Χορβάδος*, *Χορὸβάδος* [26, с. 61]). При этом вряд ли следует придавать решающее значение тому, что подобная форма «не встречается в довольно богатой античной эпиграфике нигде на запад от Танаиса» [26, с. 61]. Вместе с тем существенно, что истолкования данного этнонима на иранской почве далеко не однозначны [24, IV, с. 262], и, следовательно, выбор того или иного решения при этимологизации этнонима желательнее было бы каким-то образом увязать с интерпретацией соответствующих речных названий. В этом плане особенно интересной кажется недавно предложенная О. Н. Трубачевым этимология \**xъrvatъ*, понимаемого как отражение иран. \**har-va(n)t-* «женский, изобилующий женщинами» [27, с. 151] и образующего параллель к гипотетическому индоарийскому \**sar-ma(n)t-* в основе названия сарматов как женовладеемых согласно античным авторам [28]. С учетом сказанного трудно было бы отказаться от мысли, что гидроним *Овраг-Девка* есть название глоссирующего типа, в котором вторая часть является славянским переводом первой.

*Педань*, л. Угора, л. Десны. Характеризуется как неясное [5, с. 225]. Предположительно можно возводить к иран. \**pay(a)-dānu* «льющая река», ср. к первой части авест. *pay-* «литься». Заметим, однако, что осетинскому этот глагол не известен [11, с. 298].

*Прут*, п. Сейма, вар. *Пруд*. В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев считают маловероятной связь этого гидронима с речным названием *Прут*, л. Дуная [5, с. 225]; последнее же может определенно квалифицироваться как скифское [6, с. 60], ср. осет. *ford* «большая река», далее, возможно, авест. *pr̥ratu-* «брод». Античным названием дунайского Прута было *Πρότα*. В этой связи обращает на себя внимание расположенный севернее Прута, п. Сейма гидроним *Опорошь*, л. Надвы, л. Илуты, л. Сожи, вар. *Апарат*, который трудно отделять от указанного выше иранского слова.

*Разавша*, п. Турочки, л. Клевени, п. Сейма. Происхождение признается неясным [5, с. 225]. Поскольку название реки *Турочка*, в которую впадает *Разавша*, может быть правдоподобно возведено к слав. \**turiti* «гнать, торопить», для гидронима *Разавша* допустимо усматривать источник в иран. \**rāz-aspa-*, к иран. \**rāz-* «направлять, гнать» и \**aspa-* «лошадь». Заметим, что гидроним отражает показательные черты фонетики осетинского типа, ср. осет. *æfæx* «кобыла» < \**aspa-*. Что касается первого компонента сложения, следует обратить внимание на любопытные по семантике скифские *Φανδάρως*, осет. *fændag-araz* «устраивающий путь», *Δαυαράζμαχος* из \**dān-ārāz-* «направляющий реку» [6, с. 38, 54; 11, с. 300].

*Роша*, п. Судости, п. Десны. Возможность этимологизации на балтйской почве [5, с. 205] не исключает поисков объяснения из иранского. В этом плане кажется перспективным сопоставление с названием *Мало-*

*роша* (см. выше), откуда следует интерпретация *Роша* в связи с осет. *gǝxs* «свет, светлый». Сюда же, несмотря на не раз высказывавшиеся сомнения [3, с. 237], следовало бы отнести, в целом соглашаясь с М. Фасмером [6, с. 32], и *Рось*, п. Днепра, др.-русск. *Рѣсь*.

*Сура*, л. Ю. Буга, вар. *Погребная*. Сюда же *Шура*, п. Марианки, п. Горского Текуча, п. Текуча, л. Синюхи, л. Ю. Буга; *Шура*, п. Ю. Буга; *Суров*, п. Беседи, л. Сожи, вар. *Засуров*; *Сурова*, п. Сев. Донца, п. Дона, вар. *Суров*. Эта группа гидронимов непосредственным образом связана с речными названиями из бассейна Днепра — *Сура*, *Сула*. Последние объясняются в связи с младоавест. *sūga-*, выступающим и как апеллатив в значении «Loch, lacina», и как гидроним [3, с. 138], и это объяснение приложимо и к указанным выше речным названиям из бассейнов других рек с тем уточнением, что формы типа *Суров*, *Сурова*, по-видимому, продолжают иран. \**sūgava*. Заметим, кстати, что вариант *Погребная*, по-видимому, допустимо рассматривать как глоссирующий другую форму — *Сура*.

*Хамрач*, п. Ваги, л. Цаты, п. Снова, п. Десны. Сюда же *Хмара*, л. Сожи, вар. *Хмора*; *Хмарка*, л. Хмары, вар. *Хморка*; *Хомора*, л. Случи, п. Горыни, п. Припяти, вар. *Хомара*, *Хомор*, *Хомур*; *Хоморец*, л. Хоморы. Объединенные в одно гнездо, эти гидронимы характеризуются как пельные [5, с. 227]. Попытка этимологического объяснения на иранском материале вытекает уже из замечания В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева о диагностической роли в этом плане начального *x-* в гидронимах Поднепровья [5, с. 230]. Возможным источником перечисленных названий могло бы быть иран. \**hu-mār(y)a-*, \**hu-mār(y)aka-*, где первая часть — \**hu-* «хороший, добрый», а вторая может быть отождествлена с \**mārga-*, восстанавливаемым в гидрониме *Малороша* (см. выше). В бассейне Припяти с Хоморой соседствует *Добрая*; в бассейне Десны отметим гидроним *Добра Вода*. Наконец, среди притоков Горыни находим название *Добрыня*.

*Хоробра*, п. Роси, п. Днепра, вар. *Храбра*, *Хоробра*, *Хорабра*. Сюда же *Хоробра*, п. Сейма, л. Десны, вар. *Хорабра*, *Харабра*, *Харабрь*; *Хоробарка*, п. Косты, п. Судости, п. Десны; *Хоробор*, п. Десны. Вслед за [5, с. 228] мы признаем вторичность сближения с апеллативом *храбрый* и перспективность поиска в первой части этих гидронимов иран. \**xar-* «течь». Дальнейшая реконструкция приводит нас к иран. \**xar-āgra-*, где вторая часть имеет значение «глубокий; глубь», ср. осет. *arj* «глубокий». В таком случае данная группа гидронимов в структурном отношении близка к речному названию *Хоропуть*, л. Ипути, л. Сожи из \**xara-pant-* [12, с. 179, 204].

Предложенные выше дополнения к списку уже известных гидронимов иранского происхождения в целом образуют довольно интересную картину в том, что касается их территориального распределения, которую целесообразно изложить здесь в суммарном виде. Прежде всего обратимся к бассейну Днепра. Наши данные в основном подтверждают вывод о том, что наибольшая концентрация иранских гидронимов наблюдается на Левобережье — в бассейнах Псла и Воркслы и в Посеймье. Иранское происхождение в этих двух зонах обнаруживается для гидронимов *Лошак* (бассейн Псла) и *Хоробра*, *Разавша* (бассейн Сейма). Вместе с тем более ясно очерчивается еще одна, более северная зона концентрации иранской гидронимии, охватывающая Десну и Сожу — реки, в бассейне которых иранизмы отмечались лишь спорадически. В эту группу входят *Акишка*, *Душан* (севернее, в бассейне Ужи, также *Душан*), *Опороть*, *Педань*, *Роша*, *Суров*, *Хамрач*, *Хмара*, *Хмарка*, *Хоробарка*, *Хоробор*. Количество вероятных иранизмов среди гидронимов Правобережья менее значительно и не поддается столь наглядной группировке. Тем не менее обращает на себя внимание, во-первых, относительная компактность ареала, в который включаются *Хорватка*, *Лошак* (Правобережье) и *Борзна* (Левобережье), во-вторых, достаточно тесное соседство нескольких иранских гидронимов в бассейне Роси — *Хоробра*, *Атака* и, возможно, сама *Рось*. Укажем также на наличие потенциальных иранизмов в бассейне Припяти (*Хомора*, *Морожа*).

Необходимо согласиться и с выводами О. Н. Трубачева относительно ситуации в Поднестровье, где иранские гидронимы представлены весьма скупо. Однако если среднее течение Днестра практически свободно от иранских вкраплений, в низовьях обращают на себя внимание *Оврад-Девка* и *Малороша* (Левобережье), а в верхнем течении — *Мизунка* и территориально близкая к последнему (но гидрологически входящая в бассейн Дуная) *Морда*.

Совершенно по-иному обстоит дело в связи с Побужьем, где О. Н. Трубачев предполагает практическое отсутствие иранской гидронимии [3, с. 276]. По правому берегу Ю. Буга мы, действительно, обнаруживаем всего два речных названия с иранской этимологией (*Шура*, *Яланец*). Левобережье Буга, однако, позволяет говорить скорее о довольно высоком сосредоточении гидронимов иранского происхождения: *Owrad Jasenowy*, *Owrad Ternówka*, *Сура*, *Шура*. Вместе с тем любопытно, что гидронимия Ю. Буга, низовьев Днестра, а отчасти и низовьев Днестра в отношении известных пока иранизмов оказывается значительно более скудной по разнообразию реконструируемых иранских основ, чем гидронимия Днестра в среднем и верхнем течении. Создается впечатление, что днестровская и бужская (частично днепровская) гидронимия образует своеобразную полосу, непосредственно примыкающую к Черноморскому побережью. В этом плане небезынтересно и то, что эта полоса может быть продолжена на восток.

Заключая этим наши дополнения к списку гидронимов иранского происхождения, мы хотели бы особо подчеркнуть, что предложенные нами новые этимологии в целом не колеблют общие выводы, сделанные М. Фасмером, В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым относительно основных границ иранского гидронимического ареала, но либо подтверждают их, либо, так сказать, заостряют, как это имеет место при рассмотрении речных названий в бассейнах Десны и Сожги и в Побужье. Вместе с тем хочется верить, что поиск иранских гидронимов на обследуемой в настоящей работе территории еще далек от завершения, а их список остается открытым.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Sobolevskij A. Einige Hypothesen über die Sprache der Skythen und Sarmaten.— AfslPh, 1905, Bd. XXVII, S. 240—243.
2. Соболевский А. И. Русско-скифские этюды.— ИОРЯС, 1924, т. XXVII (1922), с. 258—259.
3. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.
4. Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— В кн.: Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1983.
5. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
6. Vasmér M. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrussland. Leipzig, 1923.
7. Седов В. В. Балто-иранский контакт в днепровском Левобережье.— Советская археология, 1965, № 4.
8. Седов В. В. Ранний период славянского этногенеза. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.
9. Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
10. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. I. М. — Л., 1949.
11. Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия. — В кн.: Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
12. Moszyński K. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław — Kraków, 1957.
13. Стрижак О. С. Назви річок Полтавщини. Київ, 1963.
14. Schmid W. P. Alteuropa und der Osten im Spiegel der Sprachgeschichte. Innsbruck, 1966.
15. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках. Київ, 1981.
16. Маштаков П. Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913.
17. Маштаков П. Список рек бассейнов Днестра и (Южного) Буга. Пг., 1917.
18. Словник гідронімів України, Київ, 1979.
19. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М. — Л., 1959; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979.

20. *Абаев В. И.* Осетинские термины: *iron, allon*.— В кн.: Яфетический сборник. V. Л., 1927.
21. *Абаев В. И.* Из истории слов. К скифо-европейским лексическим связям.— В кн.: Этимология. 1966. М., 1968, с. 244—246.
22. *Железняк И. М.* Островные балто-славянские реликты в гидронимии Украины.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1978. М., 1980, с. 114.
23. *Būga K.* Rinkiniai raštai. T. III. Vilnius, 1961.
24. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971; Т. IV. М., 1973.
25. *Добродомов И. Г.* О надежности топонимических этимологий (гидроним *Оврад* на юге Украины).— В кн.: Этимология. 1980. М., 1982.
26. *Трубачев О. Н.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян.— ВЯ, 1974, № 6.
27. Этимологический словарь славянских языков. Праoslavянский лексический фонд. Вып. 8. М., 1984.
28. *Трубачев О. Н.* «Старая Скифия» (Ἀρχαία Σκυθία) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект.— ВЯ, 1979, № 4, с. 40—41.

ПОЛЯКОВ К. И.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ АКЦЕНТОЛОГИЯ ПЕРСИДСКОГО  
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

## Фонетическая характеристика и место ударения в слове

Общеизвестна неоднозначная трактовка в научной литературе фонетической природы русского словесного ударения. Согласно традиционной точке зрения ударение в русском литературном языке определяется как динамическое (силовое): гласный в ударном слоге — самый сильный и воспринимается на слух как самый громкий. Несмотря на то, что эта точка зрения не нашла подтверждения в объективном (инструментальном) анализе, до сих пор ее разделяют многие лингвисты [1—4]. На основании данных экспериментально-фонетических исследований было доказано, что ведущим компонентом в акустической картине русского ударения выступает не интенсивность, а большая длительность гласного ударного слога в сравнении с длительностью гласных безударных слогов [5—7]. Наряду с этим можно встретить и компромиссную точку зрения, в соответствии с которой во внимание равным образом принимаются обе характеристики, и поэтому ударение определяется как квантитативно-силовое [8—10].

По результатам нашего эксперимента в маркировании ударного слога отдельно произнесенного персидского слова принимают участие также как минимум две ОФХ<sup>1</sup>: частота основного тона и интенсивность, между которыми нередко устанавливаются сложные взаимокompенсирющие отношения [11]. Вместе с тем полученные данные свидетельствуют о том, что предпочтение следует отдать мелодическому компоненту, поставив на второе место компонент силовой. Это до известной степени согласуется с результатами экспериментального исследования, проведенного В. Б. Ивановым. Он определял частоту основного тона в качестве ведущей характеристики в структуре словесного персидского ударения. Такой вывод был сделан им благодаря рассмотрению акцентной природы персидского слова в потоке речи [12].

Персидский язык в отличие от русского относится к типу языков со связанным, фиксированным ударением. За некоторыми исключениями, речь о которых пойдет ниже, во всех знаменательных персидских словах, представляющих словарные, ф о н о л о г и ч е с к и е единицы, ударение приходится на последний слог слова. Фиксированность ударения хорошо видна из следующих примеров: *мадър* «мать», *фэршитэ* «ангел» (имя сущ.); *сафид* «белый», *нируманд* «сильный» (имя прилаг.); *рафтân* «идти», *авордân* «приносить» (инфинит. глаг.); *панзадâh* «пятнадцать», *дâваздâh* «двенадцать» (колич. числит.); *анhá* «они», *шомá* «вы» (местоим.); *дорâст* «правильно», *бэзудй* «вскоре» (нареч.) и т. п. Все эти слова, независимо от слогового состава и принадлежности к той или иной части речи, получают ударение на последнем слоге [13]. Примеры с данной слоговой протяженностью, характеризующиеся одним наконечным ударением, выбраны не случайно, ибо значительную часть персидской лексики составляют дву- и трехсложные слова. При той же или увеличенной слоговой длине в словах, образованных способом словосложения или в соответствии с некоторыми моделями полуаффиксации, закономерно появле-

<sup>1</sup> ОФХ — основные физические характеристики: частота основного тона, длительность и интенсивность.

ние одного и более второстепенных (слабых) ударений, приходящихся на разные части слов, однако главное (сильное) ударение по-прежнему будет падать на их последний слог. Например, *чърпá* «четвероногое», *тáндорбст* «здоровый», *бáшáрдустí* «гуманизм», *бэзгиробэбáнд* «облава», *фáра-мúшáймáкóн* «незабудка», *шотóргáвпáлáнг* «жираф». Наконец, иностранные слова, отличающиеся от персидских слов по месту ударения, изменяют его после заимствования в персидский язык, приспособляясь к новой акцентно-ритмической системе. К примеру, русское слово *дрóжки*, став персидским, звучит как *дорóшкэ* с ударением на последнем слоге.

Небольшое число исконно персидских и заимствованных преимущественно из арабского языка слов имеют ударение не на последнем слоге. Это наречия, модальные слова, союзы, частицы и междометия. Например: *хáй-ли* «очень», *фоурáн* «немедленно», *háтмáн* «обязательно», *кáмэлáн* «полностью», *áлбáттэ* «конечно», *лáбод* «непрерывно», *áгáр* «если», *вáли* «но, однако», *бáлке* «но, даже», *áйа* «разве», *мáгáр* «разве, ли», *áфáрин* «браво!». По месту ударения к этому разряду близки префиксальные и сложные глаголы. Однако отличие состоит в том, что префиксальные глаголы, будучи по структуре и функционированию сложнопроводными словами, а сложные глаголы — фразеологизмами [14], помимо главного ударения на префиксе или именной части глагола, т. е. опять-таки приходящегося не на последний слог, имеют второстепенное ударение. В итоге рассматриваемая глагольная лексика по своим акцентным признакам сближается одновременно и со сложными словами. Например: *дáр амитáн* «смешивать», *бáр хастáн* «вставать», *háрф áдáн* «разговаривать», *дáрс хáндáн* «учиться».

Не получают ударения следующие служебные слова и частицы: а) предлоги и послелог *-ра*; б) артикль *-и* и изафетный показатель *-э*; в) краткая форма глагола — связки и местоименные энклитики в ед. числе; г) подчинительные союзы *ке*, *че* «что, чтобы, который»; д) соединительный союз *вá* («и») и усилительные частицы *háм* «также, тоже», *ке* «же, ведь».

Таким образом, у основного массива словарной лексики, представляющей номинативный фонд персидского языка, акцентологически релевантной оказывается последняя часть слова, его последний слог, иначе говоря, персидское фонологическое слово характеризуется о к с и т о н и м ударением. В противоположность этому в русском языке ударение свободное. Оно может падать как на любой слог, так и на любую часть слова.

Фиксированное и одностороннее персидское ударение, маркирующее словарные единицы, получает некоторые признаки подвижности и относительной разноместности в потоке речи, в ф о н е т и ч е с к и х словах. Известно, что подвижность ударения связывают с двумя аспектами структуры слова, т. е. с его способностью члениться на слоги и морфемы. Если, оставаясь связанным с одной и той же морфемой, ударение в процессе формообразования слов переходит с одного слога этой морфемы на другой, не выходя за ее пределы, то говорят о фонологической подвижности (разноместности) ударения. Если же оно при аналогичном процессе пометает разные грамматические формы одного и того же слова, т. е. приходится на разные морфемы, то такую подвижность ударения называют грамматической. Есть языки (и к их числу относится русский), в которых ударение наряду с фонологической наделяется свойством и грамматической подвижности. Наш анализ слоговой и морфемной структуры персидских фонетических слов показал, что с русским языком здесь наблюдается больше различий, чем сходства.

Персидское ударение характеризуется признаками ограниченной грамматической подвижности и относительной фонетической подвижности (разноместности). Действительно, только у некоторых персидских слов в потоке речи разные грамматические формы одного и того же слова получают разные ударения. Этот круг ограничен формами ед. — мн. числа в классе имен существительных и перфекта — имперфекта в классе глаголов, о чем мы скажем отдельно в связи с фонетической подвижностью ударения. Приве-

дем примеры на формы имен существительных. Слова *диvár* «стена» и *дўст* «друг» в ед. числе во всех формах имеют ударение на корневой морфеме (*диvárи* «какая-то стена», *дўсти* «какой-то друг», *диvárра* «стену», *дўстра* «друга»), а во всех формах мн. числа — на окончании (*диvárhá* «стены», *дустán* «друзья»; *диvárháйи* «какие-то стены», *дустáni* «какие-то друзья»; *диvárháра* «стены», *дустánра* «друзей»). Исходя из этого и принимая во внимание тот факт, что все словарные единицы, имея окситонное ударение, акцентно никак не индивидуализированы, подвижность персидского ударения следует трактовать исключительно в плане грамматики, но не лексики.

Будучи ограниченно грамматически подвижным, оно вместе с тем совершенно не является фонологически подвижным (разноместным), так как никогда в процессе словоизменения не перемещается с одного слога на другой в пределах одной и той же морфемы. Однако благодаря присоединению к знаменательным словам безударных элементов (артикля *-и* и послелого *-ра*) на правах энклитик ударение, оставаясь связанным с одним и тем же слогом, как и в исходной форме, относительно перемещается с конца в глубь слова на один слог, становясь парокситонным: *кетáb* — *кетáби* «книга — какая-то книга»; *нэзамí* — *нэзамíра* «военный — военного». Это позволяет определить его не как фонологический, а как фонетический относительно подвижный (разноместный) ударение.

Грамматическая и фонетическая подвижность (разноместность) ударения действует не только в сфере именного, но и в сфере глагольного формообразования, притом с ограничениями, на которых необходимо заострить внимание, ибо они помогают высветить важную и своеобразную сторону персидской акцентологии.

Дело в том, что при словоизменении в классе глагольной лексики ударение, переходя с одной морфемы на другую в пределах разных форм одного и того же слова, необязательно оставляет после себя безударный слог. В значительном числе случаев ударенность последнего не исчезает полностью, иначе говоря, слог, имевший главное (сильное) ударение, модифицируется в слог с второстепенным (слабым) ударением, и, стало быть, прежняя форма не теряет совершенно свою акцентную оформленность и выраженность. Например: *дидám* — *ндидám* «(я) видел — не видел» в положительной форме ударение падает на основу глагола, в отрицательной — на приставку *-нá*. При смене места ударения бывший ударный слог основы становится безударным. В другом же случае, в глагольных формах *минэвисím* — *нэмнэвисím*<sup>2</sup> «(мы) пишем — не пишем», в положительной форме главное ударение приходится на приставку *-ми*, в отрицательной — тоже на приставку *-нá(э)*, но разница в сравнении с первым случаем состоит в том, что сильное ударение на приставке *-ми* не исчезло в полном образовании, а трансформировалось в слабое, второстепенное ударение. Свойство грамматической подвижности ударения ограниченно проявляется всякий раз при спряжении глаголов, например, в настоящем-будущем времени, в имперфекте (в обеих формах) и т. п., что неизбежно ведет к появлению вместо сильных слабых ударений, число которых еще более возрастает за счет второстепенных нафлексивных ударений. В результате этого словоизменительные формы от простых и особенно — от префиксальных и сложных глаголов имеют по два и более ударений, что можно видеть из следующих примеров: *миáворáнд* — *нэммиáворáнд* «(они) приносят — не приносят»; *бáйáд бэнэвисíd* «вы должны писать»; *бáр хáстим* «(мы) встали»; *дáр миáворáм* «(я) вынимаю»; *дáрс нэмйáнáнд* «(они) не учатся».

Таким образом, из сказанного следует, что морфологическая роль персидского ударения в целом выражена весьма слабо. По этому поводу Р. И. Аванесов писал: «... в языках с фиксированным местом ударения последнее не может быть средством различения грамматических форм» [16,

<sup>2</sup> Об акцентной выделенности префикса *-ми* не только в положительной, но и в отрицательной глагольной форме на материале языка дари см. в работе Л. Н. Киселевой [15].

с. 22]. Отсюда фиксированное (неподвижное) и одноместное персидское ударение как характерный признак словарной лексики наделяется, согласно нашим выводам, свойствами только ограниченной грамматической и относительной фонетической подвижности (разноместности) для фонетических слов и других единиц речевого потока. Не только по слоговой, но и по акцентной структуре фонетическая природа лексической единицы неадекватна ее фонологической природе. Эти особенности персидского языка следует учитывать при анализе некоторых существенных сторон его ударения. Так, например, рассматривая акцентные структуры трехсложных персидских лексем с ударением на первом слоге (модель — — —), А. Б. Мамедова включает в один разряд и слова типа *kámáilán* «полностью», и слова типа *dústira* «какого-то друга» [17]. Между тем понятно, что в первом случае ударение характеризует фонологическое слово; поскольку последнее акцентологически никак не изменяется в речи, то, стало быть, — то же ударение относится и к его фонетическому аналогу. Во втором же случае ударение характеризует только фонетическое слово, так как между словарной единицей *dúst* и ее речевой формой *dústira* в этом плане есть определенная разница. Однако потому, что ударение в слове *dústira* не перемещалось ни в пределах одной морфемы, ни между морфемами в сравнении с исходной формой, а лишь «сдвинулось» в начальный слог относительно других слогов из-за присоединения безударных элементов в виде артикля *-i* и послелога *-ra* к исходному слову *dúst*, функционирующего в речи, такое ударение мы называем относительно фонетически подвижным. Неразличение акцентных особенностей разноплановых единиц (в данном случае лексемы и лексы) приводит к неправильному выводу о том, что в персидском языке ударение подвижное и разноместное.

#### Смыслоразличительная функция словесного ударения

Фиксированность и одноместность персидского ударения существенно ограничивают или полностью лишают его способности быть средством различения как разных полнозначных слов, так и их грамматических форм. Сравнение с русским ударением показывает, что, в отличие от персидского, оно индивидуализирует каждое слово (*мужчина, женщина*) и каждую форму слова (*любовь, любви*) в том смысле, что все они получают различающиеся, не совпадающее по месту ударение. Дифференцируя слова и грамматические формы слов, русское ударение относится и к лексике, и к грамматике [18]. Или, если быть более точным, то в последнем случае — «...к грамматическому оформлению данного слова... к сфере лексики в ее грамматическом аспекте» [16, с. 37]. Напротив, в персидском языке ударение не является лексически различительным средством, так как, маркируя последний слог всех слов, никак не индивидуализирует эти слова. Сужены и его формообразовательные функции. Нерегулярно передвигаясь в разных формах данного грамматического типа слов, оно акцентно выделяет весьма ограниченное число парадигм, которые однотипны по месту ударения и потому не противопоставляются каким-либо другим парадигмам (имеем только ед.—мн. число имен существительных; в основном — только положительные — отрицательные глагольные формы).

Не относится ни к сфере лексикологии, ни к сфере словоизменения, персидское ударение не относится и к сфере словообразования. Несмотря на то, что при образовании новых слов оно передвигается с производящей основы на словообразовательный аффикс, назвать его в полной мере подвижным словообразовательным ударением нельзя. Подвижное ударение следует понимать «...в более широком значении — в пределах группы слов с л о в (разрядка наша. — П. К.), объединенных живыми, обычно продуктивными словообразовательными связями, т. е. передвижение ударения с одного слога на другой в группе слов, имеющих общий корень» [16, с. 33]. В русском языке одна словообразовательная группа отличается от другой не только аффиксами, но иногда и местом ударения (*корень — коряга — корешок; гребень — гребénка — гребешок*).

В персидском языке независимо от моделей аффиксации, типа и структуры аффиксов — в любом случае ударение либо относительно неподвиж-

но, иначе говоря, остается на прежнем месте (если это префиксация), либо перемещается с последнего слога производящей основы на последний слог аффикса (если это суффиксация), т. е. так или иначе оно приходится на последний слог производного слова (*vātan*, «родина» — *hāmātan* «соотечественник»; *kudāk* «ребенок» — *kudākī* «детство» — *kudākānē* «детский»).

Следовательно, невозможно выделить отдельные словообразовательные группы, которые, отличаясь друг от друга аффиксами, одновременно отличались бы и местом ударения. Одноместное при лексической дифференциации и неподвижное при словоизменении, персидское ударение оказывается также неподвижным и при словообразовании. Эти свойства не могли не повлиять на ограничение его семантико-морфологической роли, и, в частности, на способность выступать единственным дифференциальным признаком слов, различающихся по семантике, но идентичных по своей графической оболочке. В подобных случаях функции ударения аналогичны функциям, которые выполняют фонемы в составе слова. Это доказывается, во-первых тем, что ударение надстраивается не над одним слогом, но в целом над всем словом, и, во-вторых, тем, что два слова (или две формы одного слова), различающиеся местом ударения, при последовательном, „линейном“ членении на кратчайшие звуковые единицы — фонемами — оказываются всегда отличающимися друг от друга не одним, а двумя признаками» [16, с. 38], что следует, к примеру, из таких пар слов:

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline м & \acute{y} & к & а \\ \hline м & у & к & \acute{a} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline т & \acute{y} & ш & и \\ \hline т & у & ш & \acute{y} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline з & \acute{a} & м' & \acute{o} & к \\ \hline з & а & м & \acute{o} & к \\ \hline \end{array}$$

Последние, представляя собой слова-омографы, различаются только благодаря свойству *разноместности* ударения. Обладая этим свойством, оно способно дифференцировать два слова, формы двух слов, наконец, слово и форму другого слова. Согласно результатам экспериментального исследования, проведенного А. Б. Мамедовой, ударение в персидском языке как фонологическое средство используется для различения двух слов, слова и словоформы и двух словоформ [17]. Наш анализ показал, что свойство *разноместности*, которое делает ударение индивидуальным признаком отдельного слова и лежит в основе дифференциации семантики слов, идентичных по своим формальным признакам, не используется в персидском языке в отношении двух знаменательных слов в силу того, что по месту ударения они однородны, но не индивидуальны. Не встречается двух созвучных знаменательных слов, отличающихся лишь местом ударения, но встречаются созвучные знаменательные слова с незнаменательными, также отличающимися от них по месту ударения (ср.: *zāmbōk* — *zāmbōk* — в русск. яз. с *vāli* — *vāli* «властитель» и союз «но»; *guyā* — *gūya* «говорящий» и «как будто» — в перс. яз.). Для персидского языка характерна созвучность слова и его словоформы, слова и словоформы другого слова, слова и другого слова, оформленного, например, местоименной энклитикой и т. п. В персидском языке по двум признакам различаются слова типа  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline д & \acute{y} & с & т & и \\ \hline д & у & с & т & \acute{y} \\ \hline \end{array}$  «какой-то друг» — «дружба» или  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline м & \acute{a} & h & и \\ \hline м & а & h & \acute{y} \\ \hline \end{array}$  «какой-то месяц» — «рыба», но не слова типа *žārkōe* — *žarkōe*, присущие русскому языку. Семантико-морфологическая роль персидского ударения проявляется в следующих случаях:

- а) при совпадении оболочек имени прилагательного или имени существительного с глагольной формой: *nātārs* «смелый» и *nītārs* «не бойся»; *bādāni* «долг» и *bādāni* «дашь»; *nāsūz* «огнестойкий» и *nāsuz* «не гори»;
- б) при созвучии имени существительного или имени прилагательного с формой другого имени существительного: *māhi* «рыба» и *māhi* «какой-то месяц»; *bimārī* «болезнь» и *bimāri* «какой-то больной»; *sarī* «заразный» и *sāri* «какой-то скворец».

Следовательно, совпадение двух различающихся лишь ударением слов возможно только тогда, когда: 1) одно слово остается неизменным по звучанию, в том числе и по месту ударения, другое же, изменяясь по форме,

меняет и первоначальное место своего ударения; 2) одно слово также остается неизменным по всем формальным признакам, а другое, соединяясь с безударными элементами (артикли и т. п.), место своего ударения меняет.

Таким образом, в отличие от русского ударения, не свойство лексической разноместности, но свойство ограниченной грамматической подвижности и относительной фонетической разноместности делают персидское ударение фонологичным.

### Морфемный характер персидского ударения

Одна из главных задач рассмотрения ударения в морфофонетическом аспекте состоит в том, чтобы определить роль и соотношение различных видов ударения в системно-акцентной организации звучащей речи, а также степень использования каждого вида ударения с целью выделения фонетических единиц в потоке речи. Уровень выделенности гласного в ударном слоге и соответственно уровень невыделенности (или редукции) гласного в безударном слоге независимо от того, будут ли определяться эти уровни по отношению к среднему уровню самих гласных или гласных фонетического контекста, в конечном итоге регулируются закономерностями вокализма данного языка.

Свойство всех персидских гласных сохранять свою качественную определенность (а устойчивых гласных — до известной степени и долготную определенность), не редуцируясь как в ударном, так и в безударном слоге, составляет характернейшую черту вокализма персидского языка, что коренным образом отличает его от вокализма русского языка. Присущие русской речи ярко выраженные процессы количественной и качественной редукции безударных гласных вызываются сильноцентрализованностью русского ударения — свойством, которое находится в непосредственной связи со свойствами его фонологической подвижности и разноместности. Сильноцентрализованность ударения ведет к редукции безударных слогов; фонологическая же подвижность, обеспечивая чередование ударности и безударности слога либо в формах того же слова, либо в однокоренных словах, позволяет различать редуцированные гласные. «Таким образом, сильноцентрализованность русского ударения, выражающаяся в редукции неударных слогов, компенсируется его фонологической подвижностью (разрядка наша. — Л. К.), выражающейся в чередовании „сильных“ и „слабых“ вариантов гласных фонем» [19]. Русский ударный слог резко выделяется по сравнению с неударными слогами, гласные которых в связи с этим редуцируются в различной степени. Если выразить в числе изменения каждого безударного гласного, начиная от ударного (степень редукции равна 0), то получим следующий ряд взаимосвязанных цифр: 2—1—0—2. Редуктивная модель русского слова строится по принципу затухающей динамичности и долготы: чем дальше безударный слог отстоит от ударного, тем больше он редуцируется. Схематически эту связь можно изобразить так: (ooO) или иначе: (ooO), где O—ударный, а o, o — безударные слоги. Но в любом случае русское ударение, выделяя ударный слог, подчиняет ему безударные слоги и, стягивая их вокруг него, цементирует звуковую оболочку слова в законченное самостоятельное единство, выделяемое в целом на акустическом уровне. В русском языке акцентная структура фонологического слова совпадает с акцентной структурой слова в потоке речи.

В персидском языке наблюдаются диаметрально противоположные процессы. В соответствии с законом качественной определенности гласных и, следовательно, при «противопоказании» на редукцию для любого гласного, в том числе и находящегося в безударном слоге, должны быть созданы такие условия, чтобы и этот последний также выступал в своем полном или незначительно измененном по ОФХ виде. Но подобные условия можно создать только путем относительной «выделенности» безударных слогов. С учетом указанных особенностей для персидского слова должна быть характерна тенденция к сохранению каждым слогом своей определенной самостоятельности, относительной «выделенности» среди других слогов, но

не тенденция к сильной подчиненности безударных слогов ударному слогу, приводящая к «плотному цементированию» всех слогов в единое фонетическое целое, как это мы наблюдаем на примере русских слов. В русском языке стабильность акустических характеристик гласных в сильных позициях поддерживается за счет ослабления тех же характеристик гласных в слабых позициях. Создается качественное противопоставление ударных и безударных слогов, о чем в свое время писал акад. Л. В. Щерба [20]. В персидском языке выделенность гласных в ударном слоге регулируется по относительной выделенности гласных в безударном слоге. Создается определенное количественное противопоставление, не приводящее к потере звукового качества.

Сильноцентрализующее, нефиксированное и разноместное русское ударение через выделенность, сильную «отставку» [21] ударного слога и «сжатие» редуцированных слогов вокруг него направлено на формирование монолитного целостного звукового комплекса в виде слова, которое индивидуализируется благодаря ударению. Слабоцентрализующее, фиксированное и одноместное персидское ударение через слабую «отставку» ударного слога с параллельной относительной «выделенностью» нередуцируемых в качественном отношении других слогов направлено на расшатанность целостного звукового единства в виде слова, индивидуальным признаком которого это ударение никогда не становится. Но «выделенность» и «отставка» одного слога среди других слогов в принципе возможны при получении каждым слогом своего отдельного ударения. Схематически эту связь между слогами можно изобразить так: *ооо* или так: *оооо*. Действительно, в персидском языке такая тенденция имеет место, а именно: чем длиннее по числу слогов становится слово (например, в результате словообразовательных или словоизменительных процессов) и, следовательно, чем больше вероятность возникновения редуцитивных процессов в неударных слогах, тем больше возрастает вероятность появления второстепенных (побочных) и разноместных ударений. Для наглядности приведем несколько примеров. Словообразование: *маск* «маска» (один слог — одно ударение); *маскезэддэггаз* «противогаз» (пять слогов — три ударения); *маскезэддэггазсаз* «готовитель противогазов» (шесть слогов — четыре ударения). Словоизменение: *дэрс ханди* «учиться» (три слога — два ударения); *дэрс бэханид* «учиться» (четыре слога — три ударения); *дэрс нэмхананд* «(они) не учатся» (пять слогов — четыре ударения) и т. п.

В плане системного анализа при известном допущении сходства фонологических слов русского и персидского языков их фонетические слова имеют мало общего по своим акцентным свойствам. В русской речи потеря четкой артикуляторной локализации акцентно не выделяемых слоговых элементов с последующей редуцией их физических характеристик в интересах центрального, акцентно выделяемого слогового элемента в границах актуализирующегося фонологического слова не приводит к «распаду» последнего и формированию на его основе фонетического слова, принципиально отличного в структурном и акцентном отношении от своего фонологического аналога. В русском языке сильные системно-организующие функции ударения проявляются по отношению к слову. Такие свойства ударения мы называем *центральными*. В персидской речи в процессе актуализации фонологического слова наряду со слоговой перестройкой происходит его акцентная модификация в том смысле, что при слабоцентрализующем словесном ударении каждый слоговой элемент с целью сохранения определенности своих физических характеристик стремится получить известную «выделенность» и независимость от центрального слогового элемента, что в конце концов приводит к расшатанности единства фонетического слова, которое поэтому ни по структурным, ни по акцентным признакам не остается речевым аналогом фонологического слова. В персидском языке сильные системно-организующие функции ударения проявляются не по отношению к слову. Такие свойства ударения мы называем *центробежными*.

Итак, ни фонетические, ни морфологические факторы не способствуют тому, чтобы в звуковой цепи персидское ударение смогло бы выполнить

свои словесные акцентоорганизующие функции. В потоке речи персидские слова, модифицируясь акцентно в интересах других более крупных речевых единиц (синтагм и фраз), располагаются по принципу известной автономии слогов, что при существующих изоморфных отношениях между слоговыми и морфемными цепями (в плане «речь — язык», как известно, слог соотносится с морфемой), с одной стороны, и тенденции на расчлененность структурного единства слова, с другой, дает основание говорить об определенной самостоятельности морфемы в составе слова и морфемном характере ударения в персидском языке.

Правомерность обоих этих положений требует, однако, более глубокой и всесторонней аргументации.

Исследуя проблемы структуры, отдельности и целостности слова на материале немецкого языка, С. И. Бернштейн [22] пришел к выводу, что свойства расчлененности единства слова и определенной самостоятельности морфемы обнаруживаются в целом ряде явлений, которые, по нашему мнению, носят универсальный характер. Эти явления следующие:

а) отделяемость приставок при спряжении; в персидском языке наряду с отделением приставок и появлением формообразующих аугментов в виде морфем в позиции между приставкой и корнем спрягаемого глагола (*bârl* + */xastân* «вставать») *bârl* + */mî* + */xizâim* «я встаю», *bârl* + */xazâm* + *xâst* «я встану») наблюдаются случаи нарушения целостности сложных союзов (*zâmnike* → *zâmnî* + */ke* → *zâmnî mîâyîm ke u bîr mîâyîrâid* «я тогда приду, когда он вернется») и отделяемость постпозитивного артикля единичности от существительного с присоединением его к исходу прилагательного (*sâg* «одна, какая-то собака»; *sâg-z xûbi* «одна, какая-то хорошая собака»);

б) легкость к образованию сложных слов; персидское словообразование вместе с широко представленными самыми разнообразными моделями словосложения (детерминативы, копулятивы и сравнения) характеризуется, кроме этого, особым словообразовательным способом, так называемой полуаффиксацией, которая «...по своей сущности является промежуточным типом, соединяющим в себе... черты двух главных способов словообразования в персидском языке — аффиксации и словосложения» [23, с. 96], и которую благодаря практически безграничному числу средств, легкости образования простых и сложных форм, функциональной значимости и занимаемому месту в системе словообразования можно поставить в один ряд с главными словообразовательными способами;

в) сильный приступ начального гласного в слове, в приставочной или корневой морфеме внутри слова; анализируя фонетическую природу гортанного смычного согласного ' («айна» или «хамзы») и гортанного приступа, который трактовался нами в качестве его варианта, мы нашли, что в гласных абсолютного начала персидских слов, но особенно на словесных интервокальных стыках, в том числе и приставочной морфеме с корневой, достаточно регулярно появляется этот гортанный приступ; в частности, в инструментальном анализе было выявлено, что в зависимости от качества гласного и типа сочетаний он имел длительность по средним значениям от 18 до 25 мсек в начале слова и от 40 до 116 мсек в интервокальном стыке;

г) наличие второстепенных и равновесных ударений; о появлении все возрастающего числа побочных (второстепенных) ударений по мере увеличения длины и глубины персидских слов в результате словообразовательных и словоизменительных процессов уже было сказано; что касается равновесных ударений, то их, очевидно, следует ожидать в некоторых типах сложных слов — таких, как *fârazûshâimjâkôn* «незабудка», *zândé bâ gûr* «заживо погребенный или в некоторых личных формах от сложных глаголов, как-то: *nâhâr mîgorând* «(они) обедают»;

д) участие морфологического фактора в слогоделении, т. е. совпадение слогового и морфемного членения; известно, что в русских словах встречаются разнообразные приставки, имеющие в исходе как гласный, так и согласный звук; слоговой

шов всегда совпадает с морфемным в приставках, оканчивающихся на гласный; он может совпадать, если приставка оканчивается, а корень начинается на согласный, и не совпадает, если приставка оканчивается на согласный, а корень начинается на гласный (например, *разы!* + *игра́ться*, но не *раз!* + *игра́ться*); в персидском языке все продуктивные префиксы — односложны, и ни при каких условиях в них не допускаются несовпадения слогового шва с морфемным, — даже при наличии условий, идентичных вышеописанным, т. е. возможно только *дār!* + *авордāн*, где *дār* — префикс и *авордāн* — основа, но невозможно *дā!* + *равордāн* или *дārā!* + *вордāн* «вынимать»; на суффиксально-корневом стыке совпадения не имеют места, когда суффикс начинается на гласный, корень (основа) же оканчивается на согласный (*зур!* + *йки* «насилно» — морфемный шов; *зурā!* + *ки* — слоговой шов), однако таких суффиксов по сравнению с суффиксами с консонантным началом значительно меньше, поэтому и в исходе слов границы между слогами и морфемами чаще совпадают, чем не совпадают;

е) чередование звонких и глухих согласных на конце слога, что лишает их роли показателя исхода слова; в исходе персидского слога (морфемы) и слова отмечается частичное и реже — полное оглушение (к примеру, *мāрз* «граница» и *мāрзбан* «пограничник» — частичное оглушение; *āсб*, «лошадь» и *āсбдāвани* «скачки» — полное оглушение)<sup>3</sup>.

На основании данных нашего экспериментального исследования фонетических процессов и явлений в межморфемных стыках [24] мы пришли к выводу, что к признакам, выделенным С. И. Бернштейном, необходимо добавить еще два. На определенную самостоятельность морфемы и распатанность единства слова указывают в том числе:

ж) более сильная маркировка морфемных границ по сравнению со словесными границами; изучение интервокальных (V + j + V) и интерконсонантных (CC + э + C) морфемных швов и стыков персидских слов показало, что вставочные явления (эпентезы *j* и *ə*), выступая в роли межморфемных положительных фонематических пограничных сигналов (диерем), усиливаются по ОФХ в потоке речи при более тесной спайке стыкующихся морфем относительно своего исходного состояния (отдельно взятое слово); в то же время идентичные эпентезам согласный *j* (в исходе слов) и гласный *э* (в изафетных конструкциях), выступая в роли сигналов словесных границ, при наличии сопутствующей им межсловесной паузы не только не усиливаются по тем же параметрам в потоке речи относительно своего исходного состояния (отдельно взятое словосочетание), но, напротив, имеют тенденцию к ослаблению, к изменению в количественном и в ряде позиций — в качественном отношении (полная редукция в аудиауе слова); более того, словесные границы иногда вообще исчезают, происходит слияние контактирующих слов в одно целое, например, (*/y/ашна'āст/* → */y/ашнаст/* «он — знакомый»);

з) однородность фонетических процессов в исходах слов и морфем (например, позиционно-комбинаторное оглушение звонких согласных, речь о котором шла выше — см. пункт «е»), что приравнивает в этом отношении слова и морфемы между собой и позволяет объяснить, в частности, такое специфическое для персидского языка явление, как транслокализация морфем — свойство последних меняться местами в составе слова, не приводя к изменению его смысла (*бāдэ́рд* и *э́рдбāд* «вихрь»; *сфидриш* и *ришсфид* «староста» и т. п.); однородность данных процессов и явлений еще не означает, однако, что они равным образом используются как диеремы и слов, и морфем; это следует из того, что если модификации акустических признаков одинаковы по своей природе в стыковых позициях языковых единиц, различающихся по своим уровням, то во всяком случае как пограничные сигналы они принадлежат единицам низшего уровня, т. е. в данном случае с и г н а л и

<sup>3</sup> Знаком  $\bar{\text{э}}$  под согласным обозначается его оглушение.

з и р у ю т т о л ь к о о м о р ф е м н ы х ш в а х , н о н е о с л о в е с н ы х с т ы к а х .

Итак, в персидском языке морфема в составе слова относительно самостоятельна, а слово расшатано. С увеличением числа слогов в составе слова увеличивается число ударений. Ударенные слоги не выделяются резко за счет безударных, в которых поэтому не вызываются редуكتивные процессы. Известная самостоятельность и относительная выделенность морфем-словесных обеспечивают стабильность качественной определенности гласных. Все это дает право заключить, что в потоке речи м о р ф е м н о е ударение получает известную самостоятельность и независимость от словесного ударения, которое лишается присущих ему акценто-выделительных и словоорганизующих свойств. Если, согласно мнению Р. И. Аванесова, в каком-либо языке, например, в русском, ударение при разности и подвижности есть признак словоформы, но не морфемы [25], то логично заключить, что в персидском языке, наоборот, при одноместности и неподвижности ударение становится признаком морфемы, но не слова или словоформы. Не обладая качествами индивидуального просодического признака слова и, следовательно, не относясь к сфере лексикологии, ударение в персидском языке ограничено используется и при словоизменении, и при словообразовании, так как и тут и там имеется только по одной возможной парадигме слов с одним возможным местом ударения (типа *дивар* — *дивари* «стена — какая-то, одна стена»; *дивар* — *дивари* «стена — стеной»), которые с этой точки зрения не противопоставлены соответственно никакой другой словоизменительной или словообразовательной парадигме слов. Приходясь на первый (*мигуийам* «(я) говорю»), срединный (*амдиид* «(вы) пришли») или последний слог слова (*мармахи* «угорь»), который во всех случаях является одновременно и последним слогом морфемы, персидское ударение проявляет свои акцентологические свойства прежде всего по отношению к морфеме. Оно ограничено подвижно и относительно разноместно не по отношению к слову, а к его морфологической части, что дает возможность дифференцировать словоизменительные и словообразовательные морфемы по их акцентному признаку: *дуст* «друг»; *дуст* «один, какой-то друг»; *дустий* «дружба». Фонетически оформляя не столько слово, сколько морфему, персидское ударение в первую очередь используется в сфере морфологии в ее фонологическом аспекте, иными словами, относится к морфонологии. Исходя из этого, все персидские морфемы по акцентному признаку мы подразделяем на: с и л ь н о у д а р е н н ы е (лексические<sup>4</sup>, словообразовательные и часть словоизменительных): *зайн* + /θ<sup>5</sup> «земля»; *сбрх* + /θ «красный»; *авбрд* + /ud «(вы) принесли»; *сйбз* + /u «зелень»; *дйрл* — + /nək «болезненный»; *сэв* + /bm «третий»; *кетаб* + /xənə «библиотека»; *хят* + /kəš «линейка»; *бэй* + /tərin «самый лучший»; *ми* + /rəftim «(мы) ходили»; *гол* + /hə «цветы»; с л а б о у д а р е н н ы е (лексические и часть словоизменительных): *данзиш* + /əʒu «студент»; *дйндан* + /nəʒəʃ «зубной врач»; *бэйри* + /obəbānd «облава»; *нэмибин* + /ād «(он) не видит»; *мэдад* + /əmān «наш карандаш»; б е з у д а р н ы е (связочные и словоизменительные): *рйнг* + /al + /rāng «пестрый»; *хйр* + /tu + /xār «неразбериха»; *бйрадйр* + /tā + /bozorg «старший брат»; *дйр* + /u «одна, какая-то дверь»; *дйр* + /rā — «эту, определенную дверь»; *бэй* + /təyār «в город»; *горбэй* + /θ «кошка».

Из данной классификации видно, что лексические морфемы, обозначающие вещественные и абстрактные понятия, и словообразовательные морфемы, создающие слова с новыми понятиями подобного рода, как правило, маркируются, хотя и с разной степенью выраженности, ударением, которое постоянно приходится на последний слог этих морфем, совпадающий с последним слогом либо слова, либо производящей основы, ли-

<sup>4</sup> Выделение и наименование морфем даются в соответствии с принципами морфемного анализа, разработанными Л. С. Пейсиковым [23].

<sup>5</sup> Знак θ показывает на наличие кулевой словоизменительной морфемы; знак — под морфемой указывает на ее безударность.

бо первого компонента сложного слова. Словоизменительные морфемы, наделенные категориальным значением и создающие словоформы от слов различных частей речи, показывают наибольшее разнообразие по своей акцентной маркированности: они могут быть как сильно-, слабоударенными так и безударными. В ударенных морфемах ударение также падает на их последний слог, который может совпадать, однако, не только с конечным, но и с начальным слогом слова, например, в глагольных формах.

Таким образом, в русском языке благодаря ударению слово формируется в виде монолитного блока, «выделяемого» на акустическом уровне; слоговые границы не выходят за рамки слова, что в противном случае вело бы к неразличению смысла в парах слов типа *гадюку|били* и *гадюк|убили*; распределение ударений происходит не по морфемному принципу; фонетическое членение не совпадает с семантико-морфологическим; ударение носит словесный характер; его разноместность и подвижность определяют возникновение и функционирование в языке слов с вариативным ударением (*баржа — баржа́*).

В персидском языке ударение не является индивидуальным признаком отдельного слова; благодаря ярко выраженной агглютинации и отсутствию аффиксального синкретизма морфемные границы просматриваются достаточно четко; фонетическое (слоговое) членение совпадает с семантико-морфологическим; распределение ударений происходит по морфемному принципу; слово расшатывается; морфема получает определенную самостоятельность, что находит отражение даже в раздельном написании морфем в графике (*китаб + há* «книги»; *ми + нэвисэм* «(я) пишу»; *дандиш + амфз* «ученик»); ударение носит морфемный характер.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И., Цапункевич В. В.* Современный русский язык. М., 1966, с. 75.
2. Современный русский язык. М., 1971, с. 128.
3. *Редькин В. А.* Акцентология современного русского литературного языка. М., 1971, с. 5.
4. *Брицын М. А., Кононенко В. И.* Современный русский язык. Киев, 1983, с. 84.
5. *Златоустова Л. В.* Фонетическая природа русского словесного ударения. Л., 1953.
6. *Бондарко Л. В.* Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981, с. 54.
7. *Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В.* Основы общей фонетики. Л., 1983, с. 89.
8. Современный русский язык. Ч. I, М., 1979, с. 91.
9. Русская грамматика. Т. I, М., 1980, с. 90.
10. *Акишина А. А., Барановская С. А.* Русская фонетика. М., 1980, с. 22.
11. *Поляков К. И.* Теоретическая фонетика современного литературного персидского языка: Курс лекций. М., 1977, с. 159.
12. *Иванов В. Б.* Акустические характеристики словесного ударения в персидском языке. (Опыт экспериментального исследования): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1975.
13. *Рубинчик Ю. А.* Грамматический очерк персидского языка. — В кн.: Персидско-русский словарь. Т. II, М., 1985, с. 798—799.
14. *Рубинчик Ю. А.* Фразеология персидского языка: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1975.
15. *Киселева Л. Н.* Язык дари Афганистана. М., 1985, с. 32.
16. *Аванесов Р. И.* Ударение в современном русском литературном языке. М., 1958.
17. *Мамедова А. Б.* Фонетическая природа и место словесного ударения в современном персидском языке (в свете экспериментальных данных): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Баку, 1972.
18. *Аванесов Р. И.* Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974, с. 100—101.
19. *Виноградов В. А.* Консонантизм и вокализм русского языка. (Практическая фонология). М., 1971, с. 19.
20. *Шерба Л. В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1942.
21. *Жинкин Н. И.* Восприятие ударения в словах русского языка. Известия АПН РСФСР, 1954, № 54, с. 52.
22. *Бернштейн С. И.* Основные понятия фонологии. — ВЯ, 1962, № 5.
23. *Пейсиков Л. С.* Очерки по словообразованию персидского языка. М., 1973.
24. *Поляков К. И.* Некоторые фонетические процессы и явления на стыках морфем в современном литературном персидском языке (Экспериментально-теоретическое исследование): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972.
25. *Аванесов Р. И.* Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы. — В кн.: Вопросы грамматического строя языка. М., 1955, с. 121.

БЛИНОВА О. И.

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ СЛОВАРЕЙ

Период 60—80-х годов текущего столетия ознаменован расцветом словарного дела не только у нас, но и за рубежом. Никогда ранее отечественная лексикография не знала такого обилия и разнообразия словарей — синхронных и исторических, прямых и обратных, толковых и этимологических, словарей системных отношений лексических единиц и функциональных характеристик слова (валентных, частотных), словарей единиц разных уровней (лексического, словообразовательного, морфемного), словарей литературного языка и диалектов. Настала пора осмыслить источниковедческие возможности разных типов словарей для решения тех или иных лингвистических задач [1].

В современной лексикографии заметное место занимают словари, не только фиксирующие определенный аспект (уровень) языка, но и служащие базой для новых витков науки, а также для рождения новых типов словарей. К числу таких словарей относится толковый мотивационный словарь (ТМС). Принадлежит к разряду системных словарей — синонимических, антонимических, валентных и т.п., отражающих парадигматические и синтагматические связи слов, — ТМС в отличие от них в лексикографической форме представляет актуализованные отношения мотива и значения — вид эпидигматических отношений, реализующих «третье измерение лексики» [2]. «...свойства данной вещи, — писал К. Маркс, — не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении...» [3]. В отношениях мотивации лексических единиц обнаруживается, проявляется одно из свойств слова — его мотивированность, позволяющее осознать рациональность связи его звучания (лексемы) и значения (семемы) на основе его соотношения с другими словами. В мотивационные связи, как и в иные виды лексических связей, вступают слова гомогенного (*море* → *МОРЯ*) и гетерогенного (*морЯК* ↔ *рыбАК*) происхождения<sup>1</sup>.

Структура словарной статьи ТМС включает: а) мотивированное слово, его грамматическую характеристику, толкование значения с привлечением единиц, мотивирующих данное слово; б) мотивирующие слова, или мотиваторы: лексические (ЛМ), например, *море* для *морЯк*, и структурные (СМ), например, *рыбак* для *морЯк*; в) контексты, иллюстрирующие употребление заглавного мотивированного слова с мотивирующими его единицами в рамках высказывания. Поскольку жанр ТМС воплощен пока в одном лексикографическом издании (см. [7]), приводим из него образец словарной статьи:

КЕДРОВНИК, а или у, м. Кедровый лес.

ЛМ: *кедр* (*ке́дер*, *кедрá*) и — *кедровый* (8).

СМ: *елбóник* «еловый лес» (6), *пихтóвник* «пихтовый лес» (7); *берéзник* (4), *ветéльник* (2), *ельник* (1), *осинник* (1), *тальн́ик* (3), *топóльник* (1), *черемóшник* (1) — названия леса...

— Кедровник маленький был... На кедр залезет, все кедрЫ вокруг обобьёт (Том. Верш.). В кедровых лесах много птицы водится. Много белок бьём в кедровнике (Крап. Иван.). Раньше прислòбно били, а теперь не разрешают, говорят, кедровник портится. По

<sup>1</sup> Содержание понятий «мотивационные отношения», «мотивированность» в лексикологии и дериватологии различны (см. [4—6]).

кедрé ударить — и па́дат шишка (Колп. К.-М.). Лес здесь всякий: пихтовник, кедровник, ельник (Пар. Чиг.)<sup>2</sup>.

Данные ТМС служат источником для изучения ряда лексикологических и лексикографических проблем.

Информативные возможности ТМС для лексикологии определяются прежде всего большой фактической базой, столь необходимой для становления и развития теории мотивации и обслуживающих ее научных понятий, таких, как мотивированность слова, мотивационная форма слова и его мотивационное значение, внутренняя форма слова, виды и типы мотивированности слов, виды мотивационных отношений слов и др.; для целостного исследования явления мотивации слов в разных аспектах: в плане уточнения категориальной сущности этого лексического явления, представляющего собой лингвистическую универсалию [8] и имеющего всеобщий характер по числу охватываемых им лексических единиц (если в синонимические отношения в русском языке вовлечено около 22 тыс. слов [9], в антонимические — около 4 тыс. слов [10]), то в отношении мотивации вступают практически все слова языка, за исключением заимствований типа *жаки, бриджи, боа*, не имеющих дериватов); в плане выявления воздействия мотивированности, внутренней формы слова на различные компоненты и свойства слова — его семантику, экспрессивность, образность, стилевую приуроченность, валентность, употребление; в плане изучения функций мотивации в разных типах речи — в тексте и метатексте, в различных стилях литературного языка, в языке художественных произведений; в плане установления связи явления мотивации слов с другими лексическими явлениями: синонимией, антонимией, варьированием слова и т.д. [4].

Словник ТМС позволяет судить о месте мотивированных слов, актуализующих мотивационные отношения в языке. Знание и учет удельного веса мотивированных лексических единиц важны сами по себе для представления о том, каким единицам — мотивированным или немотивированным, — и в каких случаях отдается предпочтение в языке в его статике и динамике, для выявления типологических свойств данного языка.

Толкования значений мотивированных слов представляют ценный источник для исследования одной из важных характеристик слова — его идиоматичности и степени его идиоматичности. Так, по данным «Мотивационного диалектного словаря» [7] выявляется большое количество слов неидиоматичных: *аккуратистка, аржанбэй, аржангза, бабничать, бабушка, багрить, бакащик, балованный, баловник, батрачить, батрачка, бегун* и др., что составляет половину словника мотивированных слов на буквы А—В. Это, в свою очередь, дает основание подумать над тем, насколько целесообразно определять идиоматичность как непременное свойство слова — лексической единицы языка.

Сопоставление данных ТМС литературного языка и диалекта позволило выявить общность и специфику явления мотивации слов в соответствующих языковых сферах. Их предварительное сопоставление с привлечением других источников показало следующее. Общность составили: типы и виды мотиваций, явление множественности мотиваций и т.д., специфика же обнаруживается в составе мотивационно связанных пар и цепочек, в неодинаковой способности слов литературного языка и диалекта вступать в отношения мотивации, в средствах выражения одних и тех же видов смысловых отношений мотивационно связанных слов и т.д. В итоге выяснилось, что разные аспекты явления мотивации слов могут составить важные типологические характеристики литературного языка и диалекта [11].

ТМС содержит ценный материал для ономастологии, так как отражает мотивировочные и классификационные признаки обозначаемых реалий, заключенные в мотивированном слове и мотивирующих его единицах; отражает принципы и способы номинации — прямые («Костяника тоже

<sup>2</sup> Числа в скобках отражают количество случаев актуализации мотивационных отношений заглавного слова с данными мотиваторами в диалектных текстах.

у нас растёт, она с мелкими косточками») и опосредованные («Бархатник — листья, как бархат»), обнаруживая синтез способов номинации в одном и том же слове («Медуница, с его пчела мед таскает». «Медуница..., она сладко медом пахнет»). Данные ТМС позволяют судить о тенденциях номинации соответствующей эпохи.

Важную информацию заключает в себе ТМС для дериватологии, систематизируя актуализованные мотивационные связи слов, которые предопределяют узуальные отношения лексических единиц, их регулярность, продуктивность, полимотивацию. В современной дериватологии с ее ономастиологическим подходом, усиливающимся вниманием к функциональному аспекту мотивированного слова, обращением к отдельному производному слову наблюдается сближение с лексикологией, отсюда как неизбежное следствие — использование или возможность использования и ее научных понятий, терминов, таких, например, как внутренняя форма слова [12, 13], мотивационная форма слова, мотивационное значение слова и др. (см. [4]), которые могут найти применение в дериватологии; отсюда обращение к материалам лексикологических словарей.

Данные ТМС иллюстрируют действие различных лексических процессов, связанных с мотивированностью слова: демотивации, лексикализации внутренней формы слова, ремотивации, неомотивации, что представляет интерес для исторической лексикологии. Так, словарные статьи «Мотивационного диалектного словаря» отражают итоги процесса демотивации — утраты (частичной) мотивированности слова, о чем свидетельствует отсутствие у слова лексических мотиваторов (*багульНИК*. СМ: *лабазНИК*, *репёйНИК*, *шпийиНИК* и др.; *багуль?*) или структурных мотиваторов (*СНЕГГирь*. ЛМ: *снег*; *ирь?*); итоги процесса лексикализации (окаменения) внутренней формы слова, о чем говорят контексты с «отрицательной» мотивацией («Глухари — птицы ешь, я сама их стреляла... Они не глухие; не знаю, почему так называем». «Никакая животная не ест: ни кони, никто, а почему коневник — не знаю»); итоги процесса ремотивации, сопровождаемого возникновением мотивированности слова, обусловленной либо выражением мотивировочного признака (лексическая ремотивация), либо классификационного признака (структурная ремотивация). В процессе лексической ремотивации слово претерпевает либо внешние изменения, например, *сварливый* → *сверливый* (от *сверлить* «бранить, упрекать»), *скарлатина* → *горлотина* (от *горло*), *спекулянт* → *скупилянт* (от *скупать*), либо сохраняет звуковую оболочку неизменной, установив новую мотивационную связь с единицей иного происхождения, например, в сибирских говорах в сфере действия процесса лексической ремотивации попали следующие слова: *бахилы* «высокие охотничьи сапоги», заимствование из коми *bakile* [14, т. 1, с. 136], ныне мотивируемое междометием *бах* («Бахилы делают тяжёлы и плётны, чтобы вода не попала в их. Идешь по болоту — бах, бах!»); *сор* «заливной луг», заимствование из ст.-хант. \**sor* [14, т. 3, с. 720], ныне мотивируемое *сор* «мусор» и.-е. происхождения [14, т. 3, с. 720] и его дериватами — *засорить*, *сорить* («Назвали сор, что он нечисто место, что он засорёно: колodнику много и кустарнику много на этих лугах, ли *сорáх*. «Сор — ну, вот это затопленная водой пойма..., если большая вода, то мусор несёт, сор несёт»); *каротель* «сорт моркови с коротким округлым корнем», заимствование из лат. *carota* [15], ныне мотивируемое словом *короткий* («Каротелька — сорт моркови, она как обрублена, коротенька»).

Процесс структурной ремотивации сопровождается либо наращением формата, например, *сват* → *сватун* и *сватовщик*, *партизан* → *партизанец* и *партизанщик*, *фотограф* → *фотографист*, *осина* → *осинина*, *тополь* → *тополина*, либо таким преобразованием лексемы, которое делает слово морфологически членимым, например, *кроншпел* → *кроншпЕЛЬ*, *журавль* → *журавЕЛЬ*, *дятел* → *дятЕЛЬ* (ср.: *дупель*, *свиристель*), *глухарь* → *глухАЧ* (ср.: *косач*, *дербач*. «Братья мои ох сшибали: рябчиков, глухарей, косачей убивали»), *постажмент* → *ПОДстажмент* (ср.: *подставка*), *демобилизовать* → *ОТбиллизовать* (ср.: *отправить*).

Таким образом, данные ТМС иллюстрируют не только действие лекси-

ческих процессов, связанных с мотивированностью слова, но и формы их проявления. Количество же лексических единиц, подвергшихся действию различных процессов, позволит судить о соотношении тенденций к мотивированности и произвольности языкового знака, отражением которых и являются вышеназванные процессы.

ТМС содержит материал для этимологии, особенно для таких аспектов этимологического анализа, как словообразовательный и семантический. Виды мотивационных связей слов современного языка, а также типы смысловых отношений мотивационно связанных слов (например, «цвет» → «название ягоды», «действие» → «орудие действия») во многом унаследованы из далекого прошлого языка. Вполне возможно, что современные мотивации смогли бы оказать помощь при этимологических разысканиях. В одних случаях они дадут дополнительные обоснования основным или побочным этимологиям слов (например, при основной этимологии слова *калина*, возводимого к \**kalъ*, первонач. обозначение сырого места), допускается возможность связи с \**kaliti* «накалять, раскалять» [16]; в [7] отражена эта, последняя, мотивация слова: «Калина, она же, как каленая стоит, красная вся, раскалилась. Тоже красиво, осенью кодá её посмотришь, она, как горит, раскаленная как»), в других случаях укажут новый путь для разысканий (например, слово брусника считается производным «с суф. *-ica* от прилаг. \**brusъnъ*... это ягода, которую легко собирать, сбрасывая, счесывая сразу много ягод» [17]; [7] фиксирует мотивацию слова *брусника* словом *бру́сный* «обильный»: «Брусника, она брусна, как много ягод на ней, брусно, и называли ее поэту брусника»).

Сопоставление данных ТМС разных хронологических срезов, учет результатов лексических процессов, учет принципов и способов номинации, отражаемых ТМС, — все это позволило бы сократить число спорных или невыясненных этимологий.

Информативные возможности ТМС для лексикографии реализуются в двух сферах: в сфере теоретической лексикографии и в сфере практической лексикографии.

ТМС как новый тип словаря нуждается в дальнейшем осмыслении в качестве объекта теоретической лексикографии, в усовершенствовании принципов его организации, с чем будет связано повышение его источниковедческих возможностей. Особого внимания заслуживают принципы и способы толкования значения мотивированных слов, которые в соответствии с жанром словаря должны содержать не только мотивирующую часть, но и формантную, предикатную и дополнительную части [18, 19], методика формулирования которых сложна и пока не разработана. Кроме того, в ТМС, в отличие от словаря обычного типа, формулирование мотивирующей и формантной частей толкования значения слова осуществляется с учетом значения лексических и структурных мотиваторов слова, а также его мотивационного значения — значения семантизированных сегментов лексемы (например, *черн/ика* — «черная ягода»). Механизм же формулирования названных компонентов структуры толкования мотивированного слова наталкивается на ряд трудностей, связанных с противоречивостью представлений о семантике формантов слов, с фактом полимотивации, со стилистическими особенностями метаязыка толкования слов.

Отмеченные источниковедческие возможности словаря мотивационного типа выдвигают задачу составления ТМС литературного языка [1, с. 109; 20], ТМС отделного говора<sup>3</sup>; полезно было бы составление ТМС языка писателя, художественного произведения, художественного жанра (поэзии, прозы, драмы). Отличительную особенность такого словаря составит отбор слов в словник, куда войдут, наряду со случаями узуальной, слу-

<sup>3</sup> В кабинете русского языка Томского университета хранятся три рукописных мотивационных словаря одного говора, работы выполнены в 1977, 1978 и 1983 годах (Ситникова Ю. И., Ситникова Л. В. Опыт мотивационного словаря Кемеровского говора. 2186 слов. ст., 366 л.; Саагоров Г. М. Материалы к мотивационному словарю Зырянского говора. 1300 слов. ст., 243 л.; Крысова Е. В. Мотивационный словарь говора с. Вершинино Томского р-на Томской области. 1824 слов. ст., 365 л.).

чай индивидуально-авторской («поэтической») мотивации. Например: «...Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке» (А. П. Чехов. Стынь). «Ежели горевать от всякой обиды да тягости — скрутит тебя кручина в три погибели» (Ф. В. Гладков. Вольница). «Минута: мiнуцая: минеш! Так мимо же, и страсть и друг!» (М. И. Цветаева. Минута). Специфику словаря составят и толкование значения мотивированного слова, в котором должен быть учтен переносный смысл, художественное приращение смысла в слове <sup>1</sup>. Предлагаемый образец словарной статьи языка писателя:

**АУКАТЬ**, аю, аешь, несов. Кричать «ау!» (перен.)

**СМ:** *баюкать* (перен.)

— Поёт зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка (С. А. Есенин. Поет зима — аукает...).

ТМС языка писателя позволит вскрыть одно из значимых средств художественной выразительности — мотивацию, обнаружить индивидуальные особенности стилевой манеры художника слова, а также наглядно продемонстрирует использование мотивации в эстетической функции.

ТМС может служить базой для создания других словарей мотивационного типа, например, частотного мотивационного словаря [21]. Назначение такого словаря — отразить частотность актуализации главным мотивированным словом отношений лексической и структурной мотивации в диалектной речи. Слова в словаре размещаются с учетом их частотности: от высокочастотных к малочастотным. Словарная статья строится следующим образом: 1) заглавное слово, 2) число зафиксированных случаев актуализации мотивационных отношений слова, 3) число актуализаций отношений лексической мотивации, 4) количество лексических мотиваторов, 5) число актуализаций отношений структурной мотивации, 6) количество структурных мотиваторов заглавного слова. Представляем фрагмент «Частотного мотивационного словаря» [21]:

<i>рыбачить</i>	260 255(6)/5(2)	<i>приехать</i>	176 161(7)/15(4)
<i>песня</i>	252 252(10)/0	<i>осинник</i>	170 40(4)/130(13)
<i>мляка</i>	231 191(9)/40(8)	<i>молотило</i>	163 158(2)/5(3)
<i>березник</i> <sup>1</sup>	190 51(1)/139(12)	<i>покос</i> <sup>1</sup>	157 154(7)/3(1)

Данные названного словаря позволяют обнаружить: а) мотивированные слова разной частоты актуализации мотивационных отношений в речи, б) «приверженность» мотивированного слова к актуализации вида мотивации — лексической или структурной, в) слова с невариантной и вариантной внутренней формой, г) слова мономотивированные и полимотивированные. Материалы словаря дают возможность выявить некоторые закономерности, связанные с избирательностью видов мотивационных отношений, причины этой избирательности и т. д.

На основе ТМС можно составить словарь внутренних форм слова, назначение которого — отразить внутреннюю форму слов (ВФС) в ее речевом (контекстуальном) и языковом проявлении. Структура словарной статьи такого словаря включает: 1) заглавное слово — мотивированное или полумотивированное, — сопровождаемое грамматическими пометами и толкованием его значения, 2) речевую (речевые) ВФС, сопровождаемую числовым индексом (если ВФС не одна), контекстом и статистическими данными, отражающими количество актуализованных мотиваций, 3) языковую ВФС — результат обобщения речевых (контекстуальных) ВФС. Приводим пробную словарную статью:

**БЕРЕЗНИК**, а или у, м. Березовый лес.

ВФО<sup>1</sup>  $\left\{ \begin{array}{l} \text{—МФ: березНИК} \\ \text{—МЗ: «лес <из> /берез/»} \end{array} \right. \quad (81)$

— Наступали через лог, а там березник, осинник, кое-как пробилась

<sup>1</sup> В Томском университете составлен ТМС поэзии С. Есенина (*Новая М. В.* Мотивационный словарь поэзии С. Есенина. Рукопись. 351 слов. ст., 300 л.), составляются ТМС произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова, М. Цветаевой и др.

в лог-то и залегли (В.-Кет. Юд.).

$$\text{ВФС}^2 \begin{cases} \text{МФ: БЕРЕЗник} \\ \text{МЗ: «лес/ <из> берез»} \end{cases} \quad (27)$$

— Березник так сейчас и стоит. Стары березы (Зыр. Зыр.).  
Березник — много берез (В.-Кет. Б. Яр.).

$$\text{ВФС}^3 \begin{cases} \text{МФ: БЕРЕЗ/НИК} \\ \text{МЗ: «лес <из> берез»} \end{cases} \quad (44)$$

— В Сибири есть сосняк, березник, листвяк, кедряч, ельник...  
Листвяк не боится мокрости, а береза боится (В.-Кет. Б. Яр.).

$$\text{ВФС} \begin{cases} \text{МФ: БЕРЕЗ/НИК} \\ \text{МЗ: «лес <из> берез»} \end{cases}$$

В мотивационной форме слова (МФ), представляющей собой значимые сегменты звуковой оболочки слова, обусловленные его мотивированностью, орфографически выделен актуализованный в тексте сегмент лексемы (*БЕРЕЗник* ← *береза*, *березНИК* ← *ельник*), в толковании мотивационного значения (МЗ) в прямые скобки заключен неактуализованный в тексте компонент смысла слова, а в фигурные — не имеющий формальной выраженности в звуковой оболочке слова. Языковая ВФС не сопровождается числовым индексом, контекстом и статистической характеристикой.

Словарь ВФС даст возможность: а) выработать в процессе лексикографирования критерии выделения МФ и определения МЗ слов разной частеречной отнесенности, б) решить проблему соотношения мотивационного и лексического значений слова, выявить типы их соотношения, в) более объективно определить степень идиоматичности слова, г) выявить факторы и причины варьирования ВФС, формы проявления этого процесса и т. д.

Отмеченные источниковедческие возможности словарей мотивационного типа делают актуальной задачу их составления.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Москва, 21—26 мая 1984 г.: Тезисы докладов. М., 1984.
2. Шмелев Д. Н. О третьем измерении лексики. — РЯШ, 1971, № 2.
3. Маркс К. Капитал. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 67.
4. Блинова О. И. Явление мотивации слов (Лексикологический аспект). Томск, 1984.
5. Яценецкая М. Н. Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979, с. 202—229.
6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. М., 1985, т. 1, с. 37—38.
7. Мотивационный диалектный словарь (Говоры Среднего Приобья). Под ред. Блиновой О. И. Т. 1 (А — О). Томск, 1982; Т. 2 (П — Я). Томск, 1983.
8. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. — В кн.: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 165.
9. Словарь синонимов русского языка. Под ред. Евгеньевой А. П. Т. 1. Л., 1970; Т. 2. Л., 1972.
10. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 1978.
11. Блинова О. И. Явление мотивации слов в литературном языке и диалекте (На материале русского языка). — В кн.: Сопоставительное изучение словообразования славянских языков: Тезисы Международного симпозиума (декабрь 1984 г.). М. 1984.
12. Dokulil M. Tvoření slov v češtině. Praha, 1962.
13. Ермакова О. П., Земская Е. А. Сопоставительное изучение словообразования и внутренняя форма слова. — В кн.: Сопоставительное изучение словообразования

славянских языков: Тезисы Международного симпозиума (декабрь 1984 г.). М., 1984.

14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. М., 1964—1973.
15. Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1982, т. 2, с. 34.
16. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический фонд). Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 9. М., 1983, с. 120—122.
17. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический фонд). Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 3. М., 1976, с. 51—52.
18. Волоцкая Э. М. Некоторые наблюдения над структурой толкования мотивированных слов (На материале словарных статей в «Словаре польского языка» под ред. В. Дорошевского).— Советское славяноведение, 1976, № 6.
19. Удуганов И. С. Словообразовательная семантика русского языка и принципы ее описания. М., 1977.
20. Земская Е. А. Виды семантических отношений словообразовательной мотивации.— Wiener slawistischer Almanach, 1984, Bd. 13, S. 339.
21. Блинова О. И. Частотный мотивационный словарь (Говоры Среднего Приобья).— В кн.: Мотивационный диалектный словарь (Говоры Среднего Приобья). Томск, 1983, т. 2, прилож. 1, с. 321—353.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

ГЮЛЬМАГОМЕДОВ А. Г.

РУССКО-ДАГЕСТАНСКАЯ ДВУЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:  
ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Трудно переоценить практическое значение любых двуязычных словарей. Это особенно справедливо для русско-национальной лексикографии в нашей многонациональной стране, где русский язык стал языком межнационального общения для всех народов Советского Союза, а также родным языком для свыше 16 млн. человек его нерусского населения [1, с. 71]. Острая необходимость в создании словарей русского языка для нерусского населения была осознана еще в 30-е годы. В одном из своих выступлений акад. Л. В. Щерба говорил: «Я скажу, что сейчас Словарь должен делаться не только для русских, но и гораздо шире. Сейчас политически страшно актуально изучение русского языка всеми нашими братскими народами, составляющими наш Союз» [2]. Действительно, 30-е годы и в истории народного образования Дагестанской АССР занимают особое место: а) бюро Дагестанского обкома ВКП(б) принимает решение о введении преподавания русского языка как предмета со второго класса начальной школы [3, с. 181]; б) ВЦИК 1 октября 1937 г. принял постановление о переводе письменности дагестанских народов с латинизированного на русский алфавит [3, с. 133]. Эти два мероприятия предопределяют дальнейшую многостороннюю деятельность органов народного образования по обучению трудящихся республики русскому языку. Именно с этих двух документов начинается систематическая, целенаправленная и непрерывающаяся работа по составлению русско-дагестанских двуязычных словарей.

В последнее десятилетие работа по составлению словарей различных типов в ДАССР оживилась. Ею охвачены коллективы научно-исследовательских учреждений, многое делается на инициативных началах. Однако же до сих пор мы не имеем ни одного обобщающего исследования, посвященного истории, теории и практике составления как двуязычных словарей в Дагестане, так и одноязычных на материале дагестанских языков. Правда, на страницах периодической печати практикуется рецензирование издаваемых в республике словарей, но эти рецензии нередко лишены критического анализа и не затрагивают общего состояния лексикографии в республике.

Более того, насколько нам известно, в нашей учебной лексикографии и лингводидактике еще не сделано попытки установить комплекс словарей, необходимых для того или иного этапа изучения второго (в данном случае русского) языка, с учетом тех социально-экономических и политических условий, в которых происходит обучение второму языку<sup>1</sup>. Говорят и спорят о том, «чем учебный словарь отличается (или должен отличаться) от обычного, какова должна быть процедура отбора словника, какие способы семантизации лексики в наибольшей степени отвечают идее учебно-

<sup>1</sup> Отметим, что интересные мысли по данному вопросу содержатся в статьях С. С.-Д. Кима [4, 5], но они в большей степени посвящены дискутируемым проблемам современной русско-национальной лексикографии, и автор их не ставит перед собой задачи ответить на поставленный нами вопрос.

сти и т. д. и т. п.» [6], но в то же время не обсуждался вопрос, должна ли отличаться двуязычная учебная и/или академическая лексикография для нерусского населения, скажем, 40-х и 80-х годов? Если да, то чем? Вопрос требует конкретного ответа, если иметь в виду то общепризнанное мнение, что «словари представляют собой важное социальное явление, что их создание непосредственно связано с эволюцией данного общества ... и другими экстралингвистическими факторами» [7]. Ниже нами предпринимается попытка проследить этапы пройденного пути, дать общую характеристику современного состояния и наметить ближайшие перспективы русско-дагестанской двуязычной лексикографии.

История русско-дагестанских двуязычных словарей (РДДС) начинается, вероятно, с «Алфавитных списков русских слов», приложенных выдающимся кавказоведом П. К. Усларом к своим монографическим описаниям дагестанских языков, опубликованным в 90-е годы прошлого века. В левой части этих «списков» даны русские слова в их начальной форме, а правая часть состоит из лексически эквивалентной единицы дагестанского языка. Например: 1) *абрек* — *абурук*<sup>2</sup>, *адат* — *бан*, *гадат* и т. д. [8]. 2) *ад* — *жегьеннем*, *аива* — *жум* и т. д. [9]. Количество и характер учтенных слов зависит от правой части, т. е. в левой части приводятся слова, являющиеся переводами дагестанских слов, анализированных в разделах монографии, где даются сведения по фонетике, морфологии этих языков. К этому этапу и типу словарей примыкает и «Русско-кумыкский словарь» (объемом в более 1400 слов), опубликованный в 1893 г. [10].

Вторым шагом в истории русско-дагестанской лексикографии явились составленные в начале 40-х годов русско-дагестанские школьные словари [11—14], представляющие собою перевод словника русских слов, подготовленного научными сотрудниками Государственного НИИ школ РСФСР, на дагестанские языки. В основе словника, как отмечается в предисловиях к этим словарям, лежит лексика, извлеченная из 50 учебников по русскому языку для II, III, IV классов нерусских школ РСФСР. Задачей ответственных за дагестанскую часть словарей было перевести слова на родные языки учащихся. Этим и объясняется то, что словарная статья состояла фактически из двух слов: в левой части давалось русское слово, а в правой — дагестанское. Ниже мы приводим некоторые статьи из русско-табасаранского школьного словаря: *баба* — *хипир*, *бабочка* — *пазибенде*, *бабушка* — *ахьубаб* и др. Однако не все составители стали строго придерживаться этих правил. М. М. Гаджиев, которому было поручено составление русско-лезгинского словаря, существенно дополнил левую часть словаря не охваченными словником, но такими употребительными в повседневном быту единицами, как *буйвол*, *баран*, *баранина*, *теперь*, *вверху* и т. д. Для раскрытия значения русских слов М. М. Гаджиев вводит и фразы. В лексемах русского языка он помечает ударение, указывает грамматические признаки и формы слов различных морфологических категорий. Например: *поглядеть* (*погляжу*)..., *пойти* (*пойду*), *спать* (*сплю*) и т. д. Можно сказать, что здесь М. М. Гаджиевым впервые были реализованы некоторые основные принципы учебного двуязычного словаря для дагестанской нерусской школы. В истории становления двуязычной русско-дагестанской лексикографии особое место занимают составленные в 50-х годах однотипные сравнительно большие русско-даргинский [15], русско-лезгинский [16], русско-аварский [17], русско-лакский [18], русско-кумыкский [19] словари объемом от 30 000 до 35 000 слов. Они предназначались для самых широких слоев аварского, даргинского, кумыкского, лакского и лезгинского населения, изучающего русский язык. Ими могли пользоваться и изучающие дагестанские языки. Указанные лексикографические работы носили переводно-толковый характер, что было обусловлено степенью развитости младописьменных литературных языков. По признанию самих авторов и как это видно из словарной части этих работ, их лексической базой служил «Толковый словарь рус-

<sup>2</sup> Слова дагестанских языков передаются буквами современного алфавита.

ского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (СУ). В этом отношении весьма показательно признание М. М. Гаджиева: «Основным пособием при составлении настоящего словаря служил „Толковый словарь русского языка“ под редакцией проф. Д. Н. Ушакова. Кроме того, мы пользовались и рядом других толковых и переводных словарей» [16, с. 6]. Следовательно, экспрессивно-стилистические, грамматические, акцентологические пометы в РДДС 50-х годов в основном копируют «ушаковский» словарь. Следует отметить, что авторы РДДС не во всем придерживаются принципов подачи лексико-грамматических признаков переводимой единицы, разработанных в СУ. Некоторые составители искали более рациональные способы разработки тех или иных свойств переводимой единицы. Их поиски бывали и безуспешными. Так, например, в словаре М. М. Гаджиева, в отличие от словаря под редакцией Д. Н. Ушакова, на род существительных указывается не всегда, а лишь в том случае, когда трудно определить род существительного по его окончанию, например, *жизнь ж.*, *воевода м.* По этому же пути пошли и составители русско-лакского, русско-аварского словарей. Разумеется, это вызвано было чисто «экономическими» соображениями: стремлением за счет «техники» увеличить количество словарных статей. Но, к сожалению, иногда «техника» привела к искажению смысловой структуры лексической единицы русского языка. Это наблюдалось в основном в тех случаях, когда составители РДДС опускали экспрессивно-стилистические и диахронные пометы, сопровождающие словарные статьи в СУ. Это видно из сравнения левой части в следующих словарных статьях в СУ и РДДС:

1) СУ: *девица* (офиц. устар. разг.) и (нар.-поэт.), *дѣвица* *ы, ж.* [20, с. 667];

Русско-лакский словарь: *девица* душ (жагьилсса) [18, с. 133];

Русско-лезгинский словарь: *девица* руш [16, с. 162].

2) СУ: *дед, а, м.*

*дедушка, и, м. Ласкат* к дед. [20, с. 670]

Русско-лезгинский словарь: *дед* чѣхи буба, *дедушка* чѣхи буба [16, с. 162].

Вскоре после завершения работы над большими русско-дагестанскими словарями стали составляться русско-дагестанские школьные словари, которые вышли в свет в конце 50-х и начале 60-х годов [21—24]. Они представляли по существу сокращенные варианты больших русско-дагестанских лексикографических работ.

Известно, что учебная лексикография имеет свою специфику: школьный двуязычный словарь не может быть просто сокращенным вариантом обычных двуязычных словарей. «Он должен показывать русское слово в наиболее употребительных значениях и сочетаниях, отражать разнообразные связи заголовочного слова с другими словами, давать основные синтаксические модели, в которых оно употребляется, приводить самую употребительную фразеологию. Особое внимание необходимо уделять случаям межъязыковой идиоматичности как на лексико-семантическом, так и на синтагматическом уровнях, поскольку при порождении речи межъязыковая идиоматичность — источник интерференции» [25].

В конце 40-х и в 50-е годы издавались русско-дагестанские вокабулярии типа [26, 27]. Их левая часть содержала слова, значения которых, по мнению составителей, могли не знать учащиеся. Слова эти извлекались из русских литературных произведений, изучаемых в V—X классах общеобразовательной средней школы. В 70-е годы активизируется русско-дагестанская школьная фразеография. Первым опытом в этом направлении был «Русско-лезгинский школьный фразеологический словарь» [28]. Он содержал 1300 фразеологических единиц (ФЕ), наиболее часто встречающихся в школьных учебниках по русскому языку и литературе, художественной литературе и устной речи. В словарной статье ФЕ сопровождалась экспрессивно-стилистическими, грамматическими и акцентуационными пометами. Этот словарь получил положительную оценку специалистов-фразеологов и лег в основу других учебных и двуязычных школьных фразеологических словарей. Второй по времени выхода в свет

русско-дагестанский школьный фразеологический словарь [29] мало чем отличался от первого: и по объему, и по методике, и по научным принципам они однотипны.

Издан и русско-кумыкский фразеологический словарь [30]. К сожалению, хотя он вышел в тот период, когда уже в двуязычной фразеологии накопился определенный опыт составления русско-национальных кратких (школьных) словарей, по своему качеству он уступает первым двум русско-дагестанским фразеологическим разработкам.

С начала 80-х годов ведется работа и по переизданию русско-дагестанских словарей: уже переизданы русско-лакский, русско-даргинский, русско-табасаранский школьные словари; по планам Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР к концу одиннадцатой пятилетки должна быть завершена подготовка к изданию новых больших русско-дагестанских словарей.

Как видим, в развитии русско-дагестанской лексикографии можно выделить четыре этапа: 1) 90-е годы XIX в.; 2) 40-е годы XX в.; 3) 50—70-е годы; 4) 80-е годы.

Имеющиеся работы можно классифицировать с различных точек зрения. По характеру охватываемого материала они делятся на два типа: 1) русско-дагестанские лексические словари; 2) русско-дагестанские фразеологические словари. По объему своему они образуют три группы: а) большие, б) средние, в) малые. По своему назначению они адресованы: а) школьникам, б) широкому кругу читателей.

Для дальнейшего развития русско-дагестанской лексикографии необходимо критически оценить опыт предыдущих этапов и последующую работу по составлению словарей строить с учетом современной теории и практики словарного дела. Между тем, в республике все еще отсутствуют квалифицированные специалисты в области русско-дагестанской лексикографии. Автор русско-дагестанского словаря должен быть специалистом-лексикологом и в области русского, и одного из дагестанских языков. Практического знания одного из языков здесь явно недостаточно. Покажем это на ряде примеров.

1. Один из авторов отмечает, что он в свою работу <sup>3</sup> включает «только наиболее употребительные слова, встречающиеся в популярной литературе, газете и в разговорной речи» [31]. Ознакомившись с левой частью этого словаря, читатель может только удивиться. Вот далеко не полный перечень «наиболее употребительных слов» русской речи 50-х годов на букву *а*: *авантюрист, авось, агония, акробат, акула, амбиция, амулет* и т. д.

2. Другой автор в русско-национальный словарь включает единицы, вовсе не являющиеся фразеологическими: *дышать воздухом, жить своим трудом, не знает границ* и др., а некоторые фразеологизмы русского языка так изменены, что их трудно узнать, ср.: *как кот заплакал* вм. *кот заплакал*, *как кровь с молоком* вм. *кровь с молоком*, *нашего поля ягода* вм. *одного поля ягода* [30]. Более того, хотя автор и отмечает, что придерживается мнения А. И. Молоткова о ФЕ, в словаре в качестве ФЕ приводятся пословицы, поговорки и фразеологические сочтения.

3. Вообще надо отметить, что лексическая база всех вышедших двуязычных словарей целиком и полностью определялась и определяется их составителями. Иначе ничем нельзя объяснить тот факт, что в русско-дагестанские школьные словари объемом от 15 до 20 тыс. слов не включаются некоторые лексемы, входящие в список наиболее частотных 10 000 слов русского языка [32], как-то: *мороженое* [21], *мы* [23], *молоко* [24], *многообразие* [21, 24] и др. Более того, в [23] даны лексемы: *газоубежище, галоп, гарпун, гарцевать, гейзер, гидроплан, гидра*, но отсутствует *галстук*. Трудно оправдать наличие этих единиц и в переизданных в 80-х годах русско-дагестанских школьных словарях.

Несомненно, определение материальной базы для того или иного словаря дело нелегкое, оно связано с многими факторами. Не менее сложна

<sup>3</sup> Кстати, это единственный из изданных в Дагестане словарей, названный «карманным». Ничем, кроме объема, он не отличается от так называемых школьных русско-дагестанских словарей.

проблема отбора значения, которое должно даваться у того или иного многозначного слова. Обе эти проблемы можно решить только при наличии словарной картотеки.

Левая часть двуязычного словаря — это не только начальные формы слов. Известно, что развитие лексикографии связано с «тенденцией лексической параметризации языка», суть которой заключается в том, что в словарной форме указываются результаты изучения всех уровней языковой структуры, наращивается число параметров. При внимательном чтении имеющихся РДДС мы сталкиваемся с явно устаревшими акцентологическими, стилистико-диахронными, а в некоторых случаях и неправильными грамматическими характеристиками, сопровождающими слова: например, в двух изданиях одного и того же словаря [24, 33], представляя лексему *девчата*, составитель повторяет одну и ту же ошибку: ж. только ед.

Несмотря на отдельные недостатки, эти словари имели большое значение и сыграли огромную роль в развитии культуры народов Дагестана, в овладении русским языком, все больше проникающим в быт и сознание горцев. Составители этих словарей создали ту базу, без которой нельзя мыслить дальнейшее развитие русско-дагестанской двуязычной лексикографии. Подробный анализ положительного опыта лексикографических разработок данного этапа может и должен стать предметом специальных исследований. Вместе с тем настало время подумать о перспективах русско-дагестанской и в широком плане русско-национальной двуязычной лексикографии.

Как нам кажется, следует определить типы словарей, которые должны быть составлены в первую очередь и в перспективе. С определенной долей условности можно сказать, что тип словаря должен определяться социолингвистическими факторами, практическими нуждами изучающих русский язык, степенью владения русским языком нерусским населением. В этом вопросе весьма показательны данные переписи населения республики 1979 г. [1, с. 71]. Они позволяют сделать вывод о том, что приблизительно одна треть носителей литературных дагестанских языков все еще не владеет русским языком. К не владеющим русским языком, очевидно, относятся лица двух групп: 1) дети дошкольного возраста, 2) люди старшего поколения (пожилого возраста), проживающие в сельской местности и не обучавшиеся в школе.

Нам представляется, что как первые, так и вторые, вряд ли нуждаются в каких-либо словарях. В перспективе группа людей, не обучавшихся в школе, будет уменьшаться, и со временем все взрослое население будет свободно владеть русским языком. Следовательно, словари нужны для тех, кто учится в школе и кто, имея среднее или высшее образование, владеет русским языком, работает в различных отраслях народного хозяйства. Отсюда и другой вывод: главная цель русско-дагестанских словарей нынешнего и последующих этапов — это а) обучение русскому языку, б) дальнейшее совершенствование навыков русского языка, в) повышение культуры русской и родной речи.

Каждая из этих целей и определяет тип словаря:

а) для обучения русскому языку в первую очередь нужны русско-дагестанские учебные словари;

б) для дальнейшего совершенствования навыков русского языка необходимы русско-национальные словари среднего объема и ретроспективные словари русского языка;

в) повышению культуры русской и родной речи носителей дагестанских языков будут способствовать большие русско-дагестанские словари.

Большими и средними словарями пользуются учащиеся старших классов, работники радио, телевидения, печати и лица, углубляющие свои знания в области русского языка. Эти словари отличаются друг от друга объемом, лексической базой и параметрами. Учебные переводно-толковые словари должны иметь максимум параметров. Лексической базой для них служат данные словарей наиболее употребительных — от двух до десяти тысяч — слов. Для больших и средних словарей параметры могут быть

сокращены, потому что пользующиеся ими уже имеют определенные знания о русском языке, о его грамматическом строе и акцентологических особенностях; их максимальное количество зависит от особенностей языка, на носителей которого они рассчитаны.

Объединяющим началом и учебных, и других словарей является их активный характер: словари должны учить пользоваться русским словом в речи. Так, например, при лексикографировании слов *нитки*, *дом*, *забор*, *волосы* в русско-лезгинском словаре явно недостаточны указания на ударение (в разных падежных формах), морфологические особенности (род, число, склоняемость, спрягаемость) и передача их значения на лезгинский язык *гъалар*, *кIвал*, *жугъун*, *чIарар* (*хъилин*) соответственно, потому что понятия «покрыть краской» предметы, выраженные этим списком слов в русском и лезгинском языках, передаются по-разному. Если в русском языке для выражения этого понятия имеем одну синтаксическую модель  $V + N$  и актуализатором-глаголом его выступает *красить* (например, *красить нитки/дом/забор/волосы*), то в лезгинском языке оно реализуется различным лексико-синтаксическим наполнением:

- а) *красить дом//кIвализ шир ягъун*
- б) *красить нитки//гъалар рангадиз вигъин*
- в) *красить волосы//чIарариз ранг ягъун*
- г) *красить забор//—Ø<sup>4</sup>*.

Чтобы избежать интерферентных явлений родного языка при построении фраз с этими и подобными словами, русско-национальному двуязычному словарю необходим добротный иллюстративный материал, показывающий употребляемость описываемого слова в том или ином его значении.

Ретроспективные словари должны служить справочниками, толкующими значения лексико-фразеологических единиц-историзмов и архаизмов, встречающихся в произведениях русской классической художественной литературы, изучаемых в различных классах общеобразовательной школы. Словарь пассивен по своему характеру, он только объясняет и не дает никаких рекомендаций в отношении того, как пользоваться описываемым словом. Основное назначение его — оказать помощь читателю адекватно воспринять тексты А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др. Параметры этого типа словаря минимальны, поэтому семантизацию лексем целесообразно приводить на русском языке.

Большим подспорьем в изучении русского языка и разработке методики его преподавания в дагестанской школе станут русско-дагестанские ассоциативные словари. Без определения того, с какими словами в мышлении носителей двух языков ассоциируются те или иные коррелирующие слова, невозможно строить работу по активному усвоению лексического фонда неродного языка. Данные ассоциативных словарей помогут корректировать и иллюстративный, цитатный материал для русско-национальных учебных словарей.

В числе ближайших задач русско-дагестанской (да и, пожалуй, вообще русско-национальной) двуязычной лексикографии должно быть и составление словарей русских заимствований в дагестанских (национальных) языках. Эти словари будут иметь большое научно-теоретическое значение не только в деле изучения русского языка, — они представляют большой интерес для экологии лексики русского языка [34], социолингвистики да и для исследования самих национальных языков. Однако при составлении словарей этого типа нельзя допускать дилетантства, которое мы все еще наблюдаем в практике составления русско-национальных словарей и которое имеет место при характеристике русских заимствований в дагестанских языках. Составлению словаря русских заимствований должна предшествовать серьезная работа по сбору, каталогизации и картографированию материала, начиная с первых письменных памятников.

<sup>4</sup> Забор лезгины делали не из досок и древесного материала, а из колючего кустарника, поэтому выражение *красить забор* для лезгинского языка не обычно.

Говоря о типах словарей, необходимых в первую очередь для национальной школы, нельзя не поддержать мнения В. В. Иванова, который пишет: «... следует обратиться к разработке... тематических русско-национальных и национально-русских словарей, которые могли бы сыграть значительную роль в ускорении процесса обучения русскому языку лиц нерусской национальности...» [35]. При этом нужно добавить, что тематические русско-национальные словари должны охватить как лексические, так и фразеологические единицы. В противном случае описание тех или иных тематических групп будет неполным, односторонним.

Надо сказать, что после специальной конференции (Москва, 1976), посвященной проблемам учебной лексикографии, вопросы теории и практики учебных словарей стали широко разрабатываться. Предлагаются различные аспекты описания лексики языка в зависимости от методических потребностей (словари для учащихся и для учителя), от обращенности к языку и речи (словари «языковые», отражающие связи слов в системе языка, и «речевые», отражающие особенности функционирования слов в речи), аспектов описания языкового материала и единиц такого описания (фонетика и орфоэпия — справочники по произношению, словари ударений, словообразования — словообразовательные) и т. д.

Разумеется, можно разрабатывать эти и другие типы учебных словарей, но в двуязычной лексикографии в первую очередь должны быть составлены охарактеризованные нами выше двуязычные словари.

Итак, можно заключить, что русско-дагестанская двуязычная лексикография берет свое начало с конца 30-х годов прошлого века. Она целенаправленно развивается с 40-х годов нашего столетия, после введения преподавания русского языка как предмета в начальных классах общеобразовательной школы и перевода письменности дагестанских народов с латинской графики на русскую. Имеющиеся школьные словари являются переводными, а сравнительно большие русско-дагестанские ( $\approx$  объем 35 000 слов) — переводно-толковыми. Сейчас ведется работа по составлению новых больших двуязычных и переизданию школьных двуязычных словарей. Простое переиздание школьных двуязычных словарей как переводных не отвечает требованиям теории и практики современной учебной лексикографии. На современном этапе социально-экономического, культурного развития Дагестана, когда русский язык стал общепризнанным средством межнационального общения, лексикографические поиски должны идти в направлении ускоренного развития у нерусского населения активного национально-русского двуязычия. В этом плане серьезным подспорьем могут стать русско-национальные учебные, большие русско-национальные переводно-толковые, русско-национальные ассоциативные, русско-национальные переводные ретроспективные, русско-национальные тематические словари.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М., 1984.
2. Щерба Л. В. Из лексикографического архива. Публикации и комментарии Баблина А. М. — В кн.: Современная русская лексикография. 1981. Л., 1983, с. 156.
3. Гаджиев А. Великий русский язык — средство межнационального общения и приобщения народов Дагестана к достижениям научно-технической революции. Махачкала, 1981.
4. Ким С. С.-Д. Вопросы комплексной разработки типовой русской части для русско-национальных словарей. — ВЯ, 1981, № 5.
5. Ким С. С.-Д. О преломлении в толковых и двуязычных словарях единства языковой системы и речевой деятельности. — ВЯ, 1983, № 3.
6. Морковкин В. В. Учебная лексикография как особая лингвометодическая дисциплина. — В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977, с. 31.
7. Гак В. Г. О некоторых закономерностях развития лексикографии (Учебная и общая лексикография в историческом аспекте. — В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977, с. 13.
8. Усаар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык. Тифлис, 1989, с. 237.
9. Усаар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. VI. Кюринский язык. Тифлис, 1896, с. 604.

10. *Афанасьев М. Г.* Русско-кумыкский словарь.— В кн.: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 17. Отдел III. Тифлис, 1893.
11. Русско-аварский школьный словарь. Сост. Михайлов Ш. Махачкала, 1940.
12. Русско-лезгинский словарь для начальной школы. Сост. Гаджиев М. М. Махачкала, 1940.
13. Русско-табасаранский школьный словарь. Махачкала, 1941.
14. Русско-лакский школьный словарь. Переводчик Ханова Д. Махачкала, 1942.
15. Русско-даргинский словарь. 35 000. Сост. Абдуллаев С. Махачкала, 1950.
16. Русско-лезгинский словарь. 35 000. Сост. Гаджиев М. Махачкала, 1950.
17. Русско-аварский словарь. 37 000. Сост. Саядов М. С., Микаилов Ш. И. Махачкала, 1951.
18. Русско-лакский словарь. 34 000. Сост. Муркелинский Г. Махачкала, 1953.
19. Русско-кумыкский словарь. 30 000. Под ред. Бамматова З. М., 1960.
20. Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова Д. Н. М., 1935.
21. Русско-даргинский школьный словарь. 14 339 слов. Сост. Абдуллаев С. М., 1957.
22. Русско-лакский школьный словарь. 14 500 слов. Сост. Гаджиев М. Махачкала, 1958.
23. Русско-лезгинский школьный словарь. 13 354 слова. Сост. Гаджиев М. М. Махачкала, 1956.
24. Русско-табасаранский школьный словарь. 16 220 слов. Сост. Гаджиев А. Махачкала, 1957.
25. *Вайгала Э. А.* Об одном типе школьного двуязычного словаря.— В кн.: Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике. М., 1978, с. 96.
26. Русско-кумыкский словарь. Приложение к книге «Литературное чтение для V класса». Махачкала, 1957.
27. Русско-лезгинский словарь. К учебнику русского языка для V класса. Махачкала, 1948.
28. *Гюльмагомедов А. Г.* Русско-лезгинский школьный фразеологический словарь. Махачкала, 1973.
29. *Загиров А. М.* Русско-табасаранский школьный фразеологический словарь. Махачкала, 1977.
30. *Даибова К. Х.* Кумыкско-русский и русско-кумыкский фразеологический словарь. Махачкала, 1981.
31. Русско-даргинский словарь. Махачкала, 1950.
32. Частотный словарь русского языка. Под ред. Засориной Л. Н. М., 1977.
33. *Гаджиев А.* Русско-табасаранский школьный словарь. Махачкала, 1982.
34. *Караулов Ю. Н.* Обратный словарь заимствований как способ изучения лингвоэкологии.— ИАН СЛЯ, 1979, № 6.
35. *Иванов В. В.* Некоторые вопросы изучения русского языка как средства межнационального общения народов СССР.— ВЯ, 1981, № 4, с. 10.

РЕЦЕНЗИИ

**Чикобава А. С.** Общее языкознание. II. Основные проблемы. — Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1983. 488 с. (на груз. яз.).

Рецензируемая книга создавалась в Тбилисском государственном университете на кавказском и востоковедческом отделениях в 1935—1936 гг., когда приходилось специально доказывать необходимость подобного курса в лингвистической подготовке специалистов-языковедов. Первое издание вышло в 1945 г. [1]. Аналогичной работы ни на грузинском, ни на русском языке ни тогда, в тяжелые военные годы, ни в данное время не написано.

Автор ставит целью привить лингвисту навыки научного мышления, вкус к анализу, к размышлению. Поэтому любое утверждение наполняется содержанием в живом диалоге со всеми значительными, основополагающими лингвистическими теориями. Читатель имеет возможность проследить за ходом рассуждений, вочью убедиться, на каких основаниях, общепсихологических, общетеоретических и методологических посылах строится теория языка. Поэтому ни одно положение не является просто информативным. Книга несет отпечаток яркой индивидуальности автора, содержит внутреннюю логику развития идей, характерных именно для А. С. Чикобава.

Несмотря на то, что по целеприцеленности книга является учебником по теории и методологии языкознания, по своей сути — это оригинальное теоретическое исследование. Не случайно, что основные теоретические положения, развиваемые в ней, сыграли фундаментальную роль в становлении отечественного языкознания, начиная с 1940 г., когда по предложению акад. И. И. Мещанинова в Ленинграде автором был прочитан доклад «Проблема языка как предмета лингвистики» [2]. Лингвистике вернули ее классический гуманитарный предмет. Высоко оценивая вклад Н. Я. Марра в филологическую науку, А. С. Чикобава опровергает его теорию о якобы классовом и надстроечном характере языка и ставит в центр исследований исторически развивающийся общенародный язык как специфическое социальное явление, как основу развития мышления и культуры народа. Было реабилитировано сравнительно-историческое языкознание.

Теория А. С. Чикобава, развиваемая в рецензируемой книге, зиждется на нескольких исходных постулатах.

1) Воззрения на язык приобретают статус научной мысли благодаря историческому подходу к сущности языка: «Научной впервые становится историческая (историко-сравнительная) грамматика

(XIX в.), она показала, что единые (общие) категории мысли не гарантируют единства (общности) их выражения ни в различных языках, ни в одном и том же языке на различных этапах его развития» (с. 439). Принцип развития был чужд как филологической, так и философской (рациональной) грамматике. Поэтому грамматика (как и вообще лингвистика) становится научной благодаря принципу развития, благодаря историческому подходу к фактам языка. Эта фундаментальная черта определяет чисто лингвистический подход в отличие от философского и психо-психологического рассмотрения сущности языка. Креп в сторону дескриптивизма, чистой формы, универсализма, примат дедукции и т. д. в лингвистике 30—50-х гг. XX в. объясняется антиисторизмом, который вряд ли получил бы такой размах, если бы этому не способствовали общие тенденции развития зарубежной философской мысли в ту эпоху (феноменология Гуссерля, логический позитивизм и т. д.).

2) Одновременно разные языки и один и тот же язык в разные временные отрезки могут существенно различаться по своей структуре (вплоть до типа языка); сходство функций не определяет сходства структуры. Это исходный факт и итоговое положение исторического языкознания.

3) Только общество, коллектив превращает человека в историческое существо. Язык — это орудие общения людей, поэтому основой функцией языка является коммуникативная функция (язык как орудие общения). Все остальные функции (экспрессивная, эмотивная и т. д.) в своей основе подразумевают коммуникативную функцию, без нее язык бы не возник, а возникнув, не стал бы развиваться.

4) Язык — система знаков, служащих общению. Языковой знак по своему материалу — явление физическое (звук, жест, мимика), по своему назначению — явление социальное. Если бы язык не был знаковой системой, лингвистика была бы естественнонаучной дисциплиной. Будучи же наукой социальной — лингвистика тем самым принципиально относится к гуманитарной области знаний.

Исходя из указанных посылок, автор строит внутренне непротиворечивую, цельную теорию языка, дает системный анализ следующих основных проблем общего языкознания: 1) проблема предмета лингвистики; 2) методы лингвистиче-

ского исследования: сравнительно-исторический подход; палеонтологический метод яфетической теории; метод статического, дескриптивного анализа; 3) проблема структуры языкознания (отдельные лингвистические дисциплины и их взаимодействие); 4) место лингвистики среди других наук; взаимоотношение лингвистики и философии языка. Эти проблемы рассматриваются как в общем плане (гл. I), так и специально (гл. III—IV).

В первой главе автор подчеркивает, что общее языкознание решает свои проблемы главным образом на базе эмпирических исследований. Чем больше языков изучено, тем надежнее общие выводы. При решении спорных теоретических вопросов основным критерием должна быть практика эмпирических исследований и истории языкознания. Со своей стороны, обобщение языковых данных, создание на их основе стройной, непротиворечивой теории обеспечит дальнейшее продвижение лингвистики в изучении языка как средства общения в его отношении к мышлению и культуре народа.

В этом состоит отличие теории общего языкознания от философии языка, являющейся составной частью философской концепции. По существу то же можно утверждать и относительно психологии языка. В данном случае язык служит лишь средством решения психологических проблем с точки зрения психологической теории и методологии.

Но поиски предмета лингвистики не приводят автора к пуризму и формализму: подчеркивая различие общелингвистической и философско-психологической теорий языка, автор видит вазущую необходимость в их взаимосвязи. Лингвист, не учитывающий данные философии и психологии языка, обедняет свой кругозор и неправомерно сужает свой предмет. Лингвистика — интегральная наука, поэтому А. С. Чикобава и его последователи всегда подчеркивали фундаментальное значение проблем семантики, связи языка и мышления, языка и культуры, хотя требования к теории языка как лингвистической дисциплины подразумевают ее эмпирическую базу, опирающуюся на специфически лингвистическую методологию и историю.

Во второй главе анализируется язык как предмет языкознания, дается критический анализ основных направлений языкознания: натурализма (Ф. Бопп, А. Шлейхер, М. Мюллер), индивидуалистического психологизма (теоретики, Пауль), психологического социологизма (Ф. де Соссюр, А. Мейе), структурализма как развития концепции Ф. де Соссюра, эстетизма (К. Фосслер, Б. Кроче), вульгарного социологизма в понимании языка (Н. Марр), физикализма, бихевиоризма (Уотсон, Блумфильд). Вторую главу предвзвешивает беглый взгляд на теорию В. фон Гумбольдта. Автор относит воззрения последнего к области философии языка, поэтому наследием великого гуманиста он вплотную не занимается.

Книга содержит приложения: «О философских проблемах языкознания» и место резюме на русском языке две дополнительные главы: I. Историзм и языкозна-

ние; II. Описание языка и принцип гомогенности.

Свои основные выводы автор формулирует следующим образом:

- 1) Историзм в лингвистике находит принципиальное обоснование в конституционном свойстве языка, его изменчивости.
- 2) Лингвистика как объяснительная наука о языке немислима без историзма.
- 3) Лингвистика без историзма перестает быть гуманитарной наукой.
- 4) История языка в связи с историей культуры и историей мышления — это главное в историческом языкознании.
- 5) В изучении подлинной истории языков лингвистике как гуманитарной науке значительную помощь может оказать не сравнительная грамматика, а грамматика историко-сравнительная.

Исследуя проблемы описания языка в связи с принципом гомогенности, автор заключает:

- 1) Описание системы языка — задача описательной лингвистики, которая неправомерно претерпевает за последние 50 лет на место «первой лингвистики». Но система описательной лингвистики до сих пор не создана; принципиальные вопросы описания системы языка продолжают оставаться спорными.

- 2) Наиболее сложной оказывается систематика фактов. Объективная тому причина: многоплаговость языковых фактов, их динамичность. Субъективными моментами, усложняющими трудности объективного характера, оказываются: неясности в понимании таких опорных понятий, как структура, функция, значение (лексическое, грамматическое), а также отсутствие последовательности в выделении лингвистических единиц и несоблюдение логических принципов формулировки и разграничения понятий.

- 3) С учетом практики изучения языков различного строя автор считает более обоснованной концепцию, согласно которой основными лингвистическими единицами различных уровней признаются: фонема — слово — словосочетание (предикативное, атрибутивное).

- 4) Фонема не имеет означаемого. Слово и словосочетание соотносятся с означаемым, поэтому они могут иметь два измерения (значение и структура).

- 5) Значение слова — это отношение к означаемому. Это — отношение первичного характера, основное отношение. Структура слова выражает отношения вторичного характера.

- 6) В языках различного типа структурные отношения могут быть выражены при помощи различных средств. По семантическим моментам наблюдается максимум близость между языками: перевод лексики одного языка на другой осуществим (хотя адекватность достижима не полностью). По структурным же отношениям и средствам их выражения расхождения между языками могут быть максимумными. Ни морфология, ни синтаксис «непереводимы». «Универсальная грамматика» так же нереальна, как нереальна «универсальная структура».

- 7) В описании слов и словосочетаний можно исходить из означаемого или из

структуры означающего, а также одновременно из того и из другого.

8) Логичизм и психологизм ориентировались на означаемое. Структура означающего (слова, предложения) не находила адекватного отображения в соответствующих понятиях.

9) Наиболее простым решением вопроса было бы отображение в понятиях одновременно и семантики и структуры — существенных признаков и той и другой. К сожалению, это осуществимо лишь частично, и то в отдельных языках. В большинстве случаев семантическое и структурное своеобразие, как правило, не учитывается.

10) Отсюда — необходимость при описании фактов языка выделять понятия двойного рода: структурные понятия по структурному признаку, семантические — по семантическому, следуя принципу гомогенности. Это даст возможность должным образом отобразить в описании системы любого языка, независимо от его структуры, и общее, и отличное, т. е. то, что характерно для индивидуальности описываемого языка.

Можно заключить рецензию утверждением, что книга является компендиумом по всем теоретическим вопросам лингвистики. Основной подход к языку, осуществленный в труде, можно охарактеризовать как реалистический, гармонично сочетающий все основные свойства изучаемого явления, без гипертрофии какого-либо одного его аспекта, будь то структура, форма, значение, синхрония или диахрония. Единственные категории, выделенные особо, это — *и м м а н е н т н ы й* предмет лингвистики и *и с т о р и з м* как предмета, так и методологии.

Концепция акад. А. С. Чикобава нам представляется естественным продолжением классической материалистической теории языка.

**Касевич В. Б.** Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. — М.: Наука, 1983. 294 с.

В отечественном языкознании фонология всегда занимала важное место. Именно в русском и советском языкознании были заложены основные принципы фонологической теории, давшие свои позитивные результаты. Труды И. А. Бодуэна де Куртене, Е. Д. Поливанова, Л. В. Щербы, Л. Р. Зиндера, Р. И. Аванесова, А. А. Реформатского, Г. П. Торгусева, В. К. Журавлева, Л. В. Бондарко и др. составляют единое целое, характеризующееся разнообразием творческих поисков.

Книга В. Б. Касевича вносит немало нового в развитие фонологической теории, ибо, во-первых, она осуществляет синтез основных положений традиционной, классической фонологии и новых представлений, возникших в последние десятилетия, а во-вторых, в ней содержится экспериментальная и *р о в е р*ка фонологических концептов.

Можно было бы поспорить с автором в понимании знаковости: всегда ли язык функционирует в качестве знаковой системы? В интерпретации принципа гомогенности: возможно ли раскрытие сущности структуры в чисто структурных понятиях? Невозможность дельной универсальной грамматики не вызывает сомнений, но значит ли это, что невозможны универсальные высказывания о языке, не философского, а лингвистического характера?

Можно было бы поставить и другие аналогичные вопросы. Но полемика с автором книги накладывает на рецензента серьезную обязанность построения в противовес ей такой же стройной, продуманной до конца (начиная с философского мировоззрения и исходных постулатов и кончая эмпирическими лингвистическими выводами) теории. В этом я вижу основное достоинство книги. Проблемы, поставленные в ней, благодаря своей ясности, четкости и бескомпромиссности стимулируют мысль и побуждают к теоретической работе, к обобщениям, учитывающим всю сложность диалога в современной науке.

Издание книги акад. А. С. Чикобава — современная публикация.

*Мачоэриани М. В.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. Чикобава А. С. Общее языковедение. II. Основные проблемы (на груз. яз.). Тбилиси, 1945.
2. Чикобава А. С. Проблема языка как предмета лингвистики в свете основных задач советского языковедения. — Известия Ин-та языка, истории и материальной культуры АН Груз. ССР, 1941, т. X.

Фонология является той областью языкознания, которая апробирует наиболее точные методы исследования, получающие в дальнейшем свое распространение и при анализе других уровней языковой системы. Поэтому очень важно, чтобы фонологические концепты были хорошо отработаны и отражали языковую реальность. Трактовка фонологических единиц должна быть адекватна материалу. В. Б. Касевич прав, отвергая так называемый «фономоцентризм» и утверждая, что «фонома — лишь одна из фонологических единиц» (с. 4).

Книга состоит из введения и семи глав. Во вводной части автор излагает общую схему фонологического анализа. В основе лингвистического анализа — применение абстракции отождествления. Сама по себе последняя не налагает ограничений на выбор признака, используемого

как основание отождествления. С изменением признака изменяются результаты описания материала, набор единиц, слогом, лингвистическая модель. Отсюда следует важность выбора признака, его обособленность. Признаки должны носить функциональный характер, что простекает из основного назначения языка — быть средством общения. На этом пути исследователи ждут определенные сложности, так как фонетические единицы сами по себе не передают смысла, а лишь обслуживают вышележащие уровни, обеспечивая их функционирование. Кроме того, выяснение функций элемента может являться результатом анализа, и исследователь вынужден выбирать среди нескольких функций, свойственных элементу. Важно, что при этом В. Б. Касевич вскрывает внутренние противоречия, отсутствующие процедуре анализа, принятого решения о его характере.

Отправной точкой анализа автор считает текст. Он убедительно показывает, что текст не есть «естественный» физический объект, над которым нужно произвести некоторые формальные операции, чтобы установить в результате систему языка, так как подобный подход к тексту оборачивается афункциональностью. Известно, что для каждого фонолога возникает проблема сегментации текста. Представление о том, что текст естественно членится на определенные сегменты, воспринимается фонетистами как наивное, ибо звучащий текст имеет ярко выраженный континуальный характер. Исходя из этого, В. Б. Касевич утверждает, что «лингвист в известном смысле не членит, а ест с некоторой фонологической, фонемной записи текста, и все процедуры сегментации представляют собой не что иное, как способы доказательства определенного фонологического членения текста» (с. 17). Для определения адекватности фонемного членения автор видит две возможности: 1) выяснение того, какой именно способ выделения фонем соответствует дальнейшему рассмотрению языковых уровней, в частности морфологического, 2) использование специальных критериев верификации.

В первой главе «Установление системы фонем языка» предпринят анализ второго пути определения адекватности фонемного членения. Там же обсуждаются такие вопросы, как содержание понятий фонемы и фона, оппозиции, дифференциального признака, ставится проблема соотношения «абстрактности и конкретности» в фонологии, рассматриваются формальное и натуральное направления фонологической теории.

В. Б. Касевич наглядно демонстрирует, что ассоциативный анализ по существу своему афункционален, следовательно, не может быть эффективным. Известно, что правила Грубецкого не все лингвисты принимали безоговорочно (например, А. Мартине). Здесь было бы уместно сослаться на работы советских лингвистов и, в частности, на детальный анализ правил Грубецкого, данный Г. П. Торсуевым [1].

Вслед за Щербой Касевич счтает, что

основным критерием верификации фонологической сегментации выступает проверка рассматриваемого сегмента на морфологическую членимость. Морфологический критерий по-разному понимается различными лингвистическими школами. Анализируя расхождения Московской и Ленинградской фонологических школ, автор указывает, «что для школы Щербой тождество морфемы — это тождество *универсально-автоматического варианта морфемы*» (с. 45). Именно обращение к морфологии делает анализ функциональным. Отождествление сегментов также может быть корректным лишь на функциональной основе: фонетистам давно известно, что фонетическое сходство — это скорее фикция, чем реальность.

Итак, морфологический критерий последовательно проводится автором как при сегментации, так и при отождествлении сегментов. При этом важно подчеркнуть, что отождествление через фонологические признаки, выведенные из функционально установленных соотношений, ни в коей мере не может считаться аналогом отождествления по фонетическому сходству, наблюдаемому до выяснения системы фонем. Можно сказать, что процедура предложенная автором, логична, корректна. Нельзя не согласиться с В. Б. Касевичем, когда он пишет, что «вообще реально лишь направление анализа „сверху вниз“, т. е. от крупных единиц к мелким» (с. 44).

Во второй главе «Слог» обсуждается проблема слога. Автор констатирует, что статус слога в фонологической теории отличается наименьшей определенностью. Последовательнее рассматривая функцию слога, слогоделение, структуру слога, он выдвигает новую концепцию о двух типах глубинных слогов и их соотношения с поверхностными слогами. По его мнению, функции слога не могут быть сведены к просодической, фонотактической (дистрибутивной) или коартикуляционной. Автор замечает, что если основная функция слога — коартикуляционная, то слог должен считаться фонетической единицей. Слог относится к тому же типу единиц, что и словосочетание или предложение, ибо имеет схемы и правила построения, собственные каждому данному языку (что не исключает, естественно, универсальных характеристик). Таким образом, слог — единица синтагматическая, в отличие от фонемы — единицы парадигматической. В. Б. Касевич уточняет, что это утверждение правомерно для неслоговых языков; в слоговых же языках слог — единица парадигматическая. Помимо перечисленных функций, слогу, по мнению автора, присущи ритмообразующая функция, функция единицы решения при речевосприятии, а также функция основной оперативной единицы детской речи соответствующего этапа.

Представляется важной мысль о том, что лингвист не должен стремиться снять неоднозначность решения информантов в пользу того или иного единственного типа слогоделения, а должен попытаться объяснить ее. Иначе говоря, слог как бы не обладает жесткой структурой на поверхностном уровне. Следует отметить,



можно обнаружить лишь одно ударение? Видимо, этот вопрос требует более детального обсуждения.

В. Б. Касевич разработал новую классификацию просодических систем, основанную на трех признаках релевантности/иррелевантности: просодической характеристики каждого слога; места ударения; качества ударения. В результате он получает шесть классов, которые представляют несомненный интерес. Здесь же автор касается проблемы фонаций, часто привлекающей к себе внимание лингвистов в последнее время. Автор прав, считая, что эта проблематика требует отдельного исследования.

В двух заключительных главах «Фонологические аспекты речевой деятельности» и «Фонологический компонент языка и его уровни» предпринята попытка осветить некоторые, весьма существенные аспекты, связанные с функционированием тех компонентов языковой системы, которые ответственны за порождение и восприятие звуковой стороны речи. Продуктивной представляется мысль автора о том, что «первым должен генерироваться интонационный контур, поскольку он наиболее тесным образом соотносится с семантическим планом высказывания» (с. 193). Порождение ритмических структур — это следующий шаг в конкретизации общего замысла. И при порождении речи, и при ее восприятии происходит движение с высших уровней к более низким.

В последней главе В. Б. Касевич подводит итог наиболее важным для него теоретическим положениям. По его мнению, не вполне корректно считать фонологию нижним уровнем языкового анализа. Это особый сложный организованный уровень со своей иерархией единиц, куда

включены и интонационные, и просодические, и сегментные компоненты, которые коррелируют с другими явлениями языка — глубокой семантикой, коммуникативными типами высказывания, морфологической структурой слова.

В целом в книге изложена непротворечивая концепция — результат многих лет чтения лекций, проведения экспериментов, размышлений над кардинальными проблемами фонологии. Ее прочтение будет полезным не только для фонетистов, но для всех тех, кому небезразлично новое слово в науке о языке. Не случайно решением Ученого совета Ленинградского ордена Ленина и Трудового Красного знамени Государственного Университета имени А. А. Жданова от 28 января 1985 года В. Б. Касевичу за научные работы по общему и восточному языковедению присуждена университетская премия первой степени.

Торсуева И. Г.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Торсуев Г. П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. Л., 1969.
2. Алатов В. М. Вопросы восточного языковедения. М., 1983.
3. Принципы описания языков мира. М., 1976.
4. Горгочиев Ю. А., Палм Ю. Я., Рождественский Ю. В., Сердюченко Г. П., Соинцев В. М. Общие черты в строе китайско-тибетских и тибологических близких к ним языков Юго-Восточной Азии (К проблеме моносиллабизма). — В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. М., 1964.

Структура предложения в языках различных типов. Палеоазиатские языки. Стр. ред. Панфилов В. З., Скорик П. Я. — Л.: Наука, 1984. 270 с.

Рецензируемая книга представляет собой коллективную монографию, посвященную вопросам синтаксиса ряда палеоазиатских языков, а именно чукотского, корякского, эскимосского и ительменского. При значительных успехах, достигнутых в 50—70-е годы в области исследования морфологии палеоазиатских языков [1—5], их синтаксис оставался фактически не изученным, так как затрагивался лишь частично в отдельных статьях [6—8] в плане выяснения общего типологического состояния этих языков или в кратких очерках об этих языках [9—10], а в основном лишь косвенно в связи с исследованием морфологии частей речи и определением статуса различных грамматических категорий. Между тем общезвестно, что без изучения синтаксиса того или иного языка нельзя получить полного представления о его строе в целом, ибо, как полагал акад. И. И. Мещанинов, «...строение языка сводится в основном к лексике и синтак-

сису, обслуживаемым разными средствами морфологии» [11]. Это особенно важно в отношении палеоазиатских языков вследствие своеобразия их паратаксиса и гипотаксиса, а также в связи с проблемами эргативности, вербодентризма, инкорпорации, полисинтетизма и т. д. Поэтому рецензируемая монография открывает новый этап в исследовании палеоазиатских языков, в первую очередь структуры предложения в этих языках. Однако монография представляет значительный вклад и в общую теорию предложения, поскольку в ней поднимаются и плодотворно решаются кардинальные проблемы предложения как универсальной языковой единицы.

Первая глава монографии «Структура предложения и его признаки как языковой единицы» является общетеоретической основой книги в целом.

В соответствии с положением диалектического материализма о единстве языка и мышления автор этой главы —

В. З. Павфилов — обосновывает необходимость анализа предложения как особой языковой единицы в единстве с воплощенными в нем формами мышления, прежде всего с суждением.

В суждении четко выделяются два структурных уровня — уровень структуры суждения как пропозициональной функции, представляющей собой сочетание л-местного предиката и его аргументов, и уровень субъектно-предикатного членения. Структура суждения как пропозициональной функции отражает характер объективных связей в действительности, субъектно-предикатная структура обуславливается направленностью познавательного процесса. Обе структуры находят формально-языковое выражение в структуре предложения. Автор справедливо утверждает, что первая из них коррелирует с синтаксическим членением предложения, не находясь с ним, однако, в отношении взаимно-однозначного соответствия, вторая же изоморфна логико-грамматическому, или актуальному, членению предложения, которое, как обоснованно подчеркивается в рецензируемой книге, должно изучаться в синтаксисе наряду с синтаксическим членением предложения. Вполне оправдана критика попыток рассматривать логико-грамматическое членение как явление, промежуточное между мыслью и ее структурой, с одной стороны, и предложением как языковой единицей — с другой, поскольку логико-грамматическое членение предложения есть не что иное, как субъектно-предикатная структура мысли, компонентами которой маркированы определенными формальными языковыми средствами.

Представляется правомерным признание предикативности всеобщим свойством всех типов предложения, ее квалификация как отнесенности содержания предложения к действительности и критика в связи с этим теорий, сводящих предикацию к обобщению или усматривающих выражение предикативности в категориях лица и времени. Естественным оказывается вывод о связи предикативности с модальностью. Беспорной заслугой автора является четкое разграничение предикативности как принадлежности логико-грамматического уровня предложения и сказуемости как признака синтаксического уровня, хотя специфика сказуемости в монологии, к сожалению, не раскрывается. Правильно отмечая, что в предложениях с логико-грамматическим членением предикативность осуществляется в предикативном отношении, т. е. в отношении между логико-грамматическим субъектом и предикатом, автор, однако, не выясняет, как осуществляется предикативность при отсутствии такого членения.

Убедительными представляются критика слишком широкого понимания модальности, разграничение модальности субъективной и объективной при учете отсутствия резкой грани между ними, отнесение субъективной модальности к логико-грамматическому уровню, а объективной модальности к синтаксическому уровню членения предложения.

Справедливо признание объективной модальности как отражения характера связей самой объективной действительности составной частью конкретного содержания предложения, а субъективной модальности как оценки адекватности этого отражения — формально-грамматическим значением предложения, формальной характеристикой выражаемой мысли. Подчеркивая, что и субъективная, и объективная модальность получают полное выражение только в составе предложения, автор допускает возможность их выражения и вне предложения. Действительно, объективная модальность может выявляться и вне предложения (в словосочетании). Беспорным фактом, konstатирваемым в первой главе, является выражение субъективной модальности в обособленных определительных оборотах, однако сами эти обороты возможны только в составе предложения; изолированные от предложения, они теряют статус обособленных и перестают выражать субъективную модальность, которая обнаруживается лишь на стыке обособленного оборота и поясняемого им слова или сочетания слов.

В работе большое внимание уделено соотношению и взаимодействию синтаксического и логико-грамматического уровней членения предложения, хорошо раскрыта специфика этого взаимодействия в языках различных типов. Весьма значимым представляется вывод о том, что логико-грамматическое членение предложения обслуживает только субъектно-предикатную структуру суждения, а синтаксическое членение при совпадении направленности действия обоих уровней структуры суждения обслуживает не только структуру суждения как пропозициональной функции, но и его субъектно-предикатную структуру. Несомненную ценность составляют соображения автора о соотношении различных формально-языковых средств маркирования субъектно-предикатной структуры мысли.

Последующие главы книги (II—V) посвящены соответственно синтаксису эскимосского, чукотского, корякского и ительменского языков; они написаны ведущими специалистами по этим языкам — Г. А. Меновщиковым, П. Я. Скорником, А. Н. Жуковой, А. П. Володиным — и в целом дают достаточно полное представление о структурных типах предложений в этих языках.

Во второй главе рассмотрены структурные разновидности предложения в эскимосском языке — предложения абсолютной конструкции, эргативной конструкции, двучленные бессубъектные предложения с глаголом страдательно-пассивного значения типа *Кэйжиж, птыгунэж* «Собака привязана», *Нэйзэж анйгульэгулэ* «Гору заснежило», одночленные предложения с отыменными безличными глаголами типа *Мамлэста* «Стемпело» и др. Весьма ценны наблюдения автора о различных вариантах абсолютной и эргативной конструкций — двух основных структурных типов эскимосского предложения. Отмечается, что ведущим признаком эргативной конструк-

ции предложения является глагол в его субъектно-объектной форме в сочетании с субъектным актантом, выраженным именем в эргативном (относительном) падеже, и объектным актантом, выраженным именем в абсолютном падеже: *Иүгүм агалтака кикмиң* «Человек ведет-он-ее собаку». Любопытно, что это же предложение основывается на абсолютной конструкции, если субъектно-объектная форма глагола заменяется на субъектную, управляющую не прямым дополнением в абсолютном падеже, а косвенным в творительном падеже: *Иүк агалтикуң кикмиң* «Человек ведет-он собаку». Автор подробно разбирает случаи эллипсирования именных членов предложения и случаи оформления подлежащего при эргативной конструкции предложения не эргативным, а абсолютным падежом. В главе впервые рассмотрены вопросы актуального членения эскимосского предложения и его модальность, дан обстоятельный анализ членов предложения, порядка слов в предложении, а также синтаксических образований, выполняющих роль придаточных предложений. На основе исследования актуального членения предложения делается очень важный вывод о том, что актуализация различных членов предложения достигается в эскимосском языке не с помощью интонационных средств и порядка слов, а изменением всей структуры предложения. Так, при логическом выделении в предложении *Озотник ведет собаку* объекта действия используется эргативная конструкция (*Ибэриниңтиң агалтака кикмиң*), а при логическом выделении субъекта действия или самого действия — абсолютная конструкция (*Ибэриниңта агалтикуң, кикмиң*), хотя в том и другом случае действие мыслится как переходное. Отмечается, что модальность в эскимосском языке также является одним из способов актуализации действия и выражается как наклонениями глагола и его зависимыми периферийными формами, так и большой группой слов модальной семантики (наречия, модальные частицы и союзы, модальные аффиксы) и интонацией.

Касаясь вопроса генезиса эргативной конструкции в эскимосском языке, автор предполагает, что она возникла в результате преобразования именных possessивных конструкций типа *Иүгүм найца* «человека копые-его»; между именными членами подобных конструкций вставлялся глагол с субъектно-объектным оформлением, что как раз и давало эргативную структурную разновидность предложения. Внешнее оформление эргативной конструкции, возможно, развивалось по предложенной автором схеме (ср. также замечания И. И. Мещанинова о сходстве в эскимосском языке эргативной глагольной и possessивной именной конструкций [11, с. 108—109]), но с содержательно-типологической точки зрения появление эргативной конструкции было, несомненно, обусловлено изменением общего типологического состояния языка и ориентацией эскимосского языкового типа на передачу агентивно-фактивных отношений.

В третьей главе монографии рассматриваются структурные разновидности предложения в чукотском языке. Автор выделяет прежде всего две основные группы: (1) глагольные предложения и (2) предложения с неглагольным сказуемым, а внутри первой — непереходно-глагольные и переходно-глагольные предложения, предложения с инкорпоративным глагольным комплексом и предложения с аналитическим сказуемым. Кроме того, как и во второй главе, в третьей рассмотрены предложения с депричастными оборотами, заменяющими придаточные предложения, а также способы выражения модальности и порядок слов в предложении.

Внимание автора сосредоточено прежде всего на двух основных структурных разновидностях предложения в чукотском языке — эргативном и абсолютном (в терминологии автора — номинативном).

Соответствующий раздел главы начинается с обсуждения давнего спора об активном или пассивном характере эргативной конструкции, который представляется в свете новейших исследований эргативности (см. особенно [12, 13]) уже не актуальным.

Заслуживают внимания выводы автора о различных вариантах эргативной конструкции при сказуемом в конкретно-объектной форме и значе эргативной конструкции абсолютной при сказуемом в обще-объектной форме, ср.: *Гыһнак тугмыт маткиит тыйһонат* «Я товарищей едва догнал» — *Гыһ тинэрэтырһым тэкиһэ тоһгыт* «Я везу мясо товарищам».

Обстоятельному анализу подвергнуты также предложения с инкорпоративным глагольным комплексом, являющиеся отличительной особенностью чукотско-камчатских языков (кроме ительменского). Автор не углубляется в традиционный спор о сущности инкорпорирования, отсылая читателя к своим прежним работам. Между тем, учитывая, что вопрос об инкорпорировании остается актуальным, было бы целесообразно рассмотреть на материале чукотского языка интересные идеи В. Э. Павфилова об инкорпорировании, высказанные еще в 50-х годах [14—16], в частности, положение о том, что в ивигском языке в соответствующих случаях наблюдается примыкание, а не инкорпорирование, а также выводы акад. И. И. Мещанинова [17] и учесть важные положения А. Н. Жуковой в ее недавней статье [18].

Анализируя предложения с инкорпоративным глагольным комплексом, автор выявил условия употребления в них эргативной и абсолютной конструкций. Интересно, что включение имени прямого объекта в инкорпоративный комплекс приводит к внутрисглагольной переходности как качественной характеристике действия, и в итоге такая инкорпоративная конструкция предложения оформляется как абсолютная.

В главе убедительно показано, что в чукотском простом предложении, как и в предложении большинства палеоазиатских языков, доминирует глаголь-

дая словоформа, являющаяся в силу своего субъектно-объектного оформления организующим центром предложения, а именные члены предложения конкретизируют субъектно-объектные глагольные показатели. Отмечается также, что в чукотско-камчатских языках простое предложение превалирует над сложным, особенно сложноподчиненным. Представляется, однако, спорным вывод автора о том, что слабая развитость в чукотском языке сложноподчиненных предложений обусловлена широким распространением дееспричастных оборотов, отличающихся в этом языке большей самостоятельностью, чем соответствующие обороты в иноструктурных языках. Слабая развитость чукотских сложноподчиненных предложений не вытекает с неизбежностью из факта широкого распространения дееспричастных оборотов, о чем свидетельствует материал многих других сибирских языков.

В четвертой главе исследуется структура предложения в корякском языке. После краткой характеристики предложений, основывающихся на абсолютной и эргативной конструкциях, описаны члены предложения, типы синтаксических отношений и приемы их выражения, модальность, порядок слов и рассмотрены вопросы актуального членения предложения. Отмечается, что в предложениях со сказуемым — переходным глаголом, для которых характерно эргативное построение, подлежащее принимает в зависимости от того, чем оно выражено (личным местоимением, именем 1 или 2-го склонения) форму эргативного, творительного или местного (совмещающих эргативных) падежей. Очень важными представляются выводы автора об актуальном членении корякского предложения в связи с особенностями употребления инкорпоративных комплексов, порядком слов и лексической наполняемостью предложений. Установлено, что для актуализации членов предложения используется наличие/отсутствие инкорпорирования, инверсия, эллипсирования личных местоимений, а также варьирование синтетических и аналитических форм глаголов переходной семантики типа *Ынан тыма йыттын кайчын* «Он убил медведя» — *Ынан тымэн кайчын* «Он убил медведя» с логическим выделением сказуемого в первом варианте.

Пятая глава посвящена изучению структуры предложения в ительменском языке. Обобщая результаты прежних исследований по ительменскому глаголу и структуре простого ительменского предложения, автор приходит к выводу, что нет оснований для выделения в этом палеоазиатском языке эргативной конструкции и он может в целом рассматриваться как язык номинативной типологии. Аргументация автора представляется убедительной; особенно показателен факт наличия в этом языке залоговой (актив : пассив) оппозиции, ср.: *Т'саай энкичиен мин'д'* «Лиса поймала зайца» — *Мин'д' энкичиен т'саайенк* «Заяц пойман лисой».

Далее автор описывает способы выражения членов предложения, структуру

вопросительных, побудительных и отрицательных предложений, способы выражения модальности. Особое внимание уделено вопросам актуального членения предложения, которое связано, с одной стороны, с порядком слов в предложении, а с другой — с известными структурными изменениями в предложениях с инфинитивом III; так, при субъектно-объектной конструкции субъект и объект актуализуются в равной мере и оба оформлены основным падежом; при обобщенно-субъектно-объектной конструкции структурообразующим компонентом является только объект, оформленный основным падежом; субъект является второстепенным компонентом конструкции и оформлен косвенным (местным) падежом.

Несмотря на некоторые частные отличия, в главах II—V охватывается в целом один и тот же круг вопросов — основные структурные разновидности предложения, члены предложения и их выражение, характеристика типов синтаксической связи, выражение модальности (объективной и субъективной), по В. З. Панфилову [9], порядок слов, актуальное (или логико-грамматическое, по В. З. Панфилову [20]) членение предложения и др. Таким образом, монография представляет исследование синтаксиса простого предложения, хотя в разделах II и III глав о дееспричастных оборотах затронуты и вопросы сложноподчиненного предложения.

Поскольку книга задумана как коллективная монография, то следовало бы избежать терминологического разнобоя, в частности касающегося абсолютного падежа и абсолютной конструкции предложения. Так, в III и V главах употребляются термины «номинативная конструкция», «(прямой) номинативный падеж», противопоставляемые терминам «эргативная конструкция», «эргативный падеж»; но в описаниях языков эргативного строя оправдан именно термин «абсолютный», введенный Б. Г. Богоразом и акад. И. И. Мещаниновым и всесторонне аргументированный в работах Г. А. Климова [21].

Важный вопрос о залоговых оппозициях получил достаточно полное освещение только во II и V главах; лишь косвенно затронуты вопросы актуального членения предложения в III главе, посвященной синтаксису чукотского языка; не рассмотрены различные варианты эргативной конструкции на материале корякского языка.

В целом монография представляет собой значительное событие в отечественной лингвистике; она является крупным вкладом в исследование палеоазиатских языков — одной из групп языков народов СССР. При этом изучение синтаксиса конкретных языков осуществлено на солидной базе общей теории предложения, изложенной в I главе.

Вернер Г. К., Чесноков П. В.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. Ч. I. М. — Л., 1961; Ч. II. Л., 1977.

2. Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. Ч. I. М.—Л., 1962; Ч. II. М.—Л., 1965.
3. Меновицков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. I. М.—Л., 1962; Ч. II. М.—Л., 1967.
4. Жукова А. Н. Грамматика корякского языка. Л., 1972.
5. Володин А. П. Ительменский язык. Л., 1976.
6. Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
7. Володин А. П. К вопросу об эргативной конструкции предложения (на материале ительменского языка).— ВЯ, 1974, № 1.
8. Вахтин Н. Б. Реликты активного строя в эскимосской глагольной парадигме.— В кн.: Языки и топонимия. Вып. 7. Томск, 1980.
9. Скорик П. Я. Очерки по синтаксису чукотского языка. Л., 1948.
10. Палеоазиатские языки.— В кн.: Языки народов СССР. Т. V. Л., 1968, с. 267—269, 288—290, 307—308, 331—332, 346—348, 383—384, 402—404, 429—430.
11. Мещанинов И. И. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967, с. 3.
12. Климов Г. А. Очерки общей теории эргативности. М., 1973.
13. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
14. Панфилов В. З. К вопросу об инкорпорировании в нивхском языке.— В кн.: Тезисы докладов Второй научной конференции аспирантов-языковедов. Л., 1953.
15. Панфилов В. З. Нивхские количественные числительные: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1953.
16. Панфилов В. З. К вопросу об инкорпорировании (на материале нивхского языка).— ВЯ, 1954, № 6.
17. Мещанинов И. И. Номинативное и эргативное предложения. Типологическое сопоставление структур. М., 1984.
18. Жукова А. Н. Инкорпоративный комплекс как словосочетание в языках чукотско-камчатской группы.— ВЯ, 1984, № 6.
19. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 174—200.
20. Панфилов В. З. — К вопросу о логико-грамматическом уровне языка.— ZPSK, 1962, Нф. 3—4.
21. Климов Г. А. О позиционных падежах эргативной системы.— ВЯ, 1983, № 4.

**Варбот Ж. Ж.** Праславянская морфология, словообразование и этимология.— М.: Наука, 1984. 255 с.

Подъем славянской этимологии, начавшийся в середине XX в. и бесспорно продолжающийся, выразился как в успехах конкретной этимологизации славянской лексики, так и в развитии теории славянской этимологии, взаимообогащающих друг друга. В настоящее время созданы основы праславянской лексикологии и лексикографии. Решение задач реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда опирается на современную теорию и методику этимологии как комплексной дисциплины, тесно связанной с другими областями языковедения и с сопредельными науками. Новая книга Ж. Ж. Варбот — яркое тому подтверждение.

В рецензируемой книге предметом изучения избраны морфологические и словообразовательные проблемы этимологии, решаемые при максимальном использовании всех достижений сравнительно-исторической грамматики славянских языков и смежных областей науки. Автор выдвигает на первый план исследования следующие вопросы морфологии и словообразования: ступень удлинения в славянских языках, вариантность корневого вокализма в отглагольных именах, вторичный аблаут, морфологическое переразложение в славянских глаголах с основой на -*л-*, некоторые праславянские именные суффиксальные модели (редкие, архаичные), вариантность суффиксальной структуры в именах. Разумеется, морфологичес-

кая и словообразовательная проблематика праславянской этимологии не исчерпывается этим кругом вопросов, но нельзя не согласиться с хорошо аргументированным мнением автора, что указанные проблемы принадлежат к числу наиболее актуальных.

В освещении спорных и существенных для этимологии вопросов теории долгой ступени праславянского аблаута (1-я гл.) автор опирается на наиболее последовательную и емкую теорию ступени удлинения, разработавшую Е. Куриловичем. При этом анализируются те вопросы, трудность решения которых отметил уже Курилович и последующие исследователи. Речь идет, во-первых, о пронаводящих основах для глаголов на -*iti* и отглагольных имен с корневым \**δ* при отсутствии родственных глаголов с корневым \**о* и, во-вторых, об источниках вариантности \**о*:\**δ* в глаголах на -*iti* и отглагольных именах. В книге привлечен обширный материал, превосходящий базу предыдущих исследований по этим вопросам и включающий значительное количество собственно авторских этимологических сопоставлений. Анализ представленного материала служит основой для реконструкции (как ответ на 1-й вопрос) промежуточного этапа в развитии праславянской ступени удлинения, характеризующегося возможностью чередований *е:δ*, *ъ(ь):δ*, *е:ѣ(ѥ)*, что представляется достаточно аргументированным.

Применительно ко второму вопросу Ж. Ж. Варбот использует новый этимологический материал в качестве подтверждения гипотезы Е. Куриловича о возможности вторичного наложения удлинения на апофоническое \*o (эту гипотезу некоторые исследователи отвергают, предполагая здесь влияние итеративов на -iti). Аргументы Ж. Ж. Варбот достаточно убедительны. Особенно красочны в этом отношении именные пары типа \**spborъ* — \**spbarъ* (не отмеченные Куриловичем). Среди изложенных в данном разделе этимологических толкований предложено много бесспорных сопоставлений, дающих простые и перспективные решения (например, \**periti* — \**pariti*, \**tblēti* — \**taliti*, \**plotъ* — \**platъ* и др.).

Очень важен 3-й раздел главы, где автор существенно расширяет предполагаемую сферу действия ступени удлинения. Ж. Ж. Варбот обосновывает гипотезу о функционировании удлинения в славянских отглагольных бессуффиксальных именах, являющихся второй частью композит. Здесь привлечено большое количество фактов и предложены интересные решения. Например, относительно *suzoparъjъ*, *kolobarъ*, русск. *сокопанный*, объяснение вторых компонентов *-zarъ* и *-slavъ* сложных собственных имен (типа *Svetozarъ*, *Dobroslavъ*) как непосредственно отглагольных с участием корневого удлинения и реконструкция их первичной семантики как «видимый, представляющийся» (для *-zarъ*) и «слышающий» (для *-slavъ*).

Во второй главе книги рассматривается проблема вариантности корневого вокализма в отглагольных именах. Теоретической основой анализа обширного материала, использованного в этой главе, является разработанная автором идея о необходимости различения воспроизведения словообразовательной модели на новом хронологическом уровне и преобразования унаследованной лексемы. Необходимость различия определяется противопоставлением этих явлений по признаку наличия/отсутствия непрерывной лексической традиции. В случае преобразования унаследованной лексемы «формы, отражающие преобразование праславянской лексемы, в результате слияния этих преобразований в процессе исследования становятся базой для реконструкции праславянской формы с ее территориально-диалектной характеристикой...; форма же, являющаяся результатом воспроизведения словообразовательной модели, давшей древнюю форму, не связана с последней непрерывной лексической традицией и поэтому не может привлекаться к реконструкции праславянской формы и использоваться для суждения о ее территориально-диалектном распространении» (с. 69—70). Это положение применяется автором и при толковании явления вторичной тематизации (гл. 6-я). В качестве критерия различения воспроизведения модели и преобразования автор предлагает семантические отношения форм: в случае преобразования унаследованного слова значения форм тождественны или связаны друг с другом очевидной преемственностью; в случае воспроизведения модели значения форм различны и зна-

чение новообразования обнаруживает непосредственную связь с семантикой древнего имени, а производящей основой. Практика исследований и даже авторский анализ материала свидетельствуют о сложности оперирования семантическим критерием (случай полного тождества значений слов редки), но несомненна принципиальная важность разграничения преобразования лексем и воспроизведения модели. Требование такого разграничения методологически важно и при изучении истории лексики, зафиксированной в письменности, так как акцентирует вопросы тождества слова, его хронологии.

Применение рассмотренного положения при анализе имен с вариантным вокализмом дало автору основание для вывода о распространности явления преобразования корневого вокализма славянских отглагольных имен на разных хронологических уровнях. К сожалению, замечания автора о большей или меньшей представленности типов преобразования не выражены точными цифровыми показателями.

Вторая глава содержит ряд интересных авторских этимологических толкований. Наиболее убедительны толкования групп болг. *скоком* — *щекот*, чеш. *žateň* — *žátoň* — *žátina*, словен. *nástoren* — укр. *настирний*.

Третья глава книги посвящена вторичному аблауту. Это одна из наиболее значительных и одновременно наименее разработанных тем праславянской и славянской морфологии. Автор предлагает надежные критерии вероятности вторичного аблаута. Важно также и обобщение типов вторичного аблаута в праславянском языке, и критика толкований их генезиса (для типа  $\acute{e}$  (<\* $\bar{e}$ ): $\bar{y}$ ). Особенно существенна в данной главе реконструкция еще одного типа вторичного аблаута —  $\acute{e}$  (<\* $\bar{e}$ ):*oj*, типа \**zbrŕti* — *zrojiti*, *m(t)y-lŕti* (\**mъdъlŕti*) — *mlojiti*. Тщательный анализ имеющегося ограниченного материала позволил Ж. Ж. Варбот объяснить сущность явления как особый тип вторичного аблаута и реконструировать его условия, что представляет значительный вклад в теорию славянского вторичного аблаута и важное теоретическое обоснование для этимологической практики.

Исследование собственно словообразовательных вопросов начинается в четвертой главе книги анализом морфологического переразложения в славянских глаголах с основой на *-nŕ-* (типа \**gъbnŕiti*) и его отражения в производных именах и глаголах. Из всех проблем, рассмотренных в книге, вопрос о морфологическом переразложении в глаголах на *-nŕ-* можно считать наиболее изученным, но и здесь имеют место лакуны и противоречивые толкования. Ж. Ж. Варбот прежде всего останавливается на спорных аспектах проблемы: фонетические условия и хронология переразложения. Автор обосновывает мнение о сохранении в праславянском языке групп согласных *kl*, *zl*, предлагая иные, достаточно убедительные толкования тех случаев, где другие исследователи предполагают упрощение сочетания *zl*. Опираясь на анализ переразложения в различных фонетических ус-

ловиях. Ж. Ж. Варбот определяет как основную причину переразложения морфологическую аналогию. Соответственно нижняя хронологическая граница действия переразложения относится к раннепраславянскому периоду. Праславянская хронология возникновения переразложения в глаголах на *-n-* подтверждается наличием производных имен и глаголов, отражающих результаты переразложения, которые могут быть отнесены к праславянскому состоянию. Автор предлагает целый ряд новых, хорошо аргументированных толкований этого рода. Очень важным для этимологии является выявление всех возможностей отражения упрощения групп согласных и переразложения в глаголах на *-n-*, в производных именах и глаголах. Особенно интересны выводы о действии вторичного аблаута (перекликающиеся с темой 3-й главы) и упрощения (при префиксальных *-n-* глаголах), которые подтверждены убедительными этимологическими решениями (см. словц. *hrinat'sa*, *hron*, *hran*, русск. *загоныть*, *зга*).

В пятой главе разработана серия этимологических этюдов, обосновывающих реконструкцию праславянских суффиксальных имен, которые показательны для определения структуры, семантики и хронологии ряда архаичных или слабо представленных суффиксальных моделей. Эти этимологии детально и разносторонне аргументированы и являются ярким показателем больших возможностей этимологии как неиссякаемого источника свежих данных для изучения праславянского словообразования. Таковы, например, разработки *\*oroka*, *\*borna*, *\*grpsna*, *\*plojzta*. Так, толкование русск. диалект. *борона* «большое количество» и болг. диалект. *бран* «волна» как праслав. *\*borna*/ъ, производного от *\*brati*, вводит в группу славянских имен с суф. *-na/-nъ* праславянский диалектизм, весьма архаичный по ряду признаков.

Для славянского словообразования интересна также авторская реконструкция праславянской суффиксальной модели на *-etъ*.

Шестая глава посвящена вариантности суффиксальной структуры в именах. Эта тема, имеющая принципиальное значение для реконструкции праславянской лексики, практически не разработана ни с точки зрения этимологии, ни в сравнительной грамматике. И в исследованиях по славянскому словообразованию, и в этимологических трудах давно ощущается потребность в более глубоком и дифференцированном изучении явлений, обозначаемых одним термином «чередование суффиксов». Ориентируясь на требования реконструкции праславянского словарного фонда в области анализа суффиксальных имен, Ж. Ж. Варбот предлагает отличать от чередования суффиксов (как образование однокоренных имен с разными суффиксами и различной словообразовательной семантикой типа *\*dargъ*: *\*danyъ*: *\*-datъ*) вариантность суффиксальной структуры имен, под которой понимаются «такие различия в суффиксальной структуре однокоренных имен, которые допускают исходное гене-

тическое тождество на праславянском уровне» (с. 186), типа *\*bachora*: *\*bachurъ*. Содержание понятия генетического единства автор толкует с учетом известных закономерностей праславянской морфологии и истории славянского суффиксального словообразования как генетическое тождество хотя бы одного ковантного элемента суффиксов и тождество словообразовательного значения (с. 190—191). Предложенное Ж. Ж. Варбот понятие вариантности суффиксальной структуры имени теоретически и методически важно для решения вопросов реконструкции праславянских суффиксальных имен в составе праславянского словаря, поскольку определяет возможности идентификации отдельных лексем славянских языков как вариантов единой праславянской лексемемы. Существенно внесение в содержание этого понятия хронологических ограничений (праславянский уровень) и конкретизация определения генетического единства, что сообщает понятию вариантности суффиксальной структуры достаточную четкость.

Рассматривая источники вариантности суффиксальной структуры имени, автор вскрывает наличие диахронического и синхронного аспектов проблемы. Разработка первого (диахронического) развертывается в очерк типов исторических изменений суффиксальной структуры славянских имен. Интересны и убедительны авторские этимологические толкования, например, группы праслав. *\*skolba*, а также *\*natina* и *\*golenyъ*.

Синхронные источники вариантности суффиксальной структуры праславянского имени определяются автором как параллелизм разноструктурных однокоренных производящих основ и вариантность суффиксов. Эти явления впервые получили проблемное и системное освещение. Ж. Ж. Варбот обосновывает мнение о возможности толкования имен, образованных присоединением одного и того же суффикса к разноструктурным однокоренным производящим основам (типа *\*sedadlo*: *\*seddlo*), как вариантов одного имени. Это толкование перспективно и для реконструкции праславянского словарного фонда, и для изучения праславянского словообразования. Наибольшее значение для изучения праславянского словообразования имеет анализ собственно суффиксальной вариантности в однокоренных именах, который предлагается в книге. Здесь впервые обобщены большой фактический материал и обоснована трактовка его как следствия вариантности суффиксов в праславянском языке. Хотя полное описание явления возможно только на основе исчерпывающей реконструкции праславянского словарного фонда (что входит в задачу создаваемых в настоящее время этимологических словарей славянских языков), разработка данной проблемы в книге Ж. Ж. Варбот подготовливает почву для изучения праславянского словообразования в синхронном плане.

Опубликование рецензируемой монографии Ж. Ж. Варбот — большое событие в современном языковедении. Это глу-

бокое исследование весьма существенных и актуальных теоретических проблем на стыке трех разделов славянского языкознания — этимологии, морфологии и словообразования.

Теоретические проблемы Ж. Ж. Варбот решает на громадном фактическом материале: в книге дан анализ более 1400 слов, привлечены материалы более ста языков и диалектов, учтена громадная литература предмета. Важным результатом исследования Ж. Ж. Варбот являются многочисленные и убедительно обоснованные этимологические толкования, вводящие конкретные лексемы в реконструируемый праславянский словарный фонд. Необходимо подчеркнуть, что исследование морфологических и словообразовательных аспектов этимологии на конкретном материале сочетается в книге с тщательным семантическим анализом. Монография Ж. Ж. Варбот —

серьезный вклад в решение фундаментальных задач славянской этимологии и сравнительной грамматики славянских языков, надежная база для исследований по сравнительной лексикологии древних славянских языков. Результаты, полученные Ж. Ж. Варбот в процессе изучения поставленных ею задач, свидетельствуют о правомерности и перспективности предложенного ею направления — изучения актуальных смежных проблем этимологии, морфологии и словообразования славянских языков.

Значение книги Ж. Ж. Варбот выходит за рамки собственно славистики. Ее результаты как в теории этимологии, так и в практических этимологических решениях представляют значительный интерес и для индоевропеистики.

*Цейтлин Р. М.*

*Documents russes sur la pêche et le commerce russes en Norvège au XVIII<sup>e</sup> siècle. Etude historique et linguistique par Grannes A., Lillehammer A. et Pettersen E. — Oslo: Solum Forlag A/S, Norvège. /Les éditions Privat, France, 1984. 192 p.*

Появление настоящей книги связано с обнаружением в публичном архиве г. Ставангера нескольких русских текстов, оказавшихся в Норвегии после крушения в 1792 г. у ее берегов судна «Св. Варлаамий», шедшего из Архангельска. Публикация этих документов, оценка их исторической ценности, исследование со стороны палеографии, орфографии, языка и составляют содержание рецензируемой книги.

Основным объектом наблюдений являются следующие материалы: 1. Навставление племяннику Дмитрию Балуюву — капитану «Св. Варлаамия», составленное его дядей, владельцем судна холмогорским купцом Сергеем Кулаковым (от 15 янв. 1792). 2. Адрес на этом письме. 3. Второе письмо с наставлениями Д. Балуюву от С. Кулакова (написано 30 января 1792 г., получено 11 февраля 1792 г.). 4. Дополнительные наставления. 5. Регестр: опись расходования денежных средств. 6. Опись вещей, употребляемых в обиходе.

Тексты характеризуются четким письмом: затруднения для прочтения вызывают лишь места, поврежденные морской водой. При характеристике особенностей письма авторы обращают внимание на употребление определенного начертания букв, слитное написание предлогов, союзов, частиц с последующим или предшествующим словом, отсутствие прописных букв, единичное употребление знаков препинания и выносных букв, сокращенные написания отдельных слов и другие особенности скорописного письма XVIII в.

При наборном воспроизведении текстов, сопровождающем факсимильное издание, публикаторы руководствовались следующими правилами. Тексты воспроизведены строка в строку без привнесения современной пунктуации. Слитно

написанные предлоги, союзы, частицы отделены от последующего или предшествующего слова косой чертой. Двумя косыми чертами отмечено введение публикаторами деления текста на смысловые отрезки. Эти отрезки, как и имена собственные, начинаются с прописной буквы.

Неудачным представляется неоднозначное употребление скобок, поскольку это затрудняет разграничение в наборном воспроизведении явлений, наблюдаемых в рукописном тексте, от привнесенных публикаторами. Так, круглые скобки указывают на внесенные в строку выносные буквы, и с их же помощью раскрываются сокращенные написания: цу — цу(дов), р — р(убля) и подобные, а также передают написание отего: о(т)/(п)его 4.7<sup>1</sup>. Квадратными скобками отмечается, с одной стороны, восстановление механически утраченного текста, с другой — предлога при слиянии его с гласным последующего слова: судна — [С] судна 3.8, собой — [с] собой 3.17, 20 — 21.

Достаточно четкие снимки дают возможность говорить о тщательности прочтения и наборного воспроизведения рукописных материалов. Укажем лишь отдельные неточности, приводя сначала чтение по снимку, затем — в наборном воспроизведении: Варлаамий — Варлаими 1.2, всудно — въ/судно 1.7, промысленико — промысленико[въ] 1.15, російскому — российскому 1.27, крускому — к русско(му) 106, 1, следоват — следовать 106, 3, 7 м — 7 м 106, 2, 750 ру — 750 106, 18, Кузьмиць — Кузьмиць 3.2, отпорите — отпорите 3.19, и ликомъ — и ликомъ 3.20, съ 1 числа — с/21/ числа 5.2, 42 ру — 42 (р) 5.3. В привнесении: тягости — тыгости 1.14, трепът-

<sup>1</sup> Здесь и далее первой цифрой обозначен номер текста, второй — строка.

но — греч(ет)ьно 1.12, обшедшиа — обшедши 1.13.

В книге представлен раздел «Орфография», где рассматриваются случаи употребления букв ъ и ѿ, ө и ф. В разделе «Орфография и фонетика» отмечается употребление ё и е в ударных и безударных слогах, употребление ö закрытого, і на месте этимологического е, а также е на месте этимологического и и под. Особо отмечено употребление букв ц, ш, щ, сочетание чн (шн) и под. В результате наблюдений над орфографическими и фонетическими особенностями документов авторы приходят к выводу, что эти тексты написаны лицами, владеющими литературным языком. Ярких диалектных черт не наблюдается. В то же время некоторые явления, представленные отдельными написаниями, охарактеризованы как северновеликорусские, свойственные говору Холмогор. К таким фактам, например, относятся: выпадение интервокального j, получившего отражение в написаниях Балтиско море, нижу (с. 79); наличие ö закрытого, представленного написанием присуветуеъ (с. 72).

При рассмотрении материалов с точки зрения представленных в них морфологических и синтаксических явлений большое внимание обращено на отличие языка документов от литературного языка того времени и от современного литературного языка. Анализируя факты языка XVIII в., авторы стремятся выделить элементы разговорного языка и указать на встречающиеся в них канцеляризмы.

Как и при анализе фонетико-морфологических явлений, для квалификации рассматриваемых фактов привлекается обширная научная литература. Возможности для обобщения у авторов, конечно, весьма ограничены, поскольку они располагают небольшим материалом (114 строк). Поэтому выводы их могут касаться лишь конкретных явлений, отмечаемых в текстах.

Раздел, посвященный лексике, открывается индексом, включающим 274 слова, сопровождаемых значением, приводимым на французском языке. В список не включены имена собственные (они рассмотрены отдельно), возвратное и притяжательные местоимения. В связи с тем, что читатель в предисловии к указателю предупрежден о реконструкции исходной формы, употребление в индексе с этой целью квадратных скобок представляется излишним. Ср.: бочекъ (4.4) — боч[ка], копеекъ (4.7) — копе[й]к[а], промыслу (1.10) — промы[с]л[ь], се-токъ (1.10) — сет[ка], возмите (3.17) — в[з]ять. Для отличия от исходных форм, засвидетельствованных в рукописных текстах, достаточно было бы употребления какого-нибудь знака, например, звездочки.

Авторы сообщают о практически полном отсутствии в изучаемых текстах диалектных слов (0,73%) и наличии достаточно большого числа слов, заимствованных из латинского и восточных языков (10,2%). Среди заимствованной лексики норвежским исследователям удалось выявить некоторые слова и варианты слов,

отсутствующие в СРЯ XVIII в., к картотеке которого они обращались в процессе исследования. Некоторые заимствования, как они указывают, употреблены в форме, более обычной для начала, а не для конца XVIII в., когда написаны документы. Особо выделены коммерческая и морская лексика и фразеология, обильно представленные в текстах в соответствии с их содержанием.

Лексический материал, приводимый в исследуемых текстах, находим еще раз в указателе, заключающем книгу. В него включены имена собственные, даны отсылки к страницам исследования, касающимся тех или иных слов. Некоторые слова представлены здесь в форме, засвидетельствованной в текстах, иногда они имеют при себе грамматическую помету. Отсутствие какого-либо предисловия не позволяет полностью представить себе задачи этого указателя.

В Приложении опубликован еще один русский текст, найденный среди документов с судна «Св. Варлаамий», но не имеющий с ними видимой связи. По содержанию это скорее всего фрагмент просьбы моряка, обращенной к крупным собственникам или коммерсантам. Прошение отличается от остальных текстов и по языку: оно содержит слова и формы церковнославянского языка. Стиль прошения, достаточное архаичный для эпохи, напоминает, по мнению авторов, писания старообрядцев. На обороте прошения были записаны, вероятно, счета, где можно различить лишь отдельные слова: карта, колокол, орешки, рюмочка, полштофчик, стаканчик и др. Возможно, это указание на товары, приобретенные в Норвегии, поскольку цены указаны в норвежских монетах.

В связи с гибелью судна «Св. Варлаамий» имела место переписка между префектом г. Ставангера, оловещавшим владельца судна о кораблекрушении, и С. Кулаковым, приславшим ответное письмо. Первое письмо (от 31 августа 1792 г.) опубликовано в историческом введении, второе (от 15 октября 1792 г.) — на датском языке — опубликовано в особом разделе с палеографическими и лингвистическими замечаниями.

Норвежские исследователи придают большое значение публикуемым материалам как уникальным документам, дающим новую информацию о распространении русских промыслов в Норвегии в конце XVIII в., о путях следования русских судов. Публикация данных материалов и их всестороннее изучение норвежскими учеными свидетельствует о проявлении внимания и уважения к русской культуре, о стремлении к укреплению русско-норвежских связей. Тексты невелики по объему и с лингвистической точки зрения не содержат каких-либо значительных явлений, не отраженных в других источниках XVIII в., в изобилии представленных в хранилищах СССР. Для изучения истории русского языка ценность рукописных материалов, поданных опубликованным, заключается в их датированности и принадлежности перу определенного лица.

Дубровина В. Ф., Сумкина А. И.

Интенсивная теоретическая разработка проблем славянской фразеологии отразилась за последнее десятилетие и в лексикографической практике. Созданы монументальные словари болгарской, русской, сербохорватской и польской фразеологии, вышло немало переводных фразеологических словарей. Новейшее издание в этой серии — «Словарь чешской фразеологии и идиоматики».

Этот словарь нов не только как последнее по времени издание подобного рода — он является новаторским по многим лексикографическим параметрам: отбору материала, ориентации на разговорно-обиходный стандарт, полноте лексикографического описания, детализации словарной статьи, попыткам отразить идеографические связи чешской фразеологической системы и т. д. При его создании авторы опирались на опыт мировой паремнографии и фразеографии, подвергнутой критическому пересмотру. Стремление отразить все многообразие сематических, структурно-грамматических и функционально-стилистических характеристик каждой описываемой фразеологической единицы (далее — ФЕ) пронизывает весь словарь.

Работа над словарем начиналась в Карловом университете, и первоначально он мыслился как пособие для студентов, изучающих чешский язык, и как справочник для переводчиков и писателей. Затем материал словаря расширился, лексикографическая концепция усложнилась, состав авторов увеличился, и он из учебного вырос в словарь академический. По мысли авторов, каждый том этого фразеологического компендиума содержит относительно однородный в структурно-семантическом отношении материал. Первый, рецензируемый том — устойчивые сравнения. Второй, к работе над которым коллектив уже приступил, — глагольные ФЕ. Третий — «номинальные» (т. е. именные) и адъективные фразеологизмы.

Рецензируемый том дает четкое представление как о принципах, так и о «материальном» размахе этого фразеологического тезауруса. В словарь вошло около 2,5 тысяч устойчивых сравнений, что превышает количественно все лексикографические отражения этого вида фразеологии в других славянских словарях данного типа<sup>1</sup>. Авторы стремятся отразить все устойчивые единицы — компаративы, бытующие как в современном литературном чешском языке, так и в живой речи. Широкий выход в речевую стихию, как известно, неминуемо вступает в противоречие с нормативными установками словаря академического типа. Чтобы избежать этой опасности, авторы разработали систему строго про-

думаных помет, которыми устанавливается норма употребления той или иной ФЕ, предлагаемой читателю. Таким образом, в словаре отражен во всей широте диапазон бытующих сейчас устойчивых сравнений и вместе с тем показаны пределы их функционирования. В какой-то мере, по мысли авторов (с. 9), это должно способствовать стабилизации употребления ФЕ, тем более, что сильная вариатность и «динамизм развития» такой стабилизации постоянно препятствуют. Одним из главных критериев отбора материала была частотность употребления, определяемая как интуитивно, так и на основе опроса и анкетирования информантов или обращения к лексикографическим источникам.

Ориентация на речевой узус обусловила и характер иллюстраций. Это почти сплошь узуальные контексты — записи живой речи, хотя в предисловии авторы пишут, что словарь опирается на картотеку извлечений примерно из ста оригинальных или переводных текстов, изданных после 1960 г. (с. 10). Прямых ссылок на эти тексты или извлечений из них, однако, читатель в словаре не найдет. Ко многим ФЕ контекстуальных иллюстраций вообще не дается.

Материал расположен по алфавиту опорного слова, что особенно целесообразно для лексикографической подачи устойчивых сравнений. Поиск соответствующего оборота облегчен отсылочными статьями и идеографическим указателем. Составной частью основной статьи является отсылка на самые близкие к описываемому обороту синонимический и антонимический ряды, что делает лексикографическое описание демонстрацией фразеологической микросистемы.

Полнота лексикографического описания ФЕ обеспечивается стремлением авторов дать комплексную характеристику, в которой представлены, как правило, следующие сведения: возможные лексемозаменители первого компонента (в том числе и морфологически различные); синтагматический вариант ФЕ, без которого такая единица может употребляться; стержневое слово; стилистическая характеристика оборота (т. е. стилистические пометы типа *поэт., книж., публи., нейтр., разг. сленг., или одобр., неодобр., шутл., ирон., груб., вульг.* и под.); грамматическая характеристика; трансформации ФЕ; контекст и валентность; толкование значения; другие данные об употреблении, этимологии и проч.; отсылка на идеографический указатель; «близкие» синонимический и антонимический ряды или тематический круг близких по значению оборотов; наконец, английский, немецкий, французский и русский эквиваленты. Таким словарным описанием достигается максимально полная характеристика устойчивого сравнения, широкая демонстрация его системных отношений и узуального варьирования. Опыт такого описания весьма важен для теории и практики фразеогра-

<sup>1</sup> Во «Фразеологическом словаре русского языка» под ред. А. И. Молоткова (М., 3-е стереот. изд. 1978), например, насчитывается всего лишь около 200 устойчивых сравнений.

фии, и его в целом можно считать несомненной удачей чешских фразеологов.

Чрезвычайно ценен для отражения системности описываемых ФЕ и продуманный идеографический указатель во второй части словаря (с. 417—461), где компактно собраны все синонимические ряды и тематические группы, получившие детализированное описание в основном его корпусе. Причем это не просто указатель, но и дифференцированный по семантическим оттенкам и функциональным сферам употребления реестр фразеологизмов, дающий весьма важную практическую информацию переводчикам, писателям, лингвистам и всем другим читателям — любителям образной речи. Полезно в теоретическом и практическом плане и заключение Фр. Чермака «Чешские сравнения» (с. 463—492), где автор и один из главных редакторов словаря излагает свою трактовку компаративов, уже известную по его монографии [1].

Словарь чешской фразеологии и идиоматики — смелый лексикографический эксперимент. Вот почему в нем нетрудно нащупать слабые места общей и славянской фразеологии. Стремление отразить материал во всей его полноте ведет к некоторой «всеядности»: в корпус словаря попадают периферийные, устаревшие, окказиональные обороты, почти не имеющие хождения ни в литературном языке, ни в речи. Ориентация на отражение разговорной стихии приводит к перенасыщению его вульгаризмами и просторечными оборотами. Желание продемонстрировать системность на всех уровнях ведет иногда к избыточной детализации отдельных характеристик: например, грамматическая характеристика описываемых ФЕ кажется излишне усложненной, самоцелью и не всегда лексикографически и фразеологически оправданной.

Отбор синонимических и антонимических соответствий в словарной статье при наличии идеографического указателя может показаться в большой степени произвольным и неполным. Так, например, неясно, почему в статье *hořký jako pelyněk* в качестве синонима приводится оборот *hořký jako zeměžluč* и отсутствует *hořký jako žluč* (с. 261) или почему в статье *mit nožky jako gazela* приводятся лишь синонимы *mit nožky jako laň/laňka*, *mit nohy jako vysoustruhované* (с. 104) и нет оборота *mit nohy/nožky jako srna*. Не экономнее ли в таких случаях отсылать читателя к ключевым словам идеографического указателя, под которыми собраны соответствующие синонимические и антонимические ряды?

Можно также оспорить правомерность объединения некоторых самостоятельных по образу оборотов в одну статью в качестве лексических вариантов. Так, ФЕ *děvuše jako malinaljahoda* (с. 196), *hezky jako růželz ráže květ* (с. 306) и особенно *zdravý jako rybička/rys* (с. 307) кажутся в вариантами, а равноценными синонимами, хотя тематическая близость соответствующих стержневых лексем и переносного значения несомненна. Дело здесь даже не в теоретической трактовке подобных случаев, а в практической непоследовательности составителей: ведь при-

знание названных выше ФЕ лексическими вариантами должно было вести к объединению многих оборотов в общие словарные статьи. Ср. уже упомянувшиеся *mit nožky jako gazela* и *mit nožky jako laňka*, разведенные в разные статьи, несмотря на их несомненно большее образное сходство, чем у оборотов *zdravý jako rybička* и *zdravý jako rys*.

Можно также отметить и мелкие недочеты, например, включение в корпус словаря некоторых оборотов, не имеющих, как кажется, статуса сравнений в традиционном понимании этой единицы — типа *že by tam mohl brambory sázet* или *až se tu dělají boule za ušima*. К таким недочетам относится и пропуск некоторых ФЕ, имеющих широкое хождение в чешском языке, — например, *jako na talíři* или *hlavz jako putlmák*, а также спорность некоторых этимологических трактовок<sup>2</sup>.

Самым слабым местом словаря, однако, являются иноязычные эквиваленты, особенно русские. Понятно, что перед Л. Н. Белорусс-Беложеской и Т. В. Даниловой, взявшими на себя труд подбора таких эквивалентов к 2,5 тысячам чешских оборотов, стояла чрезвычайно сложная задача, ибо устойчивые сравнения русского языка довольно слабо и непоследовательно отражены во фразеологических и других словарях. Поэтому они пошли по пути импровизированного подбора эквивалентов, опираясь в основном на свой собственный языковой опыт и разговорный узо. Плюсом такого подхода является введение в печатный текст нового и свежего материала, смелость его подачи (здесь есть и русский сленг, жаргон, немало вульгаризмов), регистрация известных в речи, но не зафиксированных литературными источниками вариантов. Ср. такие русские обороты, использованные в качестве эквивалентов, как *хлеб как резина*, *сидеть как китайский болванчик*, *чего-либо как деревее в лесу*, *моги как бутылочки*, *вести себя как псих*.

Вместе с тем ориентация на собственный языковой опыт и просторечно-разговорную стихию приводит ко многим погрешностям, неточностям и лексикографическим ляписам. Русские эквиваленты не разграничены по признаку «устойчивость — неустойчивость»: в словарь попадают явно неустоявшиеся в языке и речи ФЕ [ср. *она как Алиса в стране чудес*, *пазнет как в близкойной лапке*, *из целия футбольная команда*, *(богатирь) как Илья Муромец*, *он как гуптаперчевый* или окказионализмы: *он как будто сбежал из Белых Столбов*, *он как Гулливер среди дилупитов*, *(собака) здоровая как теленок*]. Авторы эквивалентов нередко допускают и прямое калькирование чешских сравнений, создавая тем самым иллюзию полных межъязыковых совпадений (ср.: *выглядеть как бог места* — *tvářit se jako bůh pomsty*, *отпечется от кого-нибудь* как *Пепр от Христа* — *zapřít někoho jako Petr Krista*; *выскочить*

<sup>2</sup> Например, сравнение *pije jako holendr* имеет этнонимическую, а не «техническую» мотивировку — см. подробнее в [2].

как черт из шкатулки — *vyskočit jako čert ze škatulky*).

При подборе эквивалентов допускаются целый ряд несоответствий, противоречащих самому понятию эквивалента. Это в первую очередь семантическая и стилистическая несовместимость чешских и русских оборотов: *být starý jako Abraham* — он стар как мир; *přihnát se jako čtyři* — он как шкаф; *bejt jako podebranej vřed* — надуться как мшишь на крупу; *je jich jako (svatých) apoštolů* — их целая футбольная команда; *držet jako beran* — он как партизан; *být zmrzlý jako houn* — замерзнуть как ледышка; *bejt jako po vejprazku* — он как в воду опущенный. Можно отметить и неверные формы, выводимые авторами эквивалентной части (ср., например, *дристься как из ружья* на с. 42), а также отсутствие многих эквивалентов даже там, где они в русском языке имеются [например, *mit hlavičku jako takovičku* и известное *головка как лука* или (*být neotuplý jako papež* при зафиксированном в словарях *он непогрешимее самого папы римского*)]. Справед-

ливости ради следует заметить, что отмеченные погрешности во многом характерны и для английских, немецких и французских эквивалентов.

При всех недочетах рецензируемый словарь — новое и весомое слово в славянской фразеологии. Стремление отразить системность на всех уровнях, лексикографический максимализм и попытка зафиксировать современный узуз устойчивых сравнений чешского языка во всех сферах их функционирования являются несомненными достоинствами первого тома этого капитального труда. Остаётся пожелать, чтобы коллектив его составителей успешно довел начатое дело до конца.

Мокшенико В. М.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Čermák Fr. *Idiomatika a frazeologie češtiny*. Praha, 1932.
2. Mokšeničková V. *Píje jako holendr nebo jako Holendr?* — *Naše řeč*, 1973, N 2.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

По плану деятельности Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Секретариат МАПРЯЛ и Институт русского языка им. А. С. Пушкина провели в Москве (1—4 октября 1985 г.) Международный симпозиум «Проблемы краткосрочного обучения русскому языку».

Обучение русскому языку в системе кружков и курсов, массово представленное в СССР и более чем в 100 странах мира, вносит заметный вклад в изучение и распространение русского языка, способствуя тем самым установлению и расширению контактов между народами, делу мира и социального прогресса.

Отвечая социальному заказу современности, курсовое обучение русскому языку существует в виде ряда форм: курсы русского языка для дипломированных специалистов, летние курсы и школы русского языка для студентов, летние лагеря для школьников, клубы и кружки русского языка в школах, вузах, на предприятиях, в обществах дружбы с Советским Союзом. В системе курсового обучения создаются программы, учебники и учебные пособия, обобщаются и анализируются практика обучения, развивается собственная лингводидактическая проблематика исследований, ставшая предметом обсуждения Международного симпозиума МАПРЯЛ «Проблемы краткосрочного обучения русскому языку». В нем приняло участие свыше 150 зарубежных и советских методистов, преподавателей, организаторов курсового обучения общественных и государственных организаций, проводящих курсы русского языка, в их числе представители Австралии, Австрии, Алжира, Болгарии, Венгрии, ГДР, Испании, Италии, Кубы, Монголии, Нидерландов, Польши, Советского Союза, США, Чехословакии, Финляндии, Югославии. На его пленарных и секционных заседаниях было прослушано 80 докладов и сообщений, прозвучавших в 3 секциях: общие проблемы курсового обучения, курсовое обучение студентов и специалистов-русистов, проблемы курсового обучения русскому языку специалистов.

В докладах, сообщениях и выступлениях были обсуждены многие актуальные вопросы теории и практики курсового обучения: развитие и совершенствование коммуникативной и страноведческой направленности курсового обучения с различной целевой установкой; типология курсового обучения на основе учета

социальных, профессиональных и личностных характеристик учащихся, а также степени сформированности навыков и умений в различных видах речевой деятельности; пути оптимизации данной формы обучения языку, использование коллективных форм работы; специфика отбора, организации и способов усвоения грамматического материала с учетом языковых параллелей и этимологических связей и совершенствование на этой базе программы для отдельных видов обучения; обучение чтению специальной литературы, переводу, аудированию; проблемы мотивации, совершенствование форм контроля как средства управления учебным процессом; различные формы работы с литературными произведениями и художественными текстами на курсах разного типа. Особый интерес представило для собравшихся обсуждение принципов создания и практика использования предназначенных для курсового обучения учебников и дополнительных учебных материалов, в том числе для специалистов разного профиля.

Работа симпозиума подтвердила дальнейшее распространение и развитие форм курсового обучения русскому языку, тенденцию к большей дифференциации, а также выдвинула ряд новых перспективных задач, решение которых еще предстоит. Это обучение профессиональному общению специалистов разного уровня и квалификации; дальнейший поиск более интенсивных методов обучения, пригодных для уже сложившихся и широко признанных форм курсового обучения; соотношение краткосрочных и пролонгированных форм внутри курсового обучения; поэтапное обеспечение различных типов курсового, в том числе краткосрочного обучения, стабильными учебниками и учебными пособиями (особенно в странах широкого его распространения — ВНР, ГДР, МНР, НРБ, ПНР, СФРЮ, ЧССР).

Участники симпозиума выразили единое мнение, согласно которому курсовое обучение русскому языку является важным средством развития и укрепления взаимопонимания между народами, служит делу обеспечения всеобщего мира и социального прогресса.

Среди принятых симпозиумом рекомендаций — рекомендации уточнять типологию курсов в зависимости от целевых установок обучения, разрабатывать программы, учебники и учебные пособия для каждого из типов курсов и организовывать обмен подготовленными учебны-

ми материалами; рекомендации содействовать созданию эффективной системы повышения квалификации преподавателей курсов русского языка, совершенствовать принципы, приемы и методы интенсивного курсового обучения.

Признано считать наиболее актуальным проведение исследований в следующих направлениях: изучение сфер общения и коммуникативных потребностей специалистов разного профиля в области русского языка; разработка методических принципов интенсивного обучения русскому языку на курсах с разными целевыми установками, в особенности учебные чтения.

Симпозиум просил руководство МАПРЯЛ организовать еще одну предметную комиссию «Русский язык в производственно-экономической сфере».

Участники симпозиума рассматривали его проведение как этап подготовки к очередному, VI Конгрессу МАПРЯЛ и предложили продолжить обсуждение проблематики Симпозиума на заседаниях Конгресса, а также провести первое заседание предметной комиссии «Русский язык в производственно-экономической сфере» в рамках VI Конгресса МАПРЯЛ.

*Сохин С. И.* (Москва)

При Институте языкознания АН СССР с ноября 1980 г. по настоящее время работает семинар по диакронической фонологии. Руководит семинаром проф. д-р. филол. наук В. К. Журавлев. За этот период состоялось 27 заседаний, на каждом из которых присутствовало до 50 человек. В работе семинара участвуют как сотрудники Института языкознания АН СССР, так и других научных и учебных учреждений г. Москвы (Институт русского языка АН СССР, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Институт востоковедения АН СССР, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГПИ им. В. И. Ленина и др.), а также Ленинграда, Вильнюса, Таллина, Ташкента, Тбилиси, Махачкалы, Абакана, Воронежа, Донецка, Иркутска, Магадана, Тамбова, Тулы, Хабаровска и др.

В работе принимали участие видные специалисты в области фонологии: Т. В. Гамкрелидзе, К. В. Горшкова,

И. Г. Добродомов, Ф. Т. Жилко, Вал. Вас. Иванов, Вяч. Вс. Иванов, Л. Э. Калыгин, Г. С. Клычков, С. В. Кодзасов, В. В. Колесов, В. И. Поставалова, В. Я. Плоткина, В. Г. Руделев, А. Ю. Степановичес, И. Г. Торсуева, Г. А. Хабургаев, Е. А. Хелимский, О. С. Широков, Д. И. Эдельман и др.

На заседаниях семинара были апробированы многие идеи, получившие впоследствии отражение в докторских диссертациях по фонологии (Р.-М. Вейтс, Г. В. Воронкова, А. Гирдянис, Л. Л. Касаткин, В. Н. Чекмонас).

На заседаниях обсуждались проблемы истории и современного состояния фонологии (фонологические концепции Н. Ф. Яковлева, Е. Д. Поливанова, Н. С. Трубецкого — Р. О. Яковсона, А. Мартине, М. И. Стеблина-Каменского, современное состояние фонологии в США и Западной Европе, генеративная фонология).

Ряд докладов был посвящен фундаментальным проблемам фонологии: понятийный аппарат, предмет и задачи диакронической фонологии, отличие диахронической фонологии от исторической фонетики, вопросы реконструкции и проблемы телеологизма, преподавание диакронической фонологии в вузе. При решении поставленных задач привлекался материал различных языков и диалектов: славянских, балтийских, индоиранских, германских, романских, тюркских, албанского, армянского, греческого, латинского, японского и др.

Несколько заседаний были посвящены истории русского и славянских языков: категория твердости — мягкости, напряженные — ненапряженные согласные в славянских языках, история славянского *ѣ*, история заднеязычных, проблемы палатализаций и др.

Участники семинара неоднократно указывали на желательность издания материалов его работы. Пока же только некоторые доклады опубликованы в «Вопросах языкознания» и некоторых сборниках. Издание трудов семинара необходимо тем более, что последняя всесоюзная фонологическая конференция проходила 20 лет назад (Донецк, 1966). В этой связи возникает необходимость проведения очередной фонологической конференции, которая позволит обобщить накопленный материал по теоретической и диахронической фонологии.

*Соколянский А. А., Шагмайкин А. М.*  
(Москва)

## CONTENTS

**Articles:** Kostomarov V. G., Kruglov Yu. G., Nel'ubin L. L., Parastaev A. F., Tolstoj N. I. (Moscow), Šerbak A. M. (Leningrad). Training of scientists and Higher-school teachers in linguistics in 1981—1985: results and problems; Bernstein S. B. (Moscow). A. M. Seliščev's contribution to the study of Russian dialects (to the centenary of his birth); Jarceva V. N. (Moscow). Principles of historical grammar; **Discussions:** Dressler W. U. (Vienna). Natural morphology; Rumjancev M. K. (Moscow). Natural and artificial speech; Zubkova L. G. (Moscow). On the correlation of sound and meaning of the word in the system of language (the problem of «arbitrariness» of the language sign); Helimskij E. A. (Moscow). Dilemmas of Proto-Turkic reconstruction and Nostratic studies; Daškevič Ja. R. (Lvov). Codex Cumanicus — problems of decoding; Leiðik V. M. (Moscow). On the language substratum of the term; **Materials and notes:** Wolf E. M. (Moscow). Axiological meaning and the correlation of the notions «good/bad»; Orel V. E. (Moscow). On the relics of Iranian hydronyms in the basin of Dniepr, Dniestr and Southern Bug; Poljakov K. I. (Moscow). Contrastive accentology of Persian and Russian; Blinova O. I. (Tomsk). Epidigmatic possibilities of motivation-dictionaries; **Reviews;** Scientific life.

## SOMMAIRE

**Articles:** Kostomarov V. G., Kruglov Yu. G., Nel'ubin L. L., Parastaev A. F., Tolstoj N. I. (Moscou), Šerbak A. M. (Léningrad.) La formation des chercheurs et des enseignants dans le domaine de linguistique en 1981—1985: résultats et problèmes; Bernstein S. B. (Moscou). Contribution de A. M. Seliščev à l'étude des dialectes russes (à l'occasion du centenaire de sa naissance); Jarceva V. N. (Moscou). Principes de la grammaire historique; **Discussions:** Dressler W. U. (Vienne). Morphologie naturelle; Rumjancev M. K. (Moscou). Langage naturel et artificiel; Zubkova L. G. (Moscou). Rapports entre phonétisme et sémantisme dans la système de la langue (sur le problème du caractère arbitraire du signe linguistique); Helimskij E. A. (Moscou). Dilemmes de la reconstruction proto-turque et les études nostratiques; Daškevič Ja. R. (Lvov). Codex Cumanicus— problèmes de decodage; Leiðik V. M. (Moscou). Le substrat linguistique du terme; **Matériaux et notices:** Wolf E. M. (Moscou). Signification axiologique et rapports des notions «bon/mauvais»; Orel V. E. (Moscou). Sur les vestiges hydronymiques iraniens dans le bassin du Dniepr, du Dniestr et du Bug du Sud; Poljakov K. I. (Moscou). Accentologie contrastive du persan et du russe; Blinova A. G. (Tomsk). Possibilités épigrammatiques en tant que source de l'information dans les dictionnaires de motivation; **Comptes rendus;** Vie scientifique.

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 30.06.86 Подписано к печати 27.08.86 Т-13854 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 16,8 тыс. Уч.-изд. л. 62,1 Бум. л. 5,0  
Тираж 5790 экз. Зак. 2721

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».

103717, ГСП, Москва, К-62, Подосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3]. [2—4], [1, 3]; в случае одноцветной ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, которая является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.